

ТАМБОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

№ 9 (май 2010)

ИЗДАНИЕ

Тамбовского отделения Союза писателей России,
Тамбовского отделения Литературного фонда России

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
управления культуры и архивного дела Тамбовской области*

Главный редактор

Николай НАСЕДКИН

Редакционный совет

Валентина ДОРОЖКИНА

Людмила КОТОВА

Евстахий НАЧАС

Лидия ПЕРЦЕВА

Тамбовский альманах. № 9. Тамбов: Изд-во Тамбовского
Т 17 отделения ООП «Литфонд России», 2010. 256 с.

ББК 84Р

ISBN 5-7117-0381-1

Содержание

ПРОЗА

Владимир СЕЛИВЁРСТОВ

Воевода Боборыкин. Исторический роман (фрагмент).....	3
Валерий АРШАНСКИЙ. <i>Рассказы</i>	64
Александр ЗОТОВ. <i>Записки Гринькова. Из дневника конкретного человека</i>	126
Любовь АСЕЕВА. В краю сказок. Рассказ	142

ПОЭЗИЯ

Виктор КОСТРИКИН. Моя Пушкиниана	155
Нина ЦУРИКОВА. <i>Стихи</i>	164
Геннадий БЫЛКИН. <i>Стихи</i>	172
Игорь ЯКОВЛЕВ. <i>Стихи</i>	178
Наталья РОМАНОВА. <i>Стихи</i>	184

65-летие ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Михаил БРЫТКИН. Раненое детство	192
Мария ЗНОБИЩЕВА. <i>Кукушка. Поэма</i>	206
Галина ВЕСЕЛОВСКАЯ. <i>Стихи</i>	211

ЮНОСТЬ

Анна КЛЕЩ. <i>Стихи</i>	214
Елена БОРОДА. “Бочка мёда”	220
Мария РОДИНА. <i>Стихи</i>	221
Юлиана ХАЙБУЛЛОВА. <i>Стихи</i>	224
Ирина МУРАВЬЁВА. <i>Стихи</i>	226
Юлия АГАФОНОВА. <i>Стихи</i>	229

ИСТОРИЯ

Владимир ПОПОВ. Жизнь и деяния В. Ф. Войно-Ясенецкого	232
--	-----

ВЗГЛЯД

Николай НАСЕДКИН. Глянцевый Достоевский	240
Елена БОРОДА. Что в имени тебе своём?	246

ЛИТЖИЗНЬ

Будни и праздники.....	250
Новые книги.....	255

Владимир СЕЛИВЁРСТОВ

ВОЕВОДА БОБОРЫКИН

Исторический роман

(фрагмент)



С Божьей помощью

Роман Фёдорович занемог, напала тряся, охолонул, видно. Лёжа под чёрной овчиной, попивая отвар травяной душицы с чабрецом, думал неотступно всё о том же новом городе. Строить с Богом, значит, по Божьим дням иметь готовность сверять, просить благословение Господне. Решил Боборькин на Прощёное Воскресенье заложить главенствующую Московскую башню, срубить первые десять венцов дубовых, дальше легче пойдёт, сосна, она мягче. Водрузить на начало хоть три пушки, ведчики грозят татарским отрядом; в степях у Савалы видано: сотни три-четыре рысью проскакали. Место для башни выбрано самое высокое, окрест вёрст на десять видно будет. Боборькин усмехнулся своим мыслям. Да, праздники православные, наши будни работные. На Благовещенье святой Богородицы ров с южной стороны рыть. На Вербное воскресенье государев двор, воеводскую и съезжую избы рубить будем.

Владимир Селивёрстов имеет юридическое образование, много лет работал на высоких должностях в органах тамбовской милиции. В настоящее время занимается адвокатской практикой.

Автор нескольких детективов и книг краеведческо-исторической тематики, в том числе романа о Державине и цикла повестей о тамбовских губернаторах.

Член Союза писателей России.

Нынче Пасха на 23 день апреля упала. Пусть народ погуляет, отдохнёт от трудов непосильных, а на следующий день Водяную башню проезжую почнём, а там очередь до Хопёрской и Козловской недалеко. Обе сквозные, да не забыть бы захабы, без них тяжело придётся при приступах. Разбойные так прямо и просвищут через ворота, безо всякой заминки в острог.

Февраль к концу завернул злые морозы. Мстил за близкую смерть. Крытые войлоком, высланные медвежьими и волчьими шкурами большие воеводские сани, запряжённые в четвёрку рабочих мохнатых битюгов с широкими разлапистыми копытами, не проваливались по глубокому насту, потрескивающему и поскрипывающему под ними. Лучшие земельные знатчики Киреевский Григорий и Иван Нос везли Боборыкина на место, где должен быть заложен крепость град Тонбов.

Киреевский по давней привычке приставал к Носу:

— Ты, Ивашка, сколь я тебя знаю, всё норовишь баклуши бить. Всю жисть ешь, пьёшь, спишь и в нужнике сидишь.

— Я на Благовещенье на свет появился, кады и птичка гнезда не вьёт. Ты что, против Бога призывщик?

— Не-а, против Бога и царя идти, всё одно, что против ветра... сам себя обольёшь.

Битюги, покрытые инеем и паром, похожие на библейских чудищ, стали, выбившись из сил.

— Скатывайся на Цну. Хоть и подале чуток будет, зато доедем наверняка. Тока глядай, где полыньи, знать там и омуты. Где льда нету, там крутит, в тулупах камнем ко дну.

Ледовый путь пошёл веселее. Скользину прикрыл уже лежалый снежок. Вот где пригодились подковы с шипами, вгрызались в лёд, брызгались острыми радужными льдинками.

У Боборыкина внутри тоже зажглась радуга радости. Весь окружающий мир превратился в огромный сияющий храм. И спутники его, кражистые мужики, воняющие рыбьим жиром, коим мазались от холодов и принимали вовнутрь, преобразились в добрых хороших друзей, желающих ему, как и он им, всякого блага и успеха. Такие редкие промежутки внутреннего и внешнего равнопорядка приходили к нему обыкновенно перед большими и хорошими событиями или вестями.

От чрезмерности чувств вынул из обитога, покрывшейся малахитовой изморозью, медью сундучка кожаную флягу.

— Ну-ка, сыскатели мест счастливых, хлебните-ка глоток радости за успешный день нынешний.

Киреевский с Носом смекалисто и догадливо переглянулись, заулыбались, потянулись сразу оба за сосудом, столкнулись руками, замешкались, рассмеялись. Пополудни въехали в вековой сосновый бор. Сверху стала спускаться густая синь, снег отемнел. Вечер подобрался незаметно. Вместо неяркого солнца появилась белая улыбчивая луна, бросившая тень даже и на малые сугробы. Мороз покрепчал, кусал незлым псом руки и уши.

Путезнатцы доложили воеводе:

— Вот тут, Роман Фёдрыч, и есть то место, о коем в царском указе сказано, и где тебе велено город построить. Помнишь? «От Шацкого в двух сотнях вёрст на Поле на реке Цне, на устье речки Липовицы на крайнем сельце мордовском Тонбове». Тута она рядышком, завтрева развиднеется, сам увидишь.

Боборыкин потянул носом:

— А вонь такая откуда? Будто болото рядом обширное и гнилое.

— Тута все места низменные, топкие, солончаковые. Потому и названо мордвой село Тонбов, топь, место сырое, вязкое, болотистое.

Заночевали у старого мордвина, ещё крепкого, ловкого в движениях, с огнём в глазах, встретившего не подобострастно, но радушно. Пропуская в холодные сени, сказал коротко с достоинством:

— Проходите в избу, гостями будете.

Кинув глаз на одежду Романа, определил:

— Никак самого воеводу Бог принёс? Чужаков в лесу не встретили? А то повадились тут пришлые прибуды озоровать по трактам. Днём спят, а ночью промышляют добычу. Вы я, смотрю, малым числом большого чина возите.

— А что за люди завелись?

— Я сам-то издаля видал. По тому берегу прошли пеше, но с лошадьми. Кони, видать по обличью, ногайские. А пахнут татарами. Может, донцы, а может, царицынские. Со староордынского шляха забрели по дурости. Кого тут грабить? В иной день и человека не встренешь. Иль со старой сакмы татарской сбились. Они там теперя друг дружку колошматят почём зря.

Боборыкин оглядел просторную горницу.

— А ты домовладыка-то добрый. Терем отгрохал, враз и не обойдёшь. Похвались-ка домом с двором. Люблю избы посмотреть. Ка-

ков дом, таков и хозяин.

— Спробуй, отгрохай. Пять лет топором махал с сынами. Оба ныне в стороже уж как второй месяц. Скоро вертаться должны. Если не ухандокают их тама ногайцы иль казаки. А дом обыкновенный, у нас в деревне все такие. Особо хвалиться нечем. Похвальба, не похлёбка, к одному ведёт, к посрамлению. На похвальбе жить — битому быть.

Воевода при качающемся свете чадницы взгляделся в скуластое лицо.

— Вроде ты и лесной жилец, а мудроты побольше, чем у подьячего приказного. Грамоте умеешь?

— Нет, не привёл Господь выучиться.

— А скажи, кто сильнее — живой или мёртвый?

— Мы все пока живы, бессильны и немощны.. А мёртвые, им всё нипочём, они всё могут. Непобедимы и могучи. Кто может из живущих с царём Иоанном Грозным сравниться? Никто, и близко не видать...

— Ты, мордвин, не много ли глаголить взялся? Тебе ли о царских особах рассусоливать? Расскажи-ка лучше, какие тут у вас погоды? Сушь ли или мокрота больше? Часто ль дождь льёт, а может, солнышко чаще проглядывает? Много ли болот в округе? Замерзают они на зиму?

Мордвин долго и обстоятельно отвечал, а в конце добавил:

— Речицы тут Липовица и Тонбов, обе чистые, ровно слеза, но мелкие. Бьют из ключей и родников. Летом холодные, аж зубы заходятся, а зимой тёплые, лёд не становится.

Прощаясь на следующее утро, воевода возразил на вчерашнее:

— Нет, мордвин, жизнь, она, как малина, никогда не наешься, а у смерти и оскомины нет.

И бросил стрельцу-вознице:

— До Цны доедешь, правь по руслу в обратную сторону.

Ночь он провёл бессонно, в избе, хоть и показалось чисто, а клопы попались злющие и ядовитые, кусались больно и чеснотно. Плоские эти твари живучими оказались, будто из железа сотворёнными, как ни дави, а уползают живыми. Среди этого ночного кровавого сраженья прибластилось Роману место, которое миновали вчерашним днём, где сани на скользком льду занесло чуть не вперёд лошадей. Бросился ему в глаза берег крутой, Цной и другой речкой омываемый.

Через час примчались. Посреди реки темнела большая полынья.

— Ключи, видать, тёплые. Что за речка?

— Студенец. Она тут недалеко из родника зачинается.

Левый берег Цны вздыбился над рекой на две-три сажени не меньше, надвигаясь почти отвесно. Забраться на него трудом было немалым.

За три дня Боборыкин со спутниками, проваливаясь по колена, а где и по пояс, исполнил всю округу. От Цны в двух верстах воевода внезапно ухнул под снег по плечи. Киреевский с Носом едва успели вытащить утопца. Снег под ним тут же наполнился рыжей водой. Муторно понесло болотным духом.

Нос пояснил:

— Тут под снегом речичка малая, а может, и ручей — по карте Чумарсой зовётся. Начало берёт в пяти верстах к западу. Из-под земли со ржой железной вытекает.

На четвёртый день растеплелось. Сверху заслезилось, снизу захрумтел мокрый снег. Стрельцы на радостях запекли в глине, приправив шафраном, чесноком и лаврушкой, лодыжки прирезанной занемогшей лошади. На пушке, раскаленной в костре, испекли ржаные оладьи. Запахи еды обнимали, гнали слюну.

— Город не из брёвен, а из людей творится. Будут люди, будут и брёвна. Эй, Киреевский! Всем по чарке из моих запасов, — распорядился воевода.

Мёрзлое серебро рюмицы с золотой насечкой, подарок князя Барятинского, ожгло, налипло на кожу, а ледяная водка ошпарила горло, огненным шаром покатила по телу. С голодным ожесточением вонзил зубы в парную красную мякоть, Боборыкин не увидел, а скорее почуял многоратной привычкой, но совсем увернуться не успел, стрела выбила у него из рук кусок конины, пробила овчину душегрейки и застряла между колец легкой нательной кольчужки.

Валясь на бок в глубокий сугроб, заорал что было мочи:

— Падай! Падай! Глядай! Поберегись!

Оглядевшись, никого не увидел. Только чистое поле и дальний лес на том берегу Цны. И лишь поднявшись, узрел десятка два всадников, быстрым галопом уходящих по льду в сторону Староордынского шляха. Лыдинки порскали из-под копыт маленьких мохнатых степных лошадок, почти метущих лёд чёрными гривами. Но вот

все они внезапно остановились, как вкопанные, повернулись в сёдлах в его сторону, выхватили из-за спины луки, натянули их, и Роман услышал свист приближающихся стрел. Они прилетели с неба метко, два стрелца не успели увернуться и завывли от боли, ухватившись за белое оперение стрел, вонзившихся одному в плечо, другому в ногу.

Стрельцы успели поставить пищали на рогатки и выстрелить по крымчакам. Им вдогонку завывли, запищали железными осами пули, и двое всадников покатались, закрутились на скользком льду. Один из них выбрался из-под убитой лошади и на бегу вскочил сзади подоспевшего товарища.

Донцы с гиканьем и свистом понеслись вдогон, хотя знали: зимой по снегу татар не догнать. Копыта их лошадок пошире чем у донских жеребцов, а легче они на несколько пудов.

Боборыкин крикнул стрелецкому голове:

— Прокопий, бери своих и шементом через Тезиков мост на старый шлях. По следам на дороге настигнешь их верст через двадцать. По твёрдому мы порезвее. А ежели следов не обнаружится, поставь сторожу тайную. В полон не брать. Сам знаешь, они своих не выкупают и на русских не меняют. Ну, с Богом. Разведчиков за версту держи, не меньше, — и уже вдогон, чтоб слышали все, крикнул. — Падалища в лесу оставляй, а шапку с каждого привези. За голову по полтиннику.

Воистину воинскому человеку собраться, что голому подпоясаться. На поясе в сумке пороховница, пули свинцовые, сабля. За поясом кистень, шестопёр и нагайка.

Повалил тяжёлый мокрый снег. Пока добирались до убитого татарина, труп покрылся белым саваном.

— И хоронить не надо. Занесёт, летом раки по кускам растащат. Они утопых любят.

У лошади заряд вошёл прямо в белую звезду на лбу, она не успела и глаза закрыть. Они, ещё прозрачные, незамутнённые смертью, смотрели на мир, уже ничего на видя, но, казалось, животное следит за пришельцами, силится подняться, но не может.

Прокопий выгасил изо рта уздечку.

— Глядай, мундштук-то непростой, с наплывом и серебряный. Всадник-то не простым был. Десятский, а то и сотский. У них, у начальных людей, в поясе ярлык зашит. Ну-ка, Петро, обыщи его.

Ярлык нашёлся в кожаном мешочке, подвешенном к сабле. В

нѣм лежала метка из трёх кинжалов в круге из двух полумесяцев.

— Ого, надо воеводе показать, он в этих знаках мастак разбираться.

— Сын это темника ордынского. Татары эти с астраханской орды. Я там был с послом постельничим Трубецким. Отныне отец сему месту и людям тутошним мстить будет, пока жив. Кровники мы его теперь. Пока нашу кровь не пустит, сыновья ему покоя не дадут. Помните! Как он только попал сюда? Вроде не место знатному человеку в шайке лесной.

Боборыкин такой вести тоже не обрадовался. Крикнул в толпу:

— Тришка! Ко мне!

От съезжей подхватился рысцой здоровый дядька в огненно-рыжей бороде. Подбежал и застыл, брякнув саблей о кистень.

— Я, Роман Фёдрыч, тута, как тута.

— Зарыть мурзѣнка во льду и сторожу выставь. А как с выкупом приедут, враз ко мне, не мешкая. Ежели уведаю кто за спиной торг за сынка ханского вести станет, того лазутчиком на Дон пошлю, к казакам.

У самого входа в землянку обернулся:

— Всю рухлядь князька Никишке Струкову за меткую стрельбу. За то, что в такую мокрень пороховницу и трут сухими хранит.

Стрельнул глазом в сторону стрелецкого головы.

— Кто стрелу поймал, прострел медвежьим жиром залить и настоем травяным поить, пока струпя не отвалятся. Видали, как у басурманов стрелы летят по кривой? Кто повторить сможет, тому ефимка в награду.

Землянка грелась костром, горевшим в яме, обмазанной глиной. Огонь держался постоянно сторожевыми стрелцами, отчего земляной пол нагрелся. Дыма почти не было, хорошая тяга выдувала его в дыру в потолке. Дрова догорали, подёрнувшись сонным пеплом, но рубиновое сердце костра ещё жило.

Стольник устало повалился на расстеленный волчий тулуп, обнявший теплом. И вправду волки самые горячие и добрые звери — когда сытые до отвала. А столь волков в здешних лесах — нигде видеть не приходилось, ни в Муромских, ни Владимирских.

Боборыкин зазвонил в серебряный колоколец.

— Стряпчего ко мне, бегом!

Подьячий Флегонт Чуркин появился незамедлясь, подтвердив талант ведать замыслы и умыслы воеводовы, появляться чуть рань-

ше, чем за ним пошлют.

— Пиши отписку государю. Сначала титул и чин весь, а потом: холоп твой Ромашко Боборыкин челом бьёт. В прошлом, государь, году по твоему указу велено мне, холопу твоему, бысть на твоей государевой службе и поставить новый город за Шацким городом на поле у устья реки Липовицы у Цны, у крайней мордовской деревни Тонбов. Место то для крепости украинной и обороны супротив степняков татар, ногайцев и козаков непригодное. Низкое и доступное не токма разбойным людям, но и стрелам татарским. Городовых стен и рва поставить невозможно, сплошь овраги и буераки, вода вниз, в Липовицу стечёт. Вокруг лес непроходимый и болота, ни засеки ни сторожу не сделаешь. Нашёл я, Ромашка Боборыкин, в двадцати верстах от места, тобою указанного, холм высокий двумя реками обмываемый Цною и Студенцом. От Шацкого то место в 200 верстах, от Воронежа тож, новгорода Козлова в 50, от Рясского в 120, от Лебедяни в 180. В сторожевую засечную черту Белгородскую как лучше нет укладывается. Холопы твои, Биркин и Стрешнев, Козлов возводящие, в единении со мною полною. Укажи, государь, заложить крепость-град Тонбов, как уж с той деревни потянулось в новом месте, при сходе реки Цны и речичи Студенца...

Сноровистый подьячий, упорством своим сметку селянина из глухого сельца Хабаровки превративший в стряпчу сметливость, не смевший и глаз поднять на царского стольника, чина недосягаемого, услышал храп здоровый и трубный. Воевода изволил почитать.

Рождение Тамбова

Город заложили в ясный апрельский день. Снег стаял рано, стёк ручьями в Цну и Студенец, но вековая трава волосяника ещё не проснулась, прижимаясь седыми космами к отходящей от долгих холодов земле. К десяти пополудни все наличные людишки по заурывному зову бирючей потянулись к воеводскому двору, к государевой избе, с неделю как срубленной в четверик, новенькой золотисто-медовой, наполняющей округу радостным запахом свежеструганной сосны.

Волоковые окна уже открылись первому теплу. С небо ожидае-

мо, но нежеланно посыпался снег, но весна быстро устыдилась такого упущения и превратила его с помощью южного ветра в мелкий дождик.

Собравшиеся на поляне, ещё в феврале раскорчёванной шацки-ми тяглецами, захлюпали сырыми лаптями, промокли, но никто не чихал, ни сопливился, новожильцы тонбовские люди подобрались все, как один, неслучайные хлоптяи, а привычные ко всякой погоде, работая в любой мороз до пота, в любую жару тоже до пота, охлаждающего тело.

Боборыкин взобрался на телегу и оглядел толпу. Каждого из собравшихся он знал. Недаром и государь в указах и самый последний разбойник поминают «воеводу со товарищами», одному город не поднять. Воевода есть, а есть ли товарищи? Дружина дружная, сильная, стойкая?

Вон Андрей Колода, полуполковник стрелецкий, людей своих в ровные ряды выстроил, хоть и свиреп и зол, а лихости не занимать, и против троих труса не спразднует, но чует сердце, предать может. Не за здорово живёшь, за жирную деньгу. Но начальник он толковый, проверенный. Кафтаны у стрельцов справные, зимние, на волчьем меху и подкладке, все собаки за полверсты хвосты поджимают с воем жалобным. У каждого кольчужка грудная со шитками стальными. В Московском полку таких не сыщешь. Шлемы все с бармицей. Каждый топорком за пять сажений чугунок разбивает. Из пищали за триста шагов никто в седло не промахнётся. Ручницы кремнёвые пришлось в Туле за мзду доставать. За каждую по фунту серебра плачено. Да, смерть людская всегда дороже жизни стоила. Жизнь, она и гроша ломаного не стоит.

Пороха всегда сухими в берендейках и кожаных чехлах держат, хоть в дождь, хоть в снег. В дальний поход каждый пороховницей и пулелиткой обеспечен. Полуполк под его рукою защита надёжная.

Сегодня Пасха Святая, самый большой праздник на Руси. А тут почти четверть людей в дозорах и сторожах вставлена от Лысых Гор до Мотыры.

Рядом с помощью челядинцев взгромоздился упырём с необъятным брюхом, в шубе, крытой красным бархатом, князь Мосальский-Литвинов. Воевода усмехнулся, вспомнив ссору с боярином в Москве перед обозом. Тогда он тошнотно и долготно читал столбец, скреплённый красным сургучом царской печати.

«Лета 7144 февраля в 21 день по государеву, Михаила Фёдоро-

вича, всея Руси, Указу память окольному князю Андрею Фёдоровичу Мосальскому-Литвинову, да дьякам Степану Угоцкому да Савве Самсонову указал государь Михаил Фёдорович поставить город Тамбов стольнику Роману Боборыкину, а наряду указал государь в тот новый город послати: пищаль вестовую мало-больши полуторную, две пищали полуторные, ядро в шесть гривенок, две пищали, ядров по три и по четыре гривенки, четыре пищали, ядров по гривенки, да двадцать пищалей затинных, да к пищалам ядра, смотря по зелью, двадцать пудов зелья пушечного, сорок пудов зелья пищального, да против зелья свинцу по государеву указу, колокол вестовой в пятнадцать пуд, да на государевы всякие крепости тридцать пуд железа...»

Роман потому всё так запомнил, что сам писал потребность, а главное, боярин хитро-мудрый, с поездом, как уж с неделю приехав, до сих пор наряд с казною пороховою не сдал по писчей ведомости. Больно не хочется ему, сметливому, по смете всё сдавать. Ну да не на того напал, завтра всё железо до пушинки и зелья до порошинки, чтоб расчёт царский с отчётом боярским тютелька в тютельку сошёлся.

Князь в товарищи не годится, а вот дьяк Самсонов, ушлый, дошлый, хожалый видать мужик. Такого приказным стряпчим посадить — горя не знать, вся писчая часть чин-чином будет. В приказе Большого Дворца подьячим пять лет пробегал, всю подноготную постиг. Тем паче, что сам напрашивается. Оно и тревожит, знать свои виды имеет.

Воевода перевёл взгляд на разнопёрую, запестревшую в глазах, толпу. Со всей округи собралась местная владетельная знать. Помещики, купчество. Каждому посыльный слался. Гонору заносчивого в каждом, ровно и равно богатству. Местники тут похлеще, чем в Москве. На одной десяatine по нужде рядом не сядут, ежели кто по его разумению хоть на вершок пониже. Любому только пальцем погрози, враз вопить начинает про пожалования царские за службы личные, предков заслуги. В сундуках искать столбцы Поместного приказа. Все правые берега по Цне, Мокше, Ваду, Вороне, Кийе ими заселены. Вон они в полукруг стали станом стадным: Закревский, Веденяпин, Вишняков, Слепцов, Давыдов, Машкалов, Калачов, Постников, Тяпкин, Леонтьев, Иноземцев, Дураков, Скуратов.

Дружбу ведут между собой нерушимую только потому, что царс-

кая воля умно была сделана, всем по равному земли нарезано, наделено, каждый получился первым среди равных: «...у воды поместья по 100 четвертей в поле и сенных покосов по 300 копен».

Все равнобогаты. Каждый свою сторожу-дружину имеет. Вокруг них, хозяев, так и выются, как мухи, дети боярские, козаки, беглецы всякие тёмные. Воинство сие поодаль толпится. Каждый при оружии: сабля, пистоль, кистень, кинжал и шестопёр с шипами. Оберегатели за хозяина горой, но грудь от стрелы не загородят, не подставят себя под копьё. За деньги жизнь не отдают, за деньги жизнь отнимают.

Вон идолом несокрушимым каменным возвышается Давыдов. Приехал знакомиться и сразу же жалованную грамотку под нос съёт:

«По-своему царскому милосердному осмотрению пожаловали ясмя Василия Аввакумовича Давыдова, прозвище Медведя, за его многия службы, что он, памятуя Бога и Пречистую Богородицу и Московских чудотворцев, будучи у нас в нужное и прискорбное время за веру крестьянскую и за святых Божии церкви, и за нас и за всех православных крестьян против врагов наших польских и литовских людей и русских воров, будучи на Москве в осаде, стоял крепко и мужественно, и многое дородство, храбрость и кровопролитие и службу показал, и голод и наготу и всякое оскудение и нужду всякую терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую покусился, стоял в твёрдости разума своего крепко и непоколебимо без всякой шатости... И за те великие службы, я, царь и великий князь Василий Иванович, пожаловал ему 135 четвертей в Добринском городище на реке на Воронеже... И на ту вотчину дана ся наша царская вотчинная жалованная грамота за нашею красною печатью, ему, Василью и детям его и внучатам и правнучатам и в род его неподвижно, чтоб наше царское жалованье за их великое дородство и крепость и храбрость, служба за веру и за своё отечество и последним родам было на память их службу и терпенье воспоминали бы вперед дети их и внучата и правнучата, а кто по ним в роды их будут, також за веру крестьянскую и за святых Божии церкви против злодеев наших стояли мужественно, безо всякого козыбания».

Инокиня Марфа — мать царская

Людское скопище вдруг раздалось, распахнулось, новожильцы, давя друг друга, кинулись в стороны, увиливая и прикрывая головы от кнутов, нагаек, у кого-то брызнула кровь. В живой коридор въехали три кареты. Первая — чёрная с золотым разлапистым орлом, уляпанным грязью по самую клювастую голову. Из двух других высыпались стрельцы, слуги, бросились разворачивать лестницу-порог, открывать дверцу.

У Боборыкина душа ухнула куда-то вниз под телегу и затаилась там, где-то у колеса. Ошпарила шальная мысль: «Неужто царь пожаловал?». Но разом подкасал: «Дурак, забыл начальницу свою Шацкую? Матушку Михаила Фёдоровича, царицу. Сам же подарки слал с приглашением...»

Воевода резво прыгнул с телеги, подбежал к карете и распахнул створки дверей:

— Пожалуйте, матушка Марфа Ивановна, вовремя подоспела, счас и молебн начнётся на полный круг, как и положено при городском основании и заложении.

— Здравствуй, воевода! Я сколь раз тебе талдычила: инокиня я, Марфа, а не царица. Я ведь уж и зареклась до тебя доехать. Если б не дозоры и сторожи конные, попала б в лапы казачков разбойных. Пару подстрелили, от остальных кони добрые унесли, а то прямо в облаву взяли под самую Моршею, шайка людишек в сто, не мене. Разбойное село!

Величественная, ещё на старая женщина, мать царствующего великого князя всея России Михаила, поражала своей гордой красотой и статью. Потомица царственных бояр Романовых, вечных строителей города Романова и Красногорского монастыря, проживала свой век в селе Конобеево близ Шацка, столице всех ближних дворцовых вотчин. Села на принесённую дубовую скамью. Смотрел он на монашку-царицу, а видел себя, юного безусого ещё, скачущего в сторожевом бережении послов соборных, мальчика Михаила с матерью, нашедшихся в Костроме. Ох, и намучились они тогда. Из Кремля выехали с послами 2 марта и блукали по лесам, полям и дворам постоялым две недели. Провалились под снег, под лёд в талую воду.

Вечером 13 марта у Ипатьевской пустыни задул неожиданно жар-

кий ветер, снег, из синего в чёрный превращаясь, на глазах таять стал. Стянул соболью шапку и, будто мать ладонью тёплой голову гладит. Двадцать лет с лишком минуло, а как вспоминал воевода воцарение Михаила, всякий раз материнская ласка душу теплила. Вот и сейчас, увидел царёву родительницу и свою матушку вспомянул. Великими трудами, тяжкотно Русь царя русского обретала. Народ, поднявши иконы, пошёл крестным ходом в монастырь. При входе стоял одиноко отрок Михаил с глазастой головой на тонкой воробьиной шее. С великим гневом и плачем молил он избавить от креста царского, повторяя многожды, что государём не рождён и быть не хочет. Мать Марфа добавила, что не даст благословения сыну на царство. Долго они упрямылись за крестами в церковь идти, не желая и слышать, что Собор в Москве провозгласил Михаила царём русским. Насилу упростили. В храме говорить стали наперебой речи по наказу:

— Всяких чинов всякие люди бьют челом, чтоб тебе, великому государю, умилиться над остатком рода христианского, многорасхищённое православное христианство Российского царства от растления сырьядцев, от польских и литовских людей собрать воединство, принять под свою государеву паству, под крепкую высокую свою десницу, всенародного слёзного рыдания не презреть, по изволению Божию... и пожаловать бы тебе, великому государю ехать на свой царский престол в Москву и подать нам благородием своим избаву от всех находящих на нас бед и скорбей.

Боборыкин смотрел на царицу, монахиню Марфу Ивановну и подумал с налетевшим холодным потом страхом: а ежели б она тогда упёрлась бы оконечно и на государствование сына своего так и не дала б соизволения-благословения? Что бы стало с Руссию? Опять бы антихрист чередной на престол сел?

Уж ведь и послы слабеть стали. Всё по наказу высказали, по второму кругу пошли. Все грамотки от Собора подали, а она всё в прежнее:

— У сына моего и в мыслях нету в таких преславных великих государствах быть государём, он не в совершенных летах, а в Московском государстве всяких чинов люди измалодушествовались (это она тогда верно, ох верно, а ныне ещё более обездушились вовсе), дав свои души прежним государям, непрямо служили.

Без прикрас видно было, как княгиня-боярыня из страха и жалости за чадо своё в мать-бабу превращается ...

— Как Михаилу, человеку мягкому и неопытному на престол всходить, если были прошлым государям позор и убийства? Годунову кто изменил? Народ. Кто голову отрубил Лжедмитрию? Кто полякам Шуйского выдал? Как быть в Московском государстве государю государём?

Упрашивали, умоляли с четвертого часа до девятого, а Михаил всё не соглашался. Тогда в сердцах послы пригрозили:

— Бог взыщет с тебя за конечное разорение государства.

Тогда Марфа благословила сына, а Михаил принял посох от архиепископа.

И ведь прав народный Собор оказался. С чем юный царь государство Московское принял? Казны нет и взять неоткуда. От польских и литовских людей, от измены людей русских разорилось оно до доньшка. Земля воровскими казаками кишит. Сокровища царские, долгими давними годами совокупленные, литовцы вывезли. Дворцовые сёла, чёрные волости зажиточные, пригородни, посады розданы в поместья дворянам, детям боярским и мирским людям, запустошены.

Чем ратных людей жаловать, государевы обиходы полнить и против недругов стоять?

Заруцкий с востока грозит, шведы и поляки с запада, ногайцы и татары с юга кусают лисами бешеными...

Роман смотрел на царицу Марфу и всем существом преклонялся перед нею, мудрой сыноводительницей и мужеспасительницей. Молодой царь, добрый по рождению, талантами недогруженный, хоть и не лишённый ума-разума, на престол сел едва оперившись, едва читать умел, без должного образования и воспитания. Потому и Филарета Никитича из плена польского извлекла, вторым государём-наставником ставшего. Ныне через двадцать лет ясно стало — Россию спасла от гибели и умерщвления.

Остальная толпа состояла из тягловых крестьян и посадских, согнанных по царскому указу из ближних городов Воронежа, Ливен, Сапожка, Лебедяни, Михайлова, Данкова, Ряжска, Шацка, с каждого двадцатого двора по работнику.

Между стрелецким полуполком и дворянским ополчением, собранным для отбития всяких ратных людей, приходящих из необъятных и страшных глубин Дикого Поля, стояли ровной шеренгой солдаты иноземного строя, присланные Разрядом для усиления обороны строящейся крепости.

Старшим у них был офицер Иоганн Якоби фон Вальдхаузен, сотворивший у себя на голландской родине «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Пикой он владел искусно, чему учил не только своих солдат, по преимуществу литовцев, но и стрельцов, боярских детей. Но те с бердышами управлялись не хуже и почти сразу же выбивали у иноземцев их железки из рук.

Одно в глаза бросалось, баб и ребятишек почти нет. Одни подстёги московские да местные жительницы душегрешные, со всей округи сошедшиеся, румяные да червлёные в душегрейках до пят, как куклы ряженые.

Царская мать махнула рукой разрешающе. Масальский-Литвинов упёрся седой бородой в плечо:

— Начинай, воевода первый Собор Тонбовский!

Роман огляделся окрест. Вся поляна в людских головах, будто капустное поле ожившее.

— Соотчинники мои и соратники! По Божиему велению, по помазанника Его царя Михаила Фёдоровича указу закладываем мы нынче город. Дорогие мои современники! Низкий вам поклон и благодарение. Мы с вами великое дело делаем, рождаем и растим новый град Тонбов. Крепость возводим, чтоб скрепить сторожевою силою и смотрением Базароордынский и Изюмский шляхи, старые сакмы татарские столетние. Чтоб не брали боле в полон и не уводили в рабство женок наших, отцов, матерей и детишек. Не торговали ими в Бахчи-Сарае и не развозили по всему свету, лишая родных кровных и земли родной. Тонбов кольчугой и щитом служить будет на брюхе государства Московского. И земля уж слухом полнится. Бирючи вести приносят, окрестный народ верит, тут ратных людей скоплено полторы тыщи с пищальями и пушечным нарядом большим. Избы пыточные с острогами строгими для разбойных людей многие построены. Кабы не сглазить, но уж месяц как ни одного воровского человека в округе не видано.

Помолчал малость.

— В Доброе сунулись, да обожглись. В Морше отметку оставили, пять падалищ стрелецких и дюжину сволочи казацкой. Но ждать и готовиться надобно, сунутся непременно. Такая уж у них работа, людей побивать и грабить. И вам бы, соотчинники мои, на чём крест целовали и души свои дали стоять в крепости разума своего сильней, чем в крепости городской, безо всякого козыбания служить-прямить царю нашему. Воров добрым именем не звать. Ворам не

спускать и не подслуживать. Чтоб грабежей, разбоев и смертоубийств у нас в Тонбове и на дорогах не бысть, а между нами бысть бы соединение и любовь. А я вас за вашу правду и службу ревностную рад жаловать. Вобъём же кол городской срединный в знак основы его и обережения от всяких людишек недобродейных татар крымских и астраханских, иных степняков разбойных ногайцев, калмыков и козаков гулящих, с пути службы сбившихся. Встанет Тонбов сторожем в черте засечной крепким и непроходимым. Третьего дня известие пришло об Указе государевом работных людей из крестьян Шацкого уезда с каждого пятого двора и половину козаков тамошних согнать на работы в Тонбов. Службу сторожевую поручает царь дворянству здешнему, детям боярским и помещикам Шацким. Я же начальником сторожи назначаю «медведя» нашего Давыдова Василия Абакумовича, воина храброго и многоопытного, к битвам привычного. Я же властью царской мне даденной велю с каждого десятого двора по работнику с топором из сёл Верхнеценской волости Ивенья, Русского, Сержал, Борков, Корелей, Устья, Хабарова, и Семикина. И ещё: все стрельцы, козаки и солдаты шесть недель службу бременить будут, а ещё шесть работными людьми бысть. Всем царь-батюшка кладёт заработок деньгу в день...

Дубовый молоток в крепких руках воеводы в десять ударов вогнал белый, сочащийся янтарной смолой кол в чёрную, только что вздохнувшую от зимы парную землю. И сразу же вослед понесли брёвна, рубленные в восьмерик, укладывая их на валуны, оставшиеся в здешних местах то ли от всемирного потопа, то ли от ледников, спустившихся с неведомо каких краёв. На серые гранитные камни поставили сруб-восьмерик, накрыли шатром, увенчали луковицей с чешуйчатым лемехом и православным крестом. Перетянули всем миром десятипудовый колокол.

Деятельно, ловко и быстро возвели церковь плотники моршанские. В месяц всю собрали без единого гвоздя. Рубленую в два моста колокольню построили девяти аршин в квадрате. В вышину с шатровой крышей, скатом на четыре стороны, с главою и крестом не свыше пятнадцати аршин. В колокольне окна прорубили, каждое с аршин. Из Рязани иконостас и утварь завезли с трудами тяжкими. Царские Врата местные маляры Фома с Лукою пять дней расписывали тёртыми на сурике красками в первом городском храме. Осветили Соборную церковь в том же году августа в шестой

день на самый праздник Боголепного Христова Преображенья Господня.

Местоположение воевода выбрал удачнее некуда. Город-крепость, как ему и заложено было быть, занимал холм между слиянием двух рек Цны и Студенца, защищавшими его с востока и севера. Цна в этом месте распадалась на два притока: Ерик, обтекающий и обнимающий строительное место, главное же русло — Коренное, протекало у самой стены сплошной дремучего Цнинского леса, составляя вторую линию, затрудняющую проход и проезд к городу. Весной и летом 1636 года вся пойма между двумя руслами реки завалена была в неубывающем множестве дубовыми и сосновыми брёвнами, привозимых по реке и гужом из Челнавских и Кулеватских лесов. На брёвна тут же набрасывались плотники и, звонко звеня топорами, шкурили их, тесали под укладку в клетки крепости. Они, голенькие, свежеродившиеся, повсюду белели, радовали глаз. Стружка и осколки не залеживались, над полем с утра витал запах булькающего в котлах на кострах кулеша мясного, каши пшённой разваристой и масляной, приправленной лавром, шафраном и перцем.

Боборыкин носил с собою неотлучно в кожаном круглом чехле чертежи с описанием и описью крепости и острога. С предрассветного часа обходил он растущий с каждым днем вверх Кремль. Вместе со срубными избами и амбарами росли и ставились службы государевы. В съезжей двое подьячих, набранных из беглецов, Ивашка Беклемишев и Феодор Прянишников, сидели и от скуки то волосы из ноздрей драли, укрямывая, то в зернь кидали на будущее жалованье в полтора медных рубля.

Перед обедом собирал дьяков и разбирали скопившиеся столбцы, писал отписки царю и в Приказы, другим воеводам, в волости и уезды, составлял сыскные списки на очередных утеклцов. Нынче, во второй день июня месяца составлял он давно назревшую заволокиченную за недосугом бумагу в Москву.

— Пиши без помарок и ошибок, бумаги в обрез. Ежели не разберу, выдеру, как сидорову козу! Пиши: «Государю, царю и великому князю Михаилу Фёдоровичу всея России холоп твой Ромашко Боборыкин челом бьёт. В нынешнем, государь, в 7144 году, по твоему государеву указу, велено мне, холопу твоему, быть на твоей государевой службе за Шацким городом в степи и поставить новый город Танбов. А со мною, холопом твоим, велено быть на твоей государе-

вой службе в новом Танбове городе мещерянам дворянам и детям боярским, и белозерцам»... вот тут впиши «и шацким помещикам». Далее пиши: «марта двадцать»... дай Бог памяти, «двадцать пятого»... нет, «двадцать седьмого ко мне, холопу твоему, в Шацкий съехали на твою государеву службу»... нет, тут про службу не пиши, тока что поминали... «в степь, где ныне ставят новый Танбов город, и я, холоп твой, тех мещерян и дворян, и детей боярских, и белозерцев, шацких помещиков смотри своего списку составил и на тое послал к тебе, государю, апреля в 17 день с мещерянным сыном боярским, с Андреем Слепцовым...»

Сочинительская мысль воеводы перекинулась на Слепцова. Было б с десятков таких, как Андрюшка, город резвее стоился бы вполовину. Вот уж от роду даровит и смышлён — и жнец, и боец, и на дуде игрец. Предан, силён духом и телом и умом, добр и честен. А, ладно, потом додумаю...

— Пиши далее: «А с апреля в семнадцатое число по мая тридцать первое которые мещеряне дворяне, и дети боярские, и белозерцы шацкие помещики в новом Танбове городе у меня холопа твоего, и которого часла у смотра объявились, и я, холоп твой, всем мещерянам дворянам и детям боярским и безозерским шацким помещикам именные списки и отписки послал к тебе, государь, с мещеряниным с Иваном Васильевым сыном Мачехиным июня во второй день. И всего, государь, мещерян дворян и детей боярских, и белозерцев шацких помещиков в новом Танбове городе по списку у меня, холопа твоего, у смотра объявилось на добрых конях восемь десятков человек, да на мерилах на обычных сто шестьдесят человек, да пеших семьдесят три, а всего три сотни и тринадцать...»

Боборыкин вытер пот, пробивший при мысли о царском недоброхотстве после прочтения сей отписки. Ведь и на четверть людшек не собралось, по государеву указу положенных.

После обеда, воевода обычно садился на коня и объезжал возводимый острог. Нынче спутником его подколодным и гостем словоблудным был думный дьяк Лихачёв — набольший на Москве знаток обычаев крымских татар. Многоразовый к ним хожальщик с поручениями царскими. Прибыл он по тайному царскому указу подсмотреть, подслушать и доложить о делах и словах, в новостройке творимых.

— Ты, Роман Фёдрыч, третий по величине воевода в черте зачатной украины южной. Танбов из 27 городов сторожевых только

самому Белгороду да чуток Яблоневу уступает.

— Видал я, Алексей Михалыч, планы крепостей тех. Обе на равнинах стоят ровных, ровно стол обедешний. Там проще, кремль деревянный, а округ ров водяной. В Танбове же холм и мыс двумя реками омываемый. Стены то вверх, то вниз падают, приходится оврагам, буеракам кланяться и низинам болотным следовать. Яблонов-то древоземляной в четыре угла, а мы и в шесть не уложимся.

Крепость Тамбов

Крепость Тамбов спланирована была по всем правилам фортификационного искусства того времени. Кремль обносился дубовыми срубными стенами с башнями. Понизу рылся глубокий ров, заполнявшийся водой из тех же речек. Царский зодчий Фёдор Наквасин опыт градского возведения имел немалый. Учился у знатных мастеров в Москве, Владимире, Ярославле, Рязани. Все чертежи, сделанные им, носились в большой кожаной сумке и вынимались на свет Божий только по приказу воеводы.

Боборыкин изустно, не озираясь на план и чертежи, мог рассказать о своём детище всё, вплоть до каждого вершка, не говоря уж о детинце, городовой сердцевине. Всего в стенах, между тарасами, пряслами возводилось 12 башен в средности своей по 12,5 сажени. Две — высоты заоблачной: 14 и 24 сажени.

Таких в округе ещё не видано было. Самая высокая — Московская, карауловая, проезжая. Боборыкин с гордостью отцовской показывал её дьяку.

— Видишь, уж два моста сложили, ворота проезжие видны. Захабы во всех проезжих башнях поставим, так просто не проскочишь, особливо первые, на копыта с бердышами сами насадятся. Чужаку время на поворот, а караулу на раздумку и оборону. Эй, Терешка, вишь в предпоследнем венце щель сквозная? Разбирай, снег с водой годов за десять всё бревно съедят. Вода, она только лжу не берёт, а остальное в гниль и ржу обращает. Люди последующие проклянут нас с тобою. В Московской семь мостов будет. В подошвенном бою пищаль железная в станку на колёсах с ядром по 14 гривенок для ближних поражений. На втором и третьем пищали медные полоторные по шести гривенок для средних целей. На пятом мосту, куда уж выше, выше уж шатёр с крышей зачинается,

пищаль вестовая будет тоже в станке на колёсах. При неприятеле, разбойных людях, пожарах, сборах людских палить будет по чину положенному. Каждому случаю свой звук, смотря, сколько пороху заложить.

Подозвал:

— Трифон! Ну-тка, подойди. Десятник это. Башню плотники Елецкие строят.

С лесов ловко спустился приземистый крепкий мужик, зачастил карзубым ртом:

— Мы ельчане-сычужники. У нас радуга ушат воды испила, а на реце Сосне курица утёнка вывела. Доброго здоровья господам начальникам.

— Ты мне зубы не заговаривай. Почему медлишь? Уж третий мост завершаться должен, а ты на втором застрял.

— Вчерась к вечеру, Роман Фёдрыч, троих бревном зашибло, кому ноги, кому руки всмятку, а Митрюю голову вдребезги, к утру помер, отмучился. Пока прокружились, а там уж и потёмки.

— Царствие ему небесное. Зайди в съезжую за погребальной деньгой. Пусть подьячий запишет, какого рода-племени. За город люди живот кладут. Первый герой тонбовский твой Дмитрий. Чей он был-то?

— Фокин Матвей. Наш, елецкий. Князя Романова холоп тягловый. Не жаловал его светлость Иван Никитич, Матвея. Покойный на него челом бил многожды племяннику его, государю нынешнему нашему Михаилу Фёдоровичу, дай Бог ему многая лета.

Раз есть город, должно быть и кладбище. Где живые, там и мёртвые. Где живут, там и мрут. Место погоста определил Боборыкин. Он шагал впереди ельчан по устилавшим всё вокруг цепкам и опилкам. Сотни людей были заняты одним делом — превращали срубленный лес в бревна, доски, брусья.

Воевода ковырнул острым носком сапога остро пахнущую древесную поруху и труху.

— Собрать надо. Зимой разжижка отменная.

Десятник живо обернулся к своим.

— Тащи корзины, мешки. Сваливай к нашим землянкам.

Вышли за Дегинец.

— Тут, на самом устье Стюденца, слобода будет полковая козак.

Саженой через сто воевода остановился.

— Вот тут и будет погост. Здесь танбовских жильцов упокаивать станем. Вот только берег подмывает вода вешняя. Лет через сто от этого холма ничего не останется. Уплывут косточки человечьи вместе со временем. Насади-ка десятник по обрыву и поверху ветлы поболее, лучше нет защиты, через пять лет всё сплетёт накрепко. Отпевать пока в Преображенской, а потом и здесь поставим, чтоб люди по полному кругу с земною юдолью прощались. Да, примета нехорошая. Смерть людская в город вперёд рождения человека пришла.

Десятник не выдержал, всхлипнул:

— Да он, воевода, давно в могилу глядел.

Боярин Романов

Хоронили Фокина всем миром. Первого мертвеца бабки-плакальщицы из ближнего села Бокина обмыли тёплой чистой цнинской водицей, обрядили в чистую рубаху-саван. Сапоги никак не належали. То ли сам Матвей сопротивлялся, он их и не носил совсем, только в церковь ходит, смажет салом медвежьим и опять в сундук, так их ему и в жизнь вечную навялили. А что за жизнь, если сапоги жмут. Одно мученье и страданье. А уж на мёртвого и подавно. Пришлось намыливать. На голову водрузили корону бумажную. Запашистый свежеструганный сосновый гроб перебил леденящую душу мертвечину, убыстрённо гниющую на жаре.

Десятник поднял щепку, расщеперил у усопшего зубы и сунул в рот медную деньгу, глухо звякнувшую.

— Погодите, — остановил толпу подсоседник покойника Пронин Валяня, — кафтан-то забыли. Он его только справил. С татаринном долго ладилися. Тосковать по нём станет тама.

Но воевода поставил ладонь щитом:

— Ему и так хорошо. Спеленали младенцем безгрешным, а кафтан в Елец жёнке отправьте с оказией. Продаст, год без нужды жить будет.

За поминальным обедом сидевший молча дьяк Лихачёв вдруг прискользил по вытертой до блеска скамье:

— Ты, воевода, указал, где земле предавать утопленников, удавленников, разбойных, воровских людишек, убивцев, казни предан-

ных. Иначе, сам знаешь, город бедствия постигнуть могут, мор, неурожаи...

— Кого по государеву указу умертвили, тех в лесу, кто сам на себя руки наложил, в поле. А ты-то чего об этом? Неужто вздержаться решил от пьянства безмирного?

Матвея зарыли, но не забыли. Обрёл он вечную свободу и покой, как пропел над ним первый городской причт отец Мефодий, здоровенный ражий и рыжий мужик, бывший коваль, махавший топором наравне со всеми между службами. И это была чистая правда, так как всю свою жизнь длиною в четыре десятка лет с упорной тщетою добивался Матвей той самой свободы и справедливости.

Боярин, Романов Иван Никитич, меньшей брат святейшего патриарха Филарета, российского государя, коренной вотчинник обширных владений в Липецкой, Лебедянской и Усманской волостях, нравом наделён был буйным и самовластным. Столица воеводства бояринова располагалась в городе Романове, где благоденствовал он чернозёмным властелином почти безвылазно, окружённый неисчислимыми челядинцами.

Городище стояло среди степей полной и настоящей крепостью, обнесённое дубовыми стенами, земляными валами и водяными рвами. Боярин никого и ничего не боялся. Зато все окружные и окрестные люди любого звания и чина, живущие в широких землях вокруг его привольно раскинувшихся вотчин, трепетали его и, как Божьей милости, ждали ласкового взгляда или доброго слова.

В одном из подвластных Ивану Никитичу починков и проживал довольно безбедно довольный жизнью Матвей сын Кондрата Фокин. Нажил он непосильными долгими трудами дом-пятистенок с печкой каменной, пяток коров, три лошадки и всё прочее хозяйство, что и у других людей в наличии (свиней, гусей, уток, кур), чуток земельки имел с дикими пчёлами, рыбным и звериным промыслом. Жёнку Ксению, пригожую и работающую, принёсшую троих детишек с золотыми головёнками. Тянул он тягло семейное с радостью, а государево с тяжестью, но исправно, платя казне пятый сноп, справляя повинности, то гужевою, то сторожевую. Мужиком он был весёлым, добрым, игрывал на роговой музыке, плясал и пел песни, сыпал прибаутками направо и налево. Вечерами любил посидеть у речки на траве-мураве бок о бок с крутобедрой и ласковой супругой. Рухнуло всё в одночасье. Опричники боярские добрались и до него.

Вернулся он однажды с торжка Липецкого, а жёнка лежит в подклетки простоволосая, кровавленная, нагишом — с разбитым телом и убитой душой. В хлеву тишина гробовая, никто не мычит, не хрюкает, не гогочет, не кукарекает. Ни коней, ни живности. Запасы все из погреба повыгребли и омшаник пограбили.

Дёрнулся Матвей, будто молнией ударенный, поник головой, словно кто внутри у него жилу становую пересёк. Долго ещё выносил со двора кучи дерьма, злодьями наваленные. И сколь потом в баньке ни скрёбся, ни парился, а от запаха вонючего не избавился. Так он от него и не отмылся, пока не отомстил.

— Каковские были?

— Романовские все. Митяй, Порошка, Степашка и Тришка.

Охотиться Матвея с измальства приохотил отец. Но охотиться на людей пришлось впервой. Да и не люди они вовсе, так, оболочки одни людские, а души из них сатана давно повынимал, ему осталось лишь жизни из них вынуть, чтоб не множили далее несчастья людские и в ответ за соделанное.

Готовился и раздумывал недолго. Пищаль брать нельзя — бьёт громко, на всю округу. Лук, хоть и надёжен, но велик, не спрячешь. Вот самострел в самый раз, сунул в мешок и пошёл.

Митяя пропнул он насквозь стальной трёхпёрой стрелкой на Лебедянском тракте, но промахнулся, метил в сердце, а угодил в горло. Схватился Митяй рукой за стрелу и выдернул, чем смерть свою сам призвал. Пришла она, когда кровь вся из него вышла. Может, и жив бы был, если б со стрелой ходил. Подошёл к нему Матвей, сторонясь кровавой струи, посмотрел в глаза мертвеющие:

— Эт тебе за жёнку мою. Считаю, баба мужниной рукой с тобой рассчиталась. Так праведно будет.

Порошку завалил прямо на торжке в Хоботке. Прицелился в щель из ларька холщового. Тот только и успел оглянуться и ткнулся носом в пыль уличную.

Степан сам напросился. Приехал сам-друг жизни его лишать за содельников. Из пищали громыхнул, да промахнулся, а стрелу в живот поймал, последнее своё смертельное кушанье.

Оставшиеся Степан и Трифон живота своего ждать не стали, собрали людишек и нагрянули тёмной ночью в Фокин починок. Взметнулся в небо чёрное петух краснопёрый, затрещал крыльями,

опалая дубы и берёзы. Да зазря. Матвей давно уж спать ложился в землянке на задах, знал, не сегодня-завтра придут. Сам ждал, подманивал.

Подкрался темнотою лесною к пожару и всадил в спину Степану стелу, насквозь пронзившую — сблизил сила быстрая! Трифон же завертелся волчком, заверещал, покатился по траве, пополз вьюном, роняя катяхи от страха.

Ушёл в утеклцы Матвей, отдав детишек родителям в Елецкую слободу. Жёнка, спасая детишек, в огонь сама бросилась, не стала жить дальше. Каждый Божий день твердила:

— Я, Матвеюшка, снаружи-то помоюсь, вроде и чистая, а внутри грязь и черви, чернота и гнилость неубывные, несмывные...

Вошла в полямя и очистилась. Стал Матвей жить в Телерманском лесу. Прибился к беглецам разбойным из воровского острога Воронежского. Стали к ним прибиваться обиженные и побитые боярином Романовым.

Фокин отцом грамоте был обучен. На все плачи и мольбы не мучить его учением, батюшка отвечал,

— Придёт день и ты, грамотей, спасёшь многая люди...

Вся немалая лесная рать не в силах была приступить к грозному боярину. Ногайцы, черкесы, татары, козаки, по всей воле разгуливавшие по здешним привольным и беззащитным степям, вступая в бои с целыми полками стрелецкими и решавшимися на осаду крепостиц, и те рати бесшабашные обходили стороной Романовские сторожи, оставив не одно падалище сородичей своих, зная, как невыгодно иметь дело с многочисленной дружиной боярской.

Но терпенье людское, наконец, потекло через край и не кто иной, как Матвей Фокин от всего мира написал в челобитной плач народный: «Великие государи! Романовские люди и крестьяне жён и дочерей наших позорят насильством, поместья наши и вотчины жгут, хлеб в гумнах жгут и в полях стоячий хлеб топчут и жгут и лошадей и коров отымают и из денег и платья пытаются нас, и многая села и деревни разорили без остатку...»

Кто-то из толпы, с благоговейной надеждой следящей за появляющимися из-под белого гусяного пера чёрными буквами, возмолил, всхлипнув:

— Напиши, идёт, мол, вся наша братия врозь от великого боярина Ивана Никитича, многоденного и ношного насильства. И от тех боярских крестьян не пройти, ни проехать, ни в который город немочно.

Выждав, пока кончится скрип пера, другой голос просяще и жалостно зашепелявил:

— Внеси, батюшка Матвей Игнатич, слёзные наши последние просьбы... Пожалуйте, государи, нас, нищих своих богомольцев и холопей, и праведною милостию учините нам оборону. А не будет нам вашей государевой милости и пропали мы без остатку. И ещё добавь: а за себя стать и побить челом мы, холопы ваши, государевы, не умеем и не смели и уже мочи нашей не стало от Ивана Никитича насильства. Да и всё уж.

Закончил худой, как жердь, тяглец елецкий и ударил шапкой оземь.

— Нет уж, — пустил петуха бывший стрелецкий старшина одноногий Лукич, — добавь уж до кучи и от меня: какое уж было нам разоренье от Литвы и от ваших государевых недругов, теперя же от Ивана Никитича плен наш, коему и конца нет, пуще он нам крымской и ногайской войны!

Матвей дописал и добавил:

— Ладно, я сам заключу. Конец надо придумать, чтоб до самой царской души дошло.

В толпе хмыкнули:

— И до печёнки с требухою.

11 июля 1628 года перед Елецким собором с утра все обиженные и униженные, побитые и покалеченные, ограбленные и обойдённые, лишённые живота и чести, прикладывали руку к челобитной, написанной Матвеем. Мало кто две-три буквы нацарапать мог, большинство кресты ставило, народу собралось так много, что скоро и крестов ставить некуда стало.

Челобитную грамотку прочли принародно, а когда зазвучали конечные слова, то толпа неудержимо зарыдала:

— Милосердный государь и царь великий князь Михайло Фёдорович всея России и великий государь светлейший государь патриарх Филарет Никитич Московский и всея России! Пожалейте государи нас, нищих своих богомольцев и холопей своих, воззрите в нищее разоренье, не дайте в конец нам погинути. Велите государи великого боярина Ивана Никитича от нас отвести, оборонить нас от воровского насильства и крестьян наших и бобылей отдать нам повелите, чтобы мы, холопы ваши, вашей царской службы не отбыли. А нам стало, государи, от такого великого насильства и жить невмочь...

Ходокам — боярскому сыну Григорию Шуринову со товарищами Зиновенком Перцовым, Ивашкой Бобыкиным, Ивашкой Бехтее-

вым, Гаврилкой Тихоновым, Ларей Трофимовым, Володей Яковлевым и Матвейкой Фокиным — отслужён был напутственный молебен.

Крались челобитчики в Москву точно лазутчики, опасаясь погоны и засады. Через десять дней достигли посланцы стольного града, где, прожившись вконец, охолодавши и оголодавши, попали, наконец, к боярину Дворцового Приказа.

Не вставая с колен прочли челобитную, а Матвей Фокин добавил:

— У нас, ваша светлость, во всём уезде холопей, крестьян и бобылей осталось треть жеребья, других же вывезли в боярские Ивана Никитича вотчины, для строения новых слобод. А воеводы наши против той дурости молчат и защиты не чинят, не смеют, и воровских крестьян Романова в тюрьму не сажают.

Боярин, перебивая, стукнул посохом по каменному полу:

— Рассмотрено будет, — повернулся к страже, дремавшей в затемнённом углу. — А этих пометать в тюрьму и числить за Поместным Приказом.

Жалоба была на царскую фамилию, потому и дошла по назначению. Велено было всем на удивленье провести самое дотошное дознание с тщательным следствием.

В сентябре 1628 года двинулся из Москвы длинный конный поезд во главе с царским «следователем важнеющим» Никитой Вельяминовым под охраной стрельцов.

Изо всех челобитчиков только немногие, единичные смельчаки и отчаянцы смогли перебороть страх и трепет от грозных окриков суровых московских следователей и показать в следующем роде:

— Романовские люди у живых мужей жён отымали, в свои новые слободы около Воронежа, Ельца и Лебедяни отвозили и за своих мужиков силостию выдавали.

Большей же частью отбоярились уклончивыми и трусливыми показами. Лебедянские окольные люди все, как один ответствовали:

— Слышать про боярина Ивана Никитича слыхивали, а подлинно то — не ведаем.

К началу 1629 года дознание окончилось. По указу царя Михаила Фёдоровича от января 14 дня боярин Романов за недостатком улики «был оправлен». В тот же день Елецких ходоков выгнали взащей из московского острога. Но удивительная странность случилась с грозным боярином. Вместо необузданного хищника появился добрый отец, вместо бури, тишь да гладь. И потянулись недав-

ние лишенцы и обиженцы к новорождённому боярину за судом скорым и правым.

Всю эту сказочную историю Боборыкин знал. Её частенько вспоминали при пиршествах и трапезах как чудо из чудес, но ещё более поразил его приезд Ивана Никитича. Сидел он хмурым утрцом в воеводской избе и маялся, сочиняя отписку на царское недовольство, привезённое с боярином Ромодановским:

«Известились мы, что воеводы и приказные иные люди всякие дела творят не по нашему указу, монастырям, служилым, посадским, уездным, проезжим всяким людям чинят насильства, убытки и продажи... Я, государь, польским и степным людям нынче не норовил и сроков не давал. На них теперь далеко не уедешь, чуть, что бегут купно и розно...»

За открытым окном замельтешило многолюдство, затопотали кони, к крыльцу подкатила большая, с избу, крытая повозка.

Влетел, споткнувшись о порог и растянувшись на земляном полу, ошарашенный сенной подъячий Васька Грибанов.

— Роман Фёдрыч, Роман Фёдрыч, тама боярин, царский дядька Иван Никитич пожаловал. На крыльце ждёт, просит войтить.

— Зови, да вели квасу клюквенного со льду подать.

В палату, сделавшуюся сразу тесной, не вошёл, а въехал на своих ногах необъятной величины подстарок под пятьдесят. Возраст выдавала начинающаяся согбенность, седина, будто, пролитое молоко на усах, бороде и голове. Несмотря на жару боярин парился в енотовой шубе, добавлявшей ещё больший объём старшему из царствующего дома Романовых. Всякий, глядя на него, дивился такой широте телесной, коею может иметь человек, творение Божье. Толстые пальцы, унизанные перстнями и кольцами, словно бы распухли, и снять их, видно, было невозможно.

— Ну, воевода, здоровым будь. Не видались давненько. Это когда ж я к тебе в Шацкий жаловал-был? Уж годов пять как? А? Ну, ты молодец, место выбрал, лучше не удумаешь. И стройка спорится, от топоров с пилами не стук, гул сплошной катится. Ещё в лесу слышен, за версту. Ну что, Роман, время потчеваться с дороги, время уж (Романов достал из кармана часы-луковицу) одиннадцать пополудни. И в предвкушении обильного чревоугодия, запел:

*Ой да ты постой, постой
На горе крутой...*

Не дожидаясь согласия хозяина, дважды хлопнул в ладони. Почти сразу же слуги потянулись с дорожными столами, сумками, мешками. Воевода попытался было противиться, пригасить в трапезную, но князь быстро утишил его:

— Хлеб-соль, как наши деды говаривали, не только разбойника, но и воеводу побеждает. Приглашай своих товарищей, пусть с нами попотчуются. Припаса дорожного на всех хватит.

Боярин, дождавшись, пока рассядутся, поднялся:

— Я уж на правах старшего по годам и по месту. Как люди православные, осеним чело перед трапезой знамением крестным.

Романов поднял рюмицу, выпил и закусил ржаниной. День выпал скоромный. Принесли мясо с приправами на любой вкус. Блюда менялись быстро. Едоки не успевали распробовать жареные, печёные, молочные и овощные сласти. Главное угощение боярин приберёт под квасы.

— Слыхивал я, бегут от тебя людишки работные и розно и купно. Сколь раз мною в Думе говорено, крепость нужна навечная и розыск не пяти лет, а десяти. Сыщи-ка их в лесах Темниковских или Кадомских. Там сам чёрт заплутается. Их за всю жизнь не обойдёшь. Я тебе пятьдесят плотников из Романова пришлю. Топором машут, что икону мажут! Бери на год с моим коштом. Твоя забота, чтоб не разбежались и целы остались.

— Благодарю, Иван Никитич, слов нет, как. На острожные надолбы людишек не хватает. Землю рыть каждый может, а из бревна брус — в руках ремесло должно быть. Чем в благодарность ответить могу?

— Ты, Роман, молодой ещё, а мне в конце жизни на всё по иному смотрится, чем в начале. В молодые года и чаша вина летать на воздушях заставляла, а ныне тока живот тяжелит и пучит. Так что живи, пока живётся. Давай-ка тоску стряхнем, музыкой удовольствуемся. Хотя и глаголят попы, что она от нечистой силы, я, грешным делом, люблю слух усладить.

Боярин серебряным ножом зазвонил о золочёный бокал. Вошли четверо с варганами, небольшими металлическими дудками и пятый с гудком. Музыканты приложили варганы к губам и поплыли приятные, чуть дребезжащие звуки, напоминающие шум ветра в лесу, плеск ручья, смех детишек, пение птиц. Гудок вступил позже. Три струны протяжно запели под смычком, принеся спокойную благодатную успокоенность.

На Боборькина, не привыкшего к музыке, опустилось колдовское оцепенение. Подкатил комок тоски по чему-то неизвестному, но влекущему, в груди занемело и засосало, показалось, что он летит в пустоте...

— После обильной трапезы по русскому обычаю полагается отдохнуть, чтоб нутро успокоилось.

Романов не был сибаритом. После обеда вся православная Русь от царя до последнего золотаря сладостно погружалась в пищеварительную дремоту. Замер и новый град Танбов. Захрапели прилежалые новые тесовые посадки и старые окрестные селитьбы. В Бойкине собаки с петухами и те заснули.

Дядя и племянник государей российских поднялся с ковров первым. Свежий, молодежавый, румяный, полный сил и власти, указал:

— Ну, Ромашка, обедом я тебя угостил, теперь ты меня удоволь, показывай, как крепостицу возводишь.

— Пожалуй, князь. Только под ноги глядай, не заметишь, как наколешься на щепу.

От боярина, как от племенного быка силою, густо тянуло властностью. Боборькин аж передёрнулся от пробежавшего по спине озноба. Идущий чуть позади человек, родной брат недавно почившего государя-патриарха Филарета Никитича, родного отца царя Михаила Фёдоровича, запросто, как к себе в дом, войти может в хоромы и палаты царские, никого не спросясь и днём и ночью. Одно слово молвит зловещее, и нету воеводы Боборькина.

Роман давно, с дурашливой молодой поры, различал людей не столько по внешности или речам, сколько по запахам, ими источаемым. Нюх на людей имел безошибочный. И себя самого по запахам распознавать стал. Душа у него по разному пахла. Перед битвой испускала она через дырку на шее махонькую злость пахучую, похоже кабан в лесу пахнет. При бое кровавом волком мускусным вонял и, учуяв себя, удержу в храбрости и натиске уж не знал. Сам-один на многих бросался. Другая отдушина за ухом выходила. В самые радостные, счастливые дни, редко выпадавшие, доносился оттуда аромат то ли душицы, то ли медуницы. Зная точно, как жизнь пахнет, не ведал, как завоняет, когда помирать будет. Всё в этом мире свой запах имеет. Радость и горе по-своему пахнут, не спутаешь. Только смерть ни с чем не спутаешь, всех одним запахом примирает — падалища людские одинаково смердят, что царя, что золотаря. Ещё ни один труп ладан не источал.

— Добрые брёвныши! И пудовая пушка не осилит. Когда, в конце зимы рубили? Молодцы, то-то бунят, будто до сих пор морозом схвачены. Не дерево — камень!

Посмотреть уже было на что. Завиднелись первые венцы клетей Кремля. Главная проезжая Московская башня проросла до четвёртого моста и высоко светилась ещё свежей золотой сосной, похожая на девицу-красавицу в длинном сарафане, ещё не превращённую в серую бабу дождями, снегом, ветрами и пылью. Отовсюду доносился стук топоров, молотков, залиvistая звенья пил, натужный скрип воротов, поднимавших наверх брёвна, зычные голоса десятников: «Эх, взяли, ещё раз!»

Каждый ворот имел длинные держакИ, в которые упИрались десять работников. Брёвна захватывались по концам пеньковыми, в руку, верёвками. Мерно щелкала стопорная щеколда, не дававшая подъёму обратного ходу.

Князь долго наблюдал за людским муравейником.

— Да, воевода, в обрат тебе ходу нету. Придётся до конца воротить. Когда Кремль под навес срубишь?

— До белых мух должен сверстать. Самая больная мозоль — народец работный. На первый глаз вроде и есть с кем царский указ вершить. Одних воинских людей со мной больше тыщи пришло. Эти исправно служат и робят, а как инако? Государево жалованье в три рубля, чай на дороге не сыщешь. Им через десять лет каждому вотчинку окрест нарежут по царёву указу. Поди плохо? Тут земля тучная. Кругом пустоши, порожни. Станового зверья видимо-невидимо. А рыбы, осётра хоть руками лови.

Замер на миг воевода пред тем, как со скалы в воду бросаться, пригласить боярина на смотр. Вдруг согласия не даст?

— Давно я смотра не учинял по наличию и отсутствию людИшек, больше месяца, хочу тебя, Иван Никитич, пригласить.

— Да мне-то зачем? Сам считай, сколь пришло, сколь в бега подалось.

— Ко мне уважение враз вскинется, ежели ты рядом побудешь.

— Ну, репей, веди уж.

У воеводы от согласия боярского и впрямь душа вверх взлетела.

На ровном, как стол, месте, обрывающемся с одной стороны в Ерик, а с другой в Студенец, негромко гомонила толпа, одетая по большинству в длинные до колен серые холщовые рубахи, редкого плетения летние лапти. Некоторые ходили голышом по пояс, то и

дело поддёргивая порты, показывая грязные, покусанные ночью клопами лодыжки.

Деловцы, подневольно согнанные с окружных городов и селений по одному с «двадцатидворки», работали неумоимо по шесть дней с утра и по шесть с обеда. Десятники, а иной раз и сам воевода с бездельными и ослушными расправлялись нещадно и немилосердно плетями, а то и щётками от пицалей. Непосильная жизнь заставляла деловцев пускаться в бега, не дожидаясь, то ли смерти под необхватными брёвнами, то ли калечения под железными палками стрельцов на правеже в сыскной избе на дыбе у губного старосты.

Переключка взбесила не только Боборыкина, но и Романова.

— Ивашка сын Силантия Петров из Темникова?

— Нетути на работах третий день как.

— Терёшка сын Федоров Трусов из Семькина?

— Вчерась ночью ушедши со своим мерином каурым.

По мере смотра число нетчиков и утеклецов прирастало столь быстро, что к концу оба начальника еле сдерживали гневную дрожь. У последнего строя Романов не выдержал и огрел плетёной плёткой старшака из сельца Перкина, стоявшего в одиночестве.

— А ты, околотень, всех упустил? Почто сам-то остался?

За ужином, после первой рюмицы белого вина, запитого бокалом клюквенной медовухи, дождавшись отмягчения гнева боярского, Боборыкин приступил к своей задумке:

— Я, Иван Никитич, прошу государя и Думу, чтоб позволил ввести мне крепкие записи поручные. Всем дворянам и жильцам с государевой службы без отпуску не съезживать. Иначе полное лишение живота наступить должно, а вотчинку в Дворцовый Приказ отказать. И ещё много чево задумал. Завтра, слышал, ты впрямую на Москву отъезживать изволишь? Передай из рук в руки государю Михаилу Фёдоровичу отписку мою о розыске нетчиков и утеклецов из Танбова, а? Почеломничай, чтоб государь указ принял о наборе работных людей в град новостройный. Притока нету насельного, одни убытки. А без народу Танбову не быть!

Боярин смотрел на крепкого воеводу, в горящие верою в деле делаемом тёмные, но ясные глаза, слушал его речи и завидовал. Завидовал его упрямой силе, устремлённости в делах и убеждённости слов.

— Гляжу я на тебя Роман, мне бы твои годы, я бы, может, и свои

по-иному прожил. Только Господь каждому по одной дороге отпустил, второй не дано. Моя, вот, вишь, на исходе. Потому и завидую, что твоя на входе.

И, смиряя тоску на милость, потребовал:

— Давай-ка мне список. На все твои указы моя поддержка будет. По нраву ты мне пришёлся. Люблю сильных. Государю расскажу похвально, как ты тут справляешься. Указы жди скоро. Пришлю со своими гонцами. Они в пять дён от Москвы долетают. Тут, я смотрю, через Михайлов ближе, чем через Шацкий-то твой с Переславлем Рязанским.

Царский дядька слово сдержал. В середине августа, когда лето ещё полыхало теплом, отдавало людям урожаи, а кровопийцы комары ещё жалили безжалостно, чуя близкую гибель, ещё доводили до иступления людей, лошадей и коров своей упрямой назойливостью и зудящими укусами оводы и слепни, оставляющие под кожей у своих жертв потомство, два гонца на четырёх дончаках неноссливых принесли царский указ.

Как написал Боборыкин, так и осталось, обретя могучую силу всего государства Московского.

«Лета 7144 августа в 4 день по государеву, царёву и великого князя Михаила Фёдоровича всея Руссии указу, память дьяком думному Ивану Гавренёву да Григорию Ларионову. В нынешнем, в 144 году июня в 13 день писал государю... из Танбова стольник и воевода Роман Боборыкин. По государеву указу велено ему за Шацким в степи на речке на Студенце поставить город Танбов, а для береганья городского дела и всяких крепостей велено быти с ним Романом мещерянам дворянам и детям, боярским и бещозерцам шацких помещикам и шацким беломестным атаманам и казакам половине. И у него де не объявилось на смотре мещерян дворян и детей, боярских и белозерцев шацких помещиков и беломестным казаков 127 человек. А кто именно у смотру не объявился и тому послан к вам в Разряд именной список июня в 16 день. Да в нынешнем же 144 году июля в 30 день писал к государю воевода Роман Боборыкин, что у него после того объявилось у смотру и записались в приезд июля в 4 день мещерян, дворян и детей боярских, белозерцев шацких помещиков 19 человек. Да июля в 17 день бежали из нового Танбова города дворян и детей боярских 13 человек. И государь бы велел ему свой государев указ учинить. И государь Михаил Фёдорович отписки Романа Боборыкина слушал и указ для сыску нет-

чиков и беглецов послано с Москвы нарочно из Разряда дворянина или жильца добра и тех нетчиков всех, и которые сбежали, сыскав, отвести к Роману тотчас и за послушание указал учинить им наказание без пощады.»

Второму столбцу воевода обрадовался особо, до ликования. Раствёр до обжига ладони, заходил гоголем, приговаривая:

— Ну, теперича уже я вас! Теперь вы у меня попляшете, черти намазанные! Народец валом сюда повалит, и мужики и бабы, а значит, и мальцы скоро пойдут. Там, где двое — баба и мужик — жди третьего.

Читал воевода второй царский указ, а между строк виделось: стекаются со всех сторон, лесами, степью, болотами, реками плывут...

«Лета 7144 года августа в 4 день писал к государю Михаилу Фёдоровичу из Танбова стольник и воевода Роман Боборыкин. По государеву указу велено ему в новый Танбов город называть в служилые и всякие жилецкие люди вольных и охочих людей. От отцов детей, от братья братья, и от дядей племянников и подсоседников, и захребетников. А в городах на Воронеже, на Ельце, на Лебедяни, в Донков, в Рясском, на Михайлове, велено кликать биричем, чтобы в Танбов город шли на житие всякие вольные и охочие люди.

И воеводы же в городах без указанных грамот биричем кликать не велели, а которые де охочие люди приходят в новый Танбов город из разных городов и те люди ему Роману сказывают, что де многие вольные и охочие люди в тот новый Танбов город слышали про городовое строение и про всякие крепости, и про добрую землю и про всякие тутошние угоды поднялись и тех де городов воеводы вольных и охочих людей в новый Танбов не пускают.

Которые люди из тех городов без отпуску в новый Танбов город пойдут, и воеводы те за ними в погоню посылают, и с дороги их ворочают назад, и приведут их в те города бьют батоги и в тюрьму сажают. А которые люди и уйдут, и как будут в Козлове и Иван Биркин и Михайло Спешнев тех людей с дороги емлют к себе в Козлов и осаживают их у себя сильно. А которые де люди в Козлове жить не похотят и они тех людей бьют же и в тюрьму сажают и отсылают их из Козлова назад.

И государь Михайла Фёдорович отписки Романа Боборыкина слушал и указал послати в города в Воронеж, на Ливны, на Сапожок, на Лебедянь, на Михайлов, в Донков, в Рясский, в Мценск, в

Новосиль из Разряда и из дворца в Шацкой и в иные города, свои государевы грамоты воеводам и в городах бы воеводы велели бичьям кликать в городах и на посадах, и в слободах по многие дни, чтоб охочие всякие люди шли в новый Танбов город на житье в служилые и жилецкие люди а им там будет его государево жалованье, а жилецким людям пашня добрая и льгота и торг и промысел новолонный.»

Боборыкин на радостях велел отцу Прокопию отслужить в Преображенской церкви молебен во здравие боярина князя Романова Ивана Никитича и стал думать, как же отблагодарить его.

Вскоре во всех окружных городах, посланные воеводой зазывали посреди базарных площадей, не жалеючи горла, скликали всех желающих в новоставленную крепость, суля по обыкновению, если не золотые горы, то уж серебряные холмы непременно.

Соседние воеводы стали неукоснительно выполнять указ царёв: «...А буде тамбовских беглецов на заставах учнут пропускати, и тех заставщиков бить кнутом и сажать в тюрьму до указа».

Добрый дворянином для сыска нетчиков и беглецов, посланным царём, оказался Василий Безобразов, стольник и стрелецкий полуполковник. Боборыкин памятовал его по Ивановской площади в Кремле. Знать не дождался Василий воеводства, а вроде бы метил в Каширу. Да и с нынешним делом, сослал, видно, в Танбов, порученьце-то мелкое, могло и без посланца царского решиться-обойтись. Сам ловить не станет, не по чину, а сыщики местные и без него под воеводовой рукой ходят.

Встретил Роман его хлебосольно, сытый враг лучше голодного приятельника. После телячьей ноги, запеченной в капустных листьях, и четверти в себя влитого двойного вина из Васьки полилась всякая погань:

— Круто ты, Ромашка, завернул! Куды ни придёшь, в какой Приказ, о тебе всё речи. Тока ты не забудь, царская милость, что милостыня, един раз бывает.

— То-то ты её, аки нищий на паперти, уж почитай пятый год ожидаешь.

Безобразов вскинулся, вспыхнул, скрежетнул зубами, но сдержался, пересилился. А Роман ошпарил по новой:

— Ежели царский указ будет, пойдёшь вторым воеводой в Танбов?

Того кинуло из огня да в полымя, и слова не смог выдать, лишь досадно махнул рукой да всхлипнул.

Кремль

К первому листопаду очертание нового града вчерне очертилось явственно. Окружность, задуманная по думским чертежам и планам в 585 сажений, получилась на 32 сажени больше. Бревна, инструмента в лом уйдёт больше, гвоздей и тех пудов на 10 перерасход потянет.

Городовые башни поднялись, как двенадцать апостолов. В самом городе дворы, воеводский и съезжий, архиерейский, житница. Десяток изб для духовных и мирских лиц.

Кремль отделился от лесов, рек, болот, полей высокими дубовыми срубными стенами, сложенными из клетей, заполненных землёй. Под стенами копался глубокий, пятисаженный ров. По его готовности, с двух сторон отроют перемычки и затопят водой из Цны и Студенца. Дно и стены рва щетинились острыми дубовыми зубьями, глубоко и крепко вбитыми кольями, против коней и людей, захотящих перебраться через воду к стенам. Когда спрячутся острия под водой мутной и загнившей, люди с конями сами на них нанижутся с порчей всей крови и гибелью неизбежной.

До рва и стен Кремля перед напавшим врагом затруднительно вставали острожные надолбы, подпоясывающие город с трёх сторон — северной, южной и западной. Состояли они из высоких, врытых впритык друг к другу брёвен, толстых и островерхих. Плотники притёсывали брёвна, что ни щелочки, ни дырочки, травинку не просунешь, хоть всё обойди. Всякому, видевшему золотые, сочащиеся янтарной смолой острожные стены приходила на ум сказка про сто богатырей дружною дружиной выступающих на защиту земли русской.

С внешней, южной, стороны, называемой ногайской, надолбы поставили двойные, покрыли суриком и синей глиной несмываемой, от огня заслонившей дерево, благо этой глины по берегам Цны имелось неиссякаемо. Стрелы огненные татарские втуне в эту глину воткнутся, зашипят и потухнут. Старой не по годам, а по уменью мастер Фока из Бойкина, рубивший всю жизнь избы то в Семикине, то в Устье любил повторять про глину-хранительницу:

— В древности как глину звали? Зодь. От него и звание зодчий пошло. Глина — она всей стройке голова. Из глуби века деды предков наших дома из плетней вязали и глиной обмазывали, теплее

дома не сыщешь. Эй, Прохор, чёрт конопатый, подтеши-ка врубку, вишь во врез не ложится. Ивантей, в уширку на башне добавь бревна, не то в бойницу сверху вниз не стрельнуть, ни смолы кипящей не вылить. Ты чем маракуешь? Задницей иль головой?

Кудеяр Караулка

До благословенного царствования боголюбимого и милосердного царя Михаила Фёдоровича, учнувшего град Тамбов, окрестные места далеко вширь, на сотни верст располагались на полной природной свободе и воле. Много веков никто не ведал, не полагал, что на мысу крутом невысоком, поросшем соснами и дубами, смыкающем две речки Цну и Студенец, город стоять будет, крепость пограничная, государство Московское укрепляющая. Не малая, но великая крепость, крепящая, на ноги становящая весь народ русский на сто верст в округе.

В этих диких и пустынных местностях зверь и птица непуганными ходили, летали, с бесстрашным мирным любопытством приближаясь к появившимся людям. Но люди путные испокон веку по этим местам — по сакмам, лесным дорогам и степным трактам, Староордынскому шляху проходили, ездили большими поездами и длинными караванами. По одиночке боялись, и не зря: одному в путь — сгинуть под ножами и рогатинами татей лесных и разбойников степных, не говоря уж про живот и иной какой товар. Редкие жильцы по редким праздникам и после трудов праведных, но тяжких по зимней поре, ездили друг к другу в гости в починки, устроенные по берегам речек.

Первым и первейшим здешним разбойником задолго до основания Тамбова остался в памяти людской Тяпка. Происходил он из донских казаков, сильнееюших в те времена по окраинам Московского государства. Обширные леса, тучные поля, зверь, рыба, бортные ужожаи, тракты, соединяющие Крымское, Астраханское, Ногайское ханства с Москвою и Рязанью, поживу представляли лакомую и обильную. Всё это питало живительную связь Дикого Поля с Вольным Доном. Для гульгяев, от жизни праведной оторвавшихся, душегубов и злодеев, на Дон пробирающихся, были эти края последним пристанищем. Лихие людишки на Дон стремились, а донцы в эти края пробирались, где гуляли, грабили, беспутничали

на полной мере. Набрав же годов и куль грехов неподъёмный, к старости поближе, строили в дебрях лесных у чистых ручьёв, озёр, родников, ключей монастыри и постригались в монахи.

Вообще-то держали донцы в этих краях сторожевую окраинную государеву службу. На них она и держалась без малого двести лет. Бойцы они отчаянные. Воинское дело знали дотошно. Битвы, сражения, дозоры, сторожи почитали своей работой и делали её доподлинно. Русские цари им жалованье платили, землю жаловали.

Но сбивались, зачашую, гуляющие сыны вольного Дона с пути истинного, сшибались в шайки отчаянные опасные и, бросив сторожную службу, ударялись в разгульный разбой «добывать зипуны».

Сладостно громили и грабили они кадомских, темниковских татар и мордву, вдоль Цны и Мокши расселившихся. Стакнувшись в разбойные сотни, ловко орудующие саблей и пикой, метко из пикалей и ручниц разящие, на резвых и выносливых, как верблюды, выведенных для дальнего бега, донских лошадках, внезапно налетали на Добрый, Сокольск, Лебедянь и Романов, в первую голову начинали насиловать женщин, а потом уж собирать всё ценное. Самых пригожих и молодых уводили в наложницы.

Месяц-два сами услаждались, а потом продавали крымским или астраханским татарам. В черноморских портах венецианские купцы русских женщин ценили особо за красоту, доброту, трудолюбие и выносливость.

Обретались козаки «беспрестану в пребезмирном пьянстве». Брали города они приступом неистовым, как потом взяли Азов. Засылали загодя сподвижников, так что на Базарной площади тайных татей больше торговцев толклось. Ждали знака условного. С ним особо лукаво не мудрствовали. Забирались на Соборную колокольню, кто мешал, пономарь или монах, за колоколами ходивший, вниз летел оземь, и били в набат свой разбойный. Через полчаса казачьи сотни с воем гиком и свистом врывались в город и бросали его «на поток и разграбление».

У русского государства в те времена были три беды: татары, поляки и козаки.

Ко времени закладки Тамбова на севере края, только оправившегося от лихолетья польского короля Сигизмунда, объявились воровские козаки под твёрдой рукой атамана Караулки. Находился он в том возрасте и в том разуме, когда грехи набираются, а не отмали-

ваются, и в противоположность древнему Тяпке богобоязненностью и благочестивостью не страдал, а собственноручной жестокостью и палачеством личным не мучился, а наслаждался.

К тому времени, когда допёк он до края воеводу Боборыкина, вынудив заняться им, совершенно разграбил он десятка три монастырей и пустошей, в том числе и Андриянову, Дмитриевскую, Борисоглебскую на Стану, Риз-Положенскую и Чернеевскую. Грабил подчистую и дочиста. Из бедных монастырских келий слюдяные окончины и те выламывали.

Пушкари

С поднятием ввысь сторожевых и проезжих башен пушкарские дельцы плотницкое дело побросали, занявшись главным своим ремеслом, коему обучились кто в Москве, кто в Рязани. Сам воевода стреляющим делом владел доподлинно и занялся им дотошно. Оборона и нападение в пушках заключены.

Каждое утро, ни свет, ни заря выстраивал он на площади всех двенадцать пушкарей для урочных занятий.

— Со мною чёртова дюжина как раз и вышла.

В строю Роман знал, на что каждый горазд.

— Дело пушкарское дурака не терпит. В нём нрав нужен гордый, глаз верный, сила изрядная, а главное — смекалка быстрая.

Пушкари слушали вполуха. Избоченился в гордыне Федька Тацитов из Москвы-матушки, «лепший мортирщик» в Кремле был среди стрелецкого войска. По «безмирному пьянству» сослан в Тамбов за то, что по воронам кремлёвским палил в непотребном виде, да с церкви крест сшиб. Федька щеголь записной. На нём расписные замшевые сапожки, порты плисовые, рубаха шелковая алая с пуговицами из речного жемчуга. За ним два близнеца фornosых Микитка и Мишатка Устиновы, шацкие лошадики. Давние знакомцы. Оба не глаза имеют, а дальномеры безошибочные. Спросит их Фома-строитель сколько вершков в бревне, они тут же и ответят; промерит — тютелька в тютельку, будто линейка в голове.

Следом высился Макарка Злодеев, присланный из Касимова, знаменитый силой Ильи Муромца. Сам-один пушку за вертлужную часть ворочает. Спросят его:

— Тяжко, Макарка, такую прорву железа таскать?

Богатырь смеётся:

— Пушка, она что? Дырка чугуном обёрнутая.

Из-под Макаркиной руки ухмыляется хитрован Климка Толмачёв, арзамасский пушечник. Из мортиры стрельнет вверх, а точно знает на какую муху ядро вниз упадёт.

Чуть поодаль святая грешная троица сгуртовалась — Тимошка Жмаев, Ивашка Лаптев и Терёшка Калуженин. Подтянутые туго под живот широкими толстыми свиными поясами, с отвислыми брюхами, они, подвыпив, сами над собой подтыривали:

— Мы, рязанцы кособрюхие, мешком солнышко ловили, а луну поймали. Блинами острог конопатили...

Самым же искусным нарядчиком слыл Ефим Микитин, туляк, стальная душа, знавший глубоко не только пушкарское, но и литейное дело. Все десять пушек готовились на тульском железоделательном заводе под его рукою и бдительным присмотром. Привёз он их в Тамбов самолично по последнему санному пути с грязью мартовской пополам. Не уступая рязанцам, бил себя в крутую грудь в кабаке и орал:

— Хорош заяц, да тумак, хорош малый, да туляк!

С воеводой рядом стоял вальяжно вяло, зевотно подъячий Пушкарского приказа Ефим Прошкин, присланный из Москвы в помощь по нарядному делу. Был он умён, зол и тощ. Людишек люто ненавидел с такою же силою, с кою любил себя самого. Чуть что не по нём, сразу же впадал в гневливость трясучую и сучил костяными кулаками:

— В железа закую, в остроге сгною, чаво осклабился, я тебе носопырку-то расквашу!

Воевода слабость его знал и иногда, когда надо было, подначивал, выводил из себя, а когда пушкарь начинал прыгать козлом, брызгать слюной, учинял спрос:

— Ну, Ефим, наряд в полном готове? Ежели завтра враг с четырёх сторон привалит, как отмахиваться станем? Доложь и помажь.

— Изволь, Роман Фёдрыч. Третьего дня, как мортиры окончил пристреливать, сам, небось, слышал. Все вороны оглохли.

— Сам чуть слухом не повредился. По ушам бьёт, чисто гром небесный.

— Не по ушам, а по тракту Староордынскому, по Астраханскому и Большому мостам.

На помосте из дубовых плах стояло железное жерлистое, похо-

жее на наклонённый чугунный котёл украшенный узорами, с двумя скобами-дельфинами по бокам. Это была мортира — короткоствольное, мёртвой стойки орудие, метаящее бомбы и ядра только на продольном прицеле навесом. Дальность стрельбы рассчитывалась мерою порохового заряда.

— Бомба побивает всё по дороге и по мосту, по самой серёдке.

С того места, где стояла мортира, дороги, ведущей от Цнинского моста к крепости, из-за двойных надолбов видно не было. Боборыкин дал приказ ударить снарядом за пять сажений до моста, а сам полез на Водяную башню зреть бомбометание. Ефим заорал на пушкарских, и они сноровисто смазали жерло изнутри дёгтем. Подъячий отмерил зелья ценного на весах по заказу Микитина в крепкий ковш, засыпал в мортиру, сверху положили толстую прокладку из сухого сукна, на неё бережно опустили тяжёлое чёрное ядро.

Воевода дал отмашку, и Ефим поднёс фитиль к отверстию в туше мортиры. Из него посыпались искры, превратившиеся в длинный огненный хвост. Пушка стала похожа на библейское чудовище. Оно вдруг изрыгнуло из круглого рта дымный огонь, вздрогнуло, подпрыгнуло, ударив по ушам глубоким громом. Все повернули головы вслед чёрному шару, взлетевшему сначала вверх, а потом, зависнув неподвижно, убыстряясь, опустившемуся невдалеке от моста. На наезженной телегами колее взметнулся султан пыли.

Воевода велел всем вновь построиться.

— Ну, чего раззевались? Чтоб с петухами вставать, надобно с курами ложиться. Тогда и рука будет крепка и голова ясна. И на ночь глядя вина крепкого не пить. Оно не ночью, утром выходить начинает, не низом, а верхом, через голову и дых. От вас такой смрад тянет, хуже пороху всякого. Запомните, вино пушкарю не товарищ. Ему глаз и голова чистые нужны. А теперь стрелять будет Васька Лутошкин. С четвёртого мосту Козловского столпа. Ну-ка долож, чем и как врагов поражать станешь?

Василий, молодой парень со смышлёной, хитрой заячьей мордочкой, сверкнул радостно смородиновыми глазками, подтянул холщёвую длинную, до колен рубаху, заправил порты в козловые сапоги с тяжело звякнувшими подковами и затараторил:

— Из двух пищалей полуторных. Ядра в шесть гривенок. Зелья на ядро по две гривенки. Прицел по дальности по глазу мерить! По первому выстрелу вторым целясь!

— Сколько надо зелья, чтоб за сто сажений в телегу угодить?

Лутошкин сначала поднял глаза к небу, наморщил лоб, потом сдвинул их к носу, делая вид непосильной думы, хотя и знал ответ заранее:

— Три с половиной гривенки.

Роман уточнил:

— Это ежели зелье польское, а на турецкое, на три сажени меньше брать надобно. У турков порох шипит-злится, но не горит, вспыхнет белым пламенем, а уголь чёрный остаётся. Ну-ка, всем на Водяную, на четвёртый мост подняться. С неё нынче метать ядра будем. Каждый по два. Кто верней выстрелит, гривенник в награду от службы государевой.

Водяная башня стояла особняком на южном углу Кремля. Ворота её выходили прямо к мосту через Ерик, дальше в полтора верстах, вдоль привольной, широкой старицы реки Цны вставала сплошная стена Большого Цнинского леса, тянувшегося необъятно вплоть до муромских и владимирских чащоб. Из этого леса и ждался враг — татары, ногайцы, козаки. Эти места, оголённые, вырубленные ещё с весны для обзора предупредительного, пристреливал Боборькин со своими пушкарями. Удобнее места для Водяной башни тут не придумаешь. Она и возводилась для забора воды из Ерика и поражения любого врага вплоть до леса.

— Воооон, зришь две ёлки у яружки малой? Целься в левую.

Васька вытянул правую руку с поднятым указательным пальцем и попеременно зажмурил то правый, то левый глаз.

— Девяноста три сажени. Тута надобно три гривенки зелья.

Пороховщик высыпал из бочонка, обмотанного мокрыми тряпками, сизую муку в глубокую деревянную лохань. Василий высыпал припас в дырку на чёрном теле пушки. Подручные чуть раньше закатали в ствол ядро, продвинув его до конца деревянным толкачом. Василий чиркнул кресалом над тем местом, куда ссыпался порох. Чугунка вздрогнула, чуть припала к помосту, потом встала на дыбы норовистой кобылой, попятилась и, испустив дымно-огненный вонючий язык, замерла. Водяная заскрипела, задрожала, ссыпала с крутых боков глинную пыль, могуче вздохнула, выдохнув эхо от пушечного грома. Все застыли, устремив взгляды на далёкие ёлки. Одна из них вдруг подскочила, перевернулась в воздухе и повалилась, засучив предсмертно руками-сучьями.

Потерявшие слух, едва услышали истошный крик снизу:

— Бяда! Ох, бяда, воевода! Караулка со своими козаками воров-

скими все проезды в Тонбов затворил, закупорил. Торговых людей грабит, над бабами насильничает, всех донага раздеёт. Дозорные с Фомой Зарубиным уж восемь падалищ нашли, кто пикой пропнут, кто рогатиной зарезан иль голова проломлена. А купцы воронежские Иван Гарденин и Пётр Васильев саблями порублены в капусту. Кресты нательные и те, ироды, посрывали.

Боборыкин, услышав страшную весть, сорвался с места, взбежал на верхний шестой мост и заполошно, зло, прерывисто, не за верёвку, толкая рукой тяжёлый ребристый чугунок языка, забил в вестовой колокол.

В который уж раз заметил он за собою: в тяжкий час из глубин его души поднималась могучая бесконечная сила, в чём-то равная Божьей, и ощущал он тогда непобедимость безграничную.

Злодии

Сонно потрескивали сучья в костре, подёргиваясь серым пеплом. Вкусно побулькивал в большом котле наваристый густой кулеш из убитого накануне кабана. По странности ночь выдалась теплее дня, и обманутые одинокие комары исчезали в пламени. Сидевшие вокруг наблюдали за их гибелью и страшились собственной, недалекой, ходившей по пятам смерти то ли от заряда стрелецкого, то ли на плахе царской. А то и по велению взгальному атамана грозного Караулки удавят свои же товарищи по разбойному промыслу и не спросят и имени, чтоб помолиться за упокой.

В тридцати верстах от большого дворцового села Морши, в глубинных дебрях непроходимых чащ жили неисчислимо уж сколько разбойные душегубные люди. Весь век свой они били баклуши, ничего не творя полезного. Жизнь их была больше похожа на волчью. Нападали они тайно, внезапно, по-звериному со спины. Рвали в кровь, в клочья, утаскивали узорочье, рухлядь. Жили они в земляных норах. Вырытые в отвесных стенах лесных яров, степных оврагов или речных берегов топились они по-чёрному. Потолки и стены лоснились масляно толстым слоем сажи. Спали атаманы на пригнанных плахах-полатах, устеленных шкурами медвежьими и волчьими, укрывались одеялами, сотканными из собачьего меха.

Караулка обладал редким даром умной жестокости. В тайной селитьбе обитало пять баб, по одной на пятьдесят козаков. Караул-

ка по-своему усмотру жаловал «лохматкой», награждал отличившихся в разбое одной блудной ночью. Баба же в награду от кратковременного любовника получала грош, а от атамана «сытный, обжорный день» — возможность наедаться до отвала сладостями, напиваться допьяна.

Караулка собрал начальных, приближённых людей и держал речь:

— Тута мы все крестоотступники. Каждый царю крест целовал, да душу не запродад. Все зарубку, клятву воровскую на крови приняли. Нету отседова никому и никуда ходу. Ни тпру, ни ну! Татъба сплошная до смертного часа. А потому неча по сторонам зырить. Проведаю про кого, так блябну — из ушей кровь брызнет. Кто лапти захотит сплести, допрежь пускай пораскинет, что к чему. Того две казни ждут — Караулки и Боборыкина...

Атаманцы слушали в два уха. На каждом из них загубленных душ, что блох. Никто из них в даль жизненную не заглядывал, страшился, потому что знал: нет этой дали, не будет многих лет, а будет многая лета...

— Бирючи и взапрямь в Тамбове, Козлове, Шацке, Кадоме наши прозвища, к топору приговорённые, выкликают.

— Откель им знать про нас?

— Боборыкин сыщик ушлый. За лето наших казачков переимал с десятка два.

— Ты эту хинь брось пороть. У него ярыжки-дельцы хитромудрые. Их у него с полста из нашего брата набраны.

— Ты чё хвостом-то крутишь? Где узорочье с разбоев заховал? Под Моршей в холме мордовском? Я знаю, сам видал. У тебя на Дону табун гуляет и под Вешками отара... Ты на меня хлопалками-то на зырь, не зырь...

— Ты меня за свисток не дёргай. Хлобыстни-ка лучше зверяевки. Добыл шмеля (добычи большой) и молчь-молчь.

А рядом в просторной землянке, устланной сверху донизу турецкими двойными коврами, обогретой голландской печкой с голубыми изразцами, где на горных лугах пастух обнимал пухленькую пастушку, думал тяжкую думу атаман Караулка, проливший столько крови христианской, что утонул бы в ней с головой. Атаман лежал на медвежьей шкуре, в богатой, чёрного бархата рубахе, шёлковых синих шароварах, красных сафьяновых сапогах, усыпанных горящими в пламени печи драгоценными камнями.

По случаю запрета пьянства в разбойном стане воровское собрание шло в непривычном безвинном страдании и злобе на атамана за муку невыносимую трезвенности.

Караулка допрашивал захваченного в плен тамбовского сыщика подьячего съезжей избы Трещалова, подстарка под пятьдесят с козлиной бородой и злыми зыркающими глазками.

— И долгонько, ты, квочка, у нас косяки бросал?

— Инок я Фарсонофий из Черниевой пустыни. Игумен Феофан меня знает. Вот вам истинный крест.

Трещалов истово закрестился и не мог остановиться от страха.

— Илюха, кто сей перст, монах иль сыщик?

— Подьячий эта Сыскного Приказа. Он меня месяц назад на дыбе в Тонбове правил. Ох и злостен! Руки выворачивает, да с оттягом, с оттягом. Рёбра до сих пор ломают. Удавить его и весь сказ, а падалице стрельцам-сидельцам в яму бросить, пусть своего жрут..

— Слышь, Трещалов, а хорь-то нынче в норе, аль в отъезде?

— Откель мне ведать, где он? Боборыкин царский стольник, можа в Москве, можа в Тонбове.

— А ночует он где? В избе государевой иль в повалуше Хопёрской?

— Откель мне знать-то?

— Оттель! Вола водишь? Ты нам счас всё, как перед Христом Богом, расскажешь. Всю подноготную. Прохор, раскали-ка иглы.

Прохор вытащил из кожаного кошеля три чёрных закопчённых иглы, употребляемых только для дел подноготных, зажал их в клещах и сунул в огонь. Как только они покраснели сноворовисто, схватил правую руку Трещалова, зажал между ног и вонзил под ноготь большого пальца раскаленную иглу.

Визг убиваемого поросёнка заполнил всё вокруг и длился нескончаемо. Прекратился он сильным ударом по голове, от коего Трещалов закатил глаза и, потеряв себя, повалился тощим кулём на пол.

— Ежли убил, следом пойдёшь! Дудора дурья. Этова алтыршица, на живой свет ежели вертается, пытать, пока не обдрищется.

После третьей иглы Трещалов обгадился и телом и душой. Из проткнутых по вдоль пальцев обильно текла, не останавливалась кровь, от чего руки его казались длинными, до земли. Трещалов осипшим от непереносимой, неперенесённой боли голосом прошептал:

— Воевода Бобёр десяток козаков ваших подзорщиками к лес-

ным людям разослал. Каждому по рублю обещано и вина на кабаках пить без меры и платы. Ежли хто с десяток разбойников сдать, али одного атаманца, тому починок в пять десятин у Кулеватова урочища и ужожаи разные, бортные, рыбныя, зверныя...

— Он рубли сперва роздал, али когда возвернутся?

— Где там, так, алтушки на балушки. По четверти вина и подстёгу на раз. Свой елдак в её лоханку влындить.

— Ты сам-то чей? Видать нашенский, раз по-свойски калякаешь.

— С соплём вшиварём на Китай-городе бегал, тырил у тезиков, что плохо лежало. Потом лишаком стал, в разбой подался в Каширские чащобы. Заломал меня десятник Луков, хитрован непобедный, он и заставил крест целовать и душу царю отдать в службу тайную... Эх, ухандокали вы меня, вахлаки проклятые! Кады ботва голову покинула от летов больших, воевода в Тонбов взял на кормление от губного старосты... Одно сказать... новгород с первого на второй день октября пустой остаётся. Стрельцы и козаки городские менять сторожу уходят по черте украинной. Эти уходят, а энти ещё не придут. На Тонбове пушкари да иноземного строю немцы остаются. Чуть поболее полстони голов. На государевом дворе жалованье в сундуках всем людям военного чина в пяти кошельях. Рублёв под пятьсот...

Караулка и верил и не верил Трещалову. Не верить обязан был. На кону не карта козырная, жизни всего его грешного воинства, а главное, его жизнь, единая, единственная и от того ценнее всех остальных. Верил, потому что сам видел, подноготной лжи не бывает, перед смертью все правду глаголют. И ещё потому, что не единожды, уходя со своей шайкой из гнездовья на добычу, натыкался на земляные валы высотой под три сажени, обрытые с ногайской стороны глубокими рвами, утыканые острым частичком. Через каждые пять вёрст встречались сторожевые городки со смотровыми проезжими башнями, укрытые зелёным дёрном, вестовыми колоколами и пищалями,

Вал обойти было невозможно. Часами рысью вдоль ехали, без конца и краю, пока не выбрав удобного тихого перелаза, кое-как перемахивали незаметно. И то раза два с нарядом конным стакнуться пришлось, их побили, но и своих потеряли, без падалищ не обошлось. При бродах речных между валами и надолбами по дну частик острый, рогатки непроходимые, вода от конской крови враз

красной делается.

Караулка догадывался, что в воровских набегах натыкался на малую часть обширных пограничных укреплений Московского государства. Скакал он со своим разбойным войском вдоль непрерывной засечной черты, берущей начало от реки Ворсклы и тянущейся через Белгород, Воронеж, Козлов, Нижний Ломов и Тамбов до самой Волги, заканчивавшейся возле Симбирска. Длилась Белгородская черта 956 вёрст. 205 из них приходилась на Тамбовский край.

Тамбовская сторожа начиналась у слободы Кузьмина-Гать и длилась 20 вёрст. На всей длине поруки расположились 30 острожков. Каждый гляделся маленькой крепостью, имея в окружности примерно 30-35 сажень. С дубовыми надолбами, боевой проезжей башней повалушей. На верхнем мосту имелись обלאмы для прицельной стрельбы. На самом верху постоянно бдел караульный, имевший вестовой колокол и «стременты» для быстрого разведения сигнального огня. В каждом несло службу 30-40 стрельцов, козак, солдат, боярских детей.

Боборыкин слушал подъячего, читающего отписки в Разряд-Приказ, ведающий всеми военными делами.

— Всего на кормовом довольстве числится 1475 человек. Из них в стороже — 1175. В нынешнем годе 25 человек смертию пали при бое с татарами, ногайцами и разбойными козаками, померло от злых болезней и 1 руки на себя наложил удавлением...

— Где погребли?

— Кого? За отечество павших?

— Нет, удушенника.

— Кака смерть, таки похороны. Десятник в Цнинский лес отвёз. Закопал и заровнял без креста.

— Плохая примета, не дай Бог, мор с неурожаем постигнет.

Вспомнились похороны девяти стрельцов, зарубленных саблями и пропнутых рогатинами разбойных козак, атамана Караулки. Вот уж кого и сама сыра матушка-земля не примет. От Трещалова нету что-то никакого «трещалова». Проведал весть нужную иль нет? Вроде всё предусмотрено. И лжеподлазчиков сдать и войско из Тонбова увести... Ключет ли? Щука жирная, но и наживка сладкая, крючок не враз разгадаешь.

Через два дня ранним, уже заолодевшим утром перед дворами ратных людей у южной стены кремля выстроилось всё наличное

войско. Город провожал караул на сторожу. Впереди в красных суконных, ниже колен кафтанах стояли в шесть рядов стрельцы. Каждый держал в правой руке свежеточёный бердыш, вспыхивающий в лучах только что вставшего из-за Цнинского леса солнца, а в левой ружьё. За плечами висела ручница, на двух перекрёстных перевезях держались пороховница, патронница, сумка для провизии и круглая кожаная фляга с казённым вином, только что выданного из погребов.

За пехотой прядали ушами от непривычного кусачего холода лошади городских казаков, облачённых в казакины на множестве крючков, обутых в мягкие без каблуков с низкими голенищами сапожки. У каждого слева висела тяжёлая кривая сабля, с правой стороны блестел камнями и серебром длинный кинжал. Мелодично перезвякивались шпоры. Половина из воинов была новообращённой из крестьян слободы Кузьмина-Гати и села Бойкина. Указал воевода, и в одночасье сделались они из землепашцев, охотников, бортников воинскими людьми. От тягла освободились, да в другой хомут попали, не легче, запряглись в государеву службу. Конь свой, оружие на свои кровные, только сабля и зелье ружейное казённое. К Рождеству Христову обещал воевода по три рубля. Они всё покроют с лихвой, и останется больше чем тратилось в пять раз. Если, конечно, не стинут в сшибках и сбивках с врагами, а врагов, как собак небитых в Полковой слободе, у каждой избы по десятку.

Вторая половина состояла из казаков опытных, из Шацка приведенных, обученных бранному делу и окученных привычке к службе и порядку воинскому. На них и держался конный строй.

Тамбов рос по дням и по часам. В первом часу пополудни к воеводской избе, едва продрав глаза, стягивались все начальные люди. Боборькин привычно, но равнодушно распекал десятников:

— Опять у третьей клетки за Московской башней пятый венец вглубь уехал! Глаз косой иль пьяный был? На целый вершок выперло, окологни полосатые! Сроку тебе до захода светила нашего, не перетянешь клеть, я тебя кнутом перетяну. Чего наостробучился, ровно чёрт на попа? Вину берёшь на себя иль я в сём грешен?

Строптивец, мордвин Терёшка Елагин норовисто закрутил башкой, но выдавил натужно:

— Стёпка рубил. Придётся в клин тесать, некуда деваться.

— Мы города не на себя строим, для потомков, на века столетние. Они судить будут. Обо мне и о тебе со Стёпкой. Твой навес на

них рухнет, клонясь неспешно. Вот тогда и помянут нас недобрым словом. А про воду с мокротой забыл? Всё, что ниже, мы помереть не успеем, в гниль пойдёт. Мужикам передай: с них вычета не будет, с тебя всё сдери, за всю ватагу мордовскую.

В предпоследний день октября по Староордынскому тракту, никого не боясь, и по Ордобазарной тайной сакме из Цнинского леса, небыстрой рысцей, с саблями в ножнах, ружьями за плечами вытянулась походная змея разбойных казаков атамана Караулки.

Боборыкина в городе не было уж третий день. Каждые три часа прибывали к нему вестовые и докладывали о местобретении воровской ватаги. Тайными соглядатаями насчиталось их 236 душ грешных. Воевода ждал лишь удобного времени, чтоб все они отдали бы их Богу. Жалости к ним он не испытывал ни малейшей, потому что души свои они уж давно чёрту запродали и на совести каждого загубленных душ христианских было не считано.

Он с отрядом шацких козаков, детей боярских и дворян в пять сотен спрятался в Бельском городке. Бельский, самый великий из Козловских сторожков. Лежал в 8 вестах от Козлова, заложенного уж как два года на месте Урляпова урочища. Крепость успела обрасти посадом и слободами — Донской, Борщевской, Стрелецкой и Заворонежской.

Крепостица имела по кругу 462 сажени и пять башен. Через реку Польной Воронеж на длине шести вёрст тянулся косою острог с ровом и семью остроженками в виде вестовых башен с зимними избами. Далее тянулись надолбы и лесные засеки, тянущиеся 14 верст до сельца Кривец, где начинались укрепления, делящиеся через село Каликино и до самого города Доброго.

Козловские воеводы Биркин со Стрешневым встречали Боборыкина в Бельском. Царь Михаил Фёдорович, назначая в один город по два воеводы, далеко смотрел. Два начальника — четыре глаза. Друг дружке дремать не дадут и воровать больше другого. Для Козлова сия двойственность в выгоду пошла, за год город возвели, за два оборонительную линию до Челнавского городка. С двойным усердием работали, друг перед другом выхваляясь.

Когда обед перевалил за половину и все трое воевод повеселели от сытости и вина, Боборыкин, давно ждавший встречи, дал волю словам и чувствам:

— Вам какого рожна надо было, когда царский указ нарушали, всяких людей ловили и ко мне в Тонбов не пущали? Ладно, ещё кто

к вам в город зашёл-заехал, а по дорогам караулы со сторожами зачем выставляли, всяких охочих людей, ко мне идущих, всех без разбору к себе емлели и сильностию в Козлове осаживали? Зачем бирючей моих на базарной площади про городское строительство тонбовское, про тутошные угоды обильные, землю добрую, корма тучные, кликать не велели, хоть и имели они грамотки, а?

Первым стал отнекиваться Биркин:

— Ты, Роман, остынь. Неправду глаголешь, не тахто всё было. Наши люди тягловые без отпусков к тебе намылились, соблазнившись тремя рублями. А кому охота податных людишек терять? Может, ты нам своих десяток, другой отдашь? То-то! Их-то мы и не пускали. А кое-кого и в острог сажали, чтоб поостыли. Ты тоже хорош, на обмане заманиваешь. Зачем про три года бестягловых врёшь, а?

— Всё истинно! В указе царском про льготы указано. У вас тут тоже места селитьбенные, нехужей наших. Тока вы до царя не дошли.

— Где уж нам, в стольниках не ходим.

— Ну-ка умолчь! Не лезь, куда не просят. Знай край, да не падай. Я и челом-то бить на тебя не могу, больно много чести. Давайте лучше про разбойных людей и козачков воровских условимся. Мои пределы на Челнавском городке прерываются, а ваши зачинаются. На стыке верста слабая — ни вам, ни мне до неё дела мало. Думаю, совокупить надобно по пять стрельцов и пусть по совместности службу несут по смотринам этого места.

— Ох, Роман Фёдрыч, любишь ты верх держать! Мы, ить воеводы тож, как и ты. Пока начальники равныя.

— Пока? А вы что, указа государя нашего всея Руси Михайлы Фёдоровича не видали?

— Каковского? — в один голос попали воеводы козловские.

— А таковского. На Диком Поле царём три уезда объявлены: Тамбовский, Козловский и Шацкий, да две волости — Верхоцнская дворцовая и Залесские сёла. Предводить над всем мне вменено.

Стрешнев в сердцах ударил ладонью об столешницу, да угодил в глиняную тарелку, разлетевшуюся на куски.

— И тута ты нас, Ромашка, на кривых обскакал.

— Знать такие скакуны, если кривые вас резвее. Это вы норовите всё по зауглам навонять. Угоды почему за мзду раздаёте, Приказом Большого Дворца прикрывшись? Государев запрет переступи-

ли. Видно, корысть сильнее верности оказалась? Про вас в посадах слухи ходят: «Коль карманы сухи, то и воеводы глухи!»

— Наговор и облыжка!

— Облыжка? А кто служилым людям Фильке Слащову, Ефремке Перегудову, Сёмке Самотееву и иже с ними ещё десятку по десяти четверти земельки отвёл, сельцо, назвав Большой Лавровкой? С каждого по пяти рублёв стробовано, с кого серебром, с кого и медью.

Первым поумнел Биркин:

— Ладно, Роман Фёдрыч, худой мир лучше доброй ссоры. Давай поднимем рюмицы за примирение и согласие. За нами города с народом в тыщи голов. Собачиться будем, всё прахом пойдёт.

— Выпьем. С вами, как в той прибаске: с медведем дружись, а за топор держись. С вас две пищали полуторных и пяток плотников кровельных для закрепления дружбы. И бирючам своим прикажите, чтоб про Тамбов слова добрые кричали два дня в неделю. А дальше слушайте в три уха. Усилить надобно сторожу повсеместно, а особо на Сухинском и Спорном острожках. Сотни полторы в каждом, не меньше. Через них утеклецы и разбойные людишки бегут, там болота и топи, не уследишь. Караулы в цепь ставить надо. Пошлите разведчиков в Перкино, там в церкви отец Фарсонофий за порядком приглядывает, в Сукино Кулеватского десятку, Русское, что на реке Отыясе и в Борки, там звонарь в церкви Святого Илии наш подемотрщик. Я же под своё крыло возьму Сержалы, Черкино, Ивенье, Княжное, Крюково, Сокольники и Моршу, где валовая крепость. Испокон веку те места разбойными числились.

— Ты, Роман, всё загадками да недомолвками.

— Караулка со своей ватагой вокруг кружит. Кто его возьмёт живым иль мёртвым, на того и дождь милостей царских падёт. Тогда и станете стольниками. А кто упустит козаков гулящих, сам рядом с плахой очутится, чтоб на ней очочуриться.

Боборыкин махнул прямой глоткой весь кубок, куснул, брызнув соком, краснощёкое яблоко и вышел из-за стола. Пора в Тамбов. И, как чуял, едва отряд вытянулся из проезжей Козловской башни Бельского городка, подлетел запылённый стрелец Петька Пронин из третьей городской сотни:

— Роман Фёдрыч, Караулка с ватагой! Кулеватово проскакал, скоро в Тамбове будет.

Воевода вонзил шпоры в бока лошади, с места в карьер.

— За мной! Не отставать!

В час с небольшим от разбойничьей рати, много лет грабившей и убивавшей почти по всей срединной Руси, ничего не осталось. Как только ватага с атаманом во главе втянулась на Цнинский Большой мост, грянули мортира и пушки с раскатов Водяной, Хоперской башен, со всех бойниц затрещали ружейные залпы. Спереди и сзади затрещали многозарядные «сороки», поливая прямой наводкой свинцовым дробом и пеших и конных. Мордва, спрятанная в речных кустах, поражала почти без промаха из луков тяжёлыми стрелами с оловянными зазубренными наконечниками, вымоченных в гнилом мясе.

Уцелевшие тати бросились обратно, в Цнинский лес, прыгали под мост, в воду, но со всех сторон неслись всадники — воевода поспел вовремя. С южной стороны сплошной стеной выкатился стрелецкий полк Андрея Колоды.

Караулка с полусотней самых запятнанных кровушкой православной, по ком плаха с петлёй давно плачут, тут схитрил, бросился через мост в город, где уж и не ждали его ни ружейщики, ни пушкари. В раскрытой проезжей Водяной башне десяток полковых казаков тут же были порублены, пропнуты саблями в предсмертном разбойном натиске. Так и ушёл бы смелый атаман с ближними соратниками через Хопёрскую башню и дальше, через болота в степь ногайскую, да захаб (поворот) помешал. Сгрудились, налетели, насели друг на друга в тесноте всадники спешащие от смерти спастись, да к смерти прискакали. Первые насадились на крючья острые в стене торчащие. А тут на их беду третья часть войска тамбовского, ждавшая своего часа из Кузьминой Гати, слободы Донского казачества, подоспела.

Караулку с пятью содельниками взяли в круг неразрывный. Боборыкин перекрыл шум боя:

— Живота не лишать! В полон брать!

Стрельцы выставили перед собой острые бердыши, казаки пики и начали стягиваться. Как ни махали сабельками и дубинками попавшие в загон волки двуногие, всё бестолку, скоро прижали к земле, положили, распяли, растянули уколами жалящими. Обвязали захваченных цепями, замками по рукам и ногам.

Допрашивал и пытал Караулку воевода самолично. В санном сарае съезжей избы пахло дёгтем, сырмятными кожами, кровью и страхом. Тут же теснились разные пыточные орудия, три дыбы,

тщательно скоблённые, чтоб ни гнили после каждого правеха покрывающиеся кровавой краской. Рядом стояли две костоломные «кобылы» с запасными кольями. На станах висели батога, кнуты, продёрнутые стальной проволокой с метёлками на концах. В углу горел горн для раскаливания щипцов, печатей со словами «вор», «тать», закования в кандалы ножные и ручные. В дальнем углу красовалась дубовая глаголь и плахи для кнутования. За широким берёзовым столом сидели судьи: губной староста, стрелецкий полковник Колода и дьяк Разбойного приказа.

Сначала по обычаю Караулке заломили назад руки, связали пеньковой верёвкой и вздёрнули через матицу.

От нестерпимой боли атаман сначала взвыл, кроя на чём свет всех, потом, повиснув на вытянутых сухожилиях, жалобно заскулил нашкодившим щенком, пнутым ногой.

Воевода дал знак палачу, чтоб ослабил верёвку.

— Имя, отечество, лета от роду? Чей рожак? Есть ли сродники? Караулка натужно засипел гусём со свёрнутой шеей:

— Ивашка Фефелов, годов тридцать с полтиной, ни отца, ни матери не было, ни родичей, сирота рязанская.

— Ну, Иван, сказывай, и где шайки и ватаги в Верхнеценской волости располагаются?

— Нетуги на тебе Христа! Сказал бы словечко, да волк недалечко! Смилостивься, всё одно ведь иль под топор аль вервие накинешь.

— На мне креста нет? Да за тебя мне Божья благодать выйдет. Ты когда жёнок насиловал и животы им вспарывал, на тебе крест был? А когда причту чёрному в Мамонтовой пустыни в храме святом головы рубил, тоже по-Божески? Фока, ну-ка на кобылу его! Я смотрю, ты гусей гнать мастак.

— Не надоть! Я дугу не гну! Христом Богом клянусь. По воронезской дороге, в верстах десяти, в лесных ухозяях сельцо есть Липяги. Тама татарове разбойные живут. Навроде обычные людишки, а на деле настоящий кильдым, связники и доносчики Крымского Ханства. Панком у них Ахмат. Под каждым домом в подполе тюрьма, русский полон держат, пока не угонят в Астрахань на продажу. Как накопится голов сто, дают знать, чтоб приходили за ними. Полон ведут лесными сакмами тайными, просеки в засеках есть, через степь на конях, тока по ночам гонят. Ахмат на всё горазд — и жало вставить, и яд оставить...

- Как эти Липяги отыскать?
- Тока показать могу. На семьдесят второй версте в лес свёртывать к дубраве круговой, от неё по яруге глубокой с версту сельцо и откроется на взлобке.
- И сколь дворов?
- Да за сотню будет.
- Что ещё скажешь?
- Верстах в тридцати от Лебедяни Ерусалим (склад ворованного) есть для гулящих людишек. Как кто шмеля добудет, то враз туда. Там подземный дом в три моста (этажа). Рухляди и оружия всякого — немеряно.
- Отвести туда сможешь?
- А не боишься, что кочергу забью (убегу)?
- А куда ж ты, злодей, один-то? За тобой сродники убиенных тобою в охоте непереставаемой. Тебе от них ни в Кузьминских гаях, ни в Челнавских глушах не скрыться, везде отыщут. У них глаза и уши, сам знаешь, везде вывешены. И казни почище нашего будут. Да и награду за тебя уж как с три года объявили в десять рублей. Может, мне позариться? Деньги-то немалые. Ведь такого выродка как ты во всей Мещере не сыщешь.

Казнили Караулку и пятерых его приспешников на городской площади в базарный день при скоплении всякого здешнего и заезжего люда. С раннего утра оружные стрельцы окружили майдан кольцом, отстоя друг от друга на длину бердыша, дабы любого острием достать.

Крепостные плотники прибили шесть тележных колёс к столетним пенькам. Землю под ними обильно посыпали песком и утоптали до тверди, чтоб после казни унести с кровью вместе.

Не мужик царю платит, а топор. Топор всему городу голова. От топора и голова с плеч.

Заботы воеводские

День 12 ноября 1636 года начался по обычности с судных дел. Со съезжей привезли беглых, фальшивомонетчиков и разбойных, напавших на поезд торговый, ехавший из Борисоглебска. Стал Роман замечать за собою с недавних пор гневливость острую в ответ на любое слово супротивное. Яростность вырастала откуда-то сни-

зу от живота, бросалась в голову, ослепляла разум, делала жестоким.

Вот и сейчас, глядя на двоих подделывателей медных копеек, задержанных по навету в Белом Острожке, что в десяти верстах от Козлова, он хоть и знал приговор — смертный, другого за это не предусматривалось, всё же спросил:

— Зачем творили, исход зная?

Два черкаса в заплатанных халатах и облезлых заячьих треухах глубоко вздохнули, а старшой попросил несмело:

— Ты, воевода, вели нас иль в воду пометать, аль саблей...

— Не могу, за подделку денег только одна казнь — свинец в горло. Знали, на что шли. А вот за что шли, дурьи головы? За две деньги и кувшин двойного вина не купишь! Зато жизни свои продали! Ведите их в кузницу, да падалища зарыть в Цнинском лесу подальше.

По разбойникам допросил потерпевших купцов и, отправив виновных на каторгу гребцами на Волгу, укорил:

— Вы, московские гости, люди богатые, а денег на жалованье ратных людям пожалели. Копейку пожалели, а рубль потеряли.

На широком дубовом столе, сработанном на прошлой неделе городовым столяром-краснодеревцем Федотом Некрасовым, отполированным сукном до зеркала, лежали три столбца, три указа, давно подготовленные.

Когда все дела были рассмотрены, воевода позвал стрелецкого голову Андрея Колоду.

— Вести с Поля плохие идут, крымчаки, ногайцы, казаки неприкаянные опять зашебурились, да и не было от них спокойя никогда, а оборона наша, как борона. Созвать надобно в Тамбов по приказным станичным спискам голов и вожей, которые ездят из Рязани, Мещеры и иных украинских городов на Поле к разным урочищам и тех, кто преж сего езживали лет за десять аль пятнадцать. Старых и увечных ратников, долгую выслугу и заслугу имеющих.

Татарский набег

Рядом тяжело застонало, взвыло, будто струна оборвалась. В верхке от головы затрепетала, забилась в промашной злобе рыжая татарская стрела с чёрным вороньим оперением. Роман дёрнулся с

запоздалым страхом: и на этот раз со смертушкой разминулся. Едва успел спрыгнуть вниз, на его место вонзились в пронизной силе, не на излёте, затрепетали хвостами ещё две вещуны гибельные.

Воевода кубарем скатился с острожного надолба и не помня себя как оказался на пятом мосту Водяной башни.

От увиденного голову бросило в жар, а ноги в холод. По заливному лугу за рекой скакали редкой, затруднительной для подстрела, цепью около согни татар. Со свистом и гиканьем они неслись к мосту. Попавшиеся на их пути косцы, в широких прокосах, не успели и косами взмахнуть, пали зарубленные широкими кривыми саблями. Подъёмный мост у Водяной башни, скрипя брёвнами и звеня цепями, начал медленно подниматься, преобразуясь в неприступные ворота. Заполосно заголосил вестовой колокол, ему ответил второй, третий. Звон вселил тревогу и страх. Служилые забежали по кремлю, занимая места, расписанные по «планту» обороны.

Конные татары, пустившиеся вплавь, наткнулись на острый частик, воткнувшийся в дно. Лошади от боли жалобно ржали, металась из стороны в сторону, кровеня воду, сбрасывая седоков.

Воеводу будто стукнули по затылку: подозревал ближнего стрельца, послав за той стрелой, что воткнулась первой — только теперь сообразил, что тот татарин промахнулся с умыслом. На принесённой стреле желтел ярлык: «Боборыка выбирай — полон или смерть».

Вот дурни — полон хуже любой погибели. Да и нету у них сил Тамбов брать — так, себя тешат и его пугают, чтоб страшнее казаться. Всё никак от ордынских привычек не отойдут, хоть и уж сколь поколений прошло, как Золотой Орды и в помине нету.

Воеводские тайны

Боборыкин как зеницу ока хранил от сторонних, да и от ближних в скрытности глубокой содержал подземный колодец на случай осады, пушку «орган» и карту кладов. Водяной тайник нужен был на случай осады. В глубоком подземном ходе, вырытом под восточной кремлевской стеной по склону холма до уровня реки.

Жил на посаде старик-тархан, пробивался мелкой торговлей, подворовывал из дальних ужожаев мёд. Варил из него вино и сбывал украдкой стрельцам. О кладах он знал всё и все клады в округе тоже.

— Места кладистые только в одну ночь в году отрываются. Их

бродячие огни показывают. И огни эти тоже не всякому светят. На клад знахаря надобно. Клад иногда наружу огоньком выходит, неймётся ему в земле ненайденному. На сколько голов клад положен, на столько и подавай. Клад кладётся с зарокон. И только тому даётся, кто зарок исполнит.

Давно минувшее

Любил воевода до дрожи в поджилках, до жара в голове, затаивая душу, очевидеть рассветы и закаты. Люди русские той поры сутки на 24 часа не делили, тем и были счастливы. Жили проще — время считали по ночным и дневным часам, от восхода до захода солнца. Утро раннее радость приносит светлую, вечер — грусть притемненную. Поднимался он затемно, а на душе светлело, когда восток ещё не посерел сначала робко, потом смелея, розовея, наливаясь багровой силой. Это чудо рождения и смерти маленькой жизни — дня заставляло его смутно провидеть сквозь край земли давно ушедшие времена, когда Поле было никем ещё немеряно дневным конным переходом, мерилом хоть и ненадёжным, но верным и всегда под рукою имевшимся. Смутные тени отживших свои неповторимые жизни людей начинали мелькать перед ним. Умерев, превратились они в деревья, кусты, траву, червей, всякую насекомую тварь. На этой земле ничего бесследно не исчезает. Был человеком, стал жуком. И так до бесконечности. Никто не проживает свою жизнь, не изменив мир хоть на йоту малую, хотя бы одним тем, что был, существовал, пусть даже и не создав ничего, кроме кучи удобрений и померев, удобрив собою землю, какая-никакая польза, жирная пища для дерев, трав, цветов.

А вокруг необозримо и невидимо, скрытые песком, камнями, перегноем из всякой бывшей живности, укрытые переплетёнными змеями-корнями, лежали кости много тысяч лет назад бродивших, живших, любивших, добывавших в поте лица пропитание в этих краях. Если человек жил десять тысяч лет назад и прожил пятьдесят, сколько ему? Пять тысяч пятьдесят или пятьдесят?

До воеводы будто доносились невнятные голоса отживших. Иногда ему приносили окаменелые ракушки или раковины. Хоть он и видел море всего один раз при походе в Астрахань, но представил, что когда-то в этих местах бушевало море. В одном только со-

мневался — солёное или пресное? Говорят, море на вкус, как рассол из-под огурцов.

Родился Тамбов не в девственных местах. Человек издревле селился в этих благодатных, плодovitых на растительную и животную жизнь местах.

В Шацких, Кадомских, Темниковских, Мещерских местах наткался он многожды на курганы, высокие, до десяти сажений, маленькие, округлые, как хлеба-караваи, чуть больше роста человеческого. Понимал — большие люди, начальные под большими курганами зарыты, людишки поменьше — под малыми, остальных ничтожных ровная степь скрыла. Станичники со сторож приносили топоры, наконечники каменные, при рытье рвов найденные, серёжки и кольца медные, а то и золотые. Однажды нашлась уздечка бронзовая с позолотой со странным загубником, будто не для лошади, а Змея Горыныча. Всё это заставляло душу воеводскую замирать оторопно. Роман жадно всматривался во все находки, стараясь проникнуть в их прошлую жизнь, ощущая острую пытлиность, как говорил отец Мисаил, к «седой стародавности».

Но он не поверил бы, если сказали, что на том месте, где он сейчас стоит, на слиянии Цны и Студенца когда-то лежали верстовой толщины зеленовато-голубые льды. А по ним бродили мохнатые гиганты мамонты, поводя грозно железной прочности бивнями по десять пудов каждый. Открывая шерстяные рты, щерились они зубами-лопатами. Ходили и шерстистые когтистые носороги с метровыми рогами-саблями. Служили они им то оружием, то плугом по добыванию сладких кореньев.

В Шацке притащили ему однажды водокопы рыбью кость жёлтую в косую сажень — то ли зуб, то ли клык, а от какого чудища, не то, что сказать, додумать никто не мог.

Были и иные шутки, с прошлым связанные. В степи стояли бабы каменные, все зарядами пищальными испещрённые, путали их ночью путники со злодейскими людьми. А днём, бывало, стрельцы в меткости упражнялись. Но бабы эти древние стойкость и мужество проявляли непобедимое, гордо стояли побитыми и щербатыми.

Не столь отдалённые времена, лет триста-четыреста назад, известны Боборыкину стали из грамоток митрополитов Феокиста и Алексия, оставивших память не только о себе, но и о временах тех. Из их писанин следовало, что в те поры леса, поля и степи этих мест не были безлюдными, населёнными только птицей и зверем.

При первых русских князьях рязанском Святославе Ярославовиче и муромском Юрии Святославовиче обитала тут на полной воле и процветании мордва, мещера, буртасы. Но потихоньку между иногородческих селений обживались русские люди — вятичи.

Читывал Роман в Поместном Приказе летопись Несторову:

«Я по Оце рече седять Мордва, свой язык..., иже дань дают Руси».

«Иде Святослав на реку Оку и налезе Вятичи и рече Вятичем: кому даёте дань? Они же реча: Козарам по шелягу от рада даём... И победи Святослав вятичи и дань на них возложи».

Жили испокон веку по берегам Оки вятичи, не ведая никакого тягла и повинностей. Видно, свобода у них весила дороже жизни, не говоря уж про золото-серебро. Подняли они оружие против Киева.

«В лето 982-е заратинилась Вятичи и иде на ня Володимир и победи я второе.»

Потом смута разобщения пришла на Русь. Через сто лет муромские князья вступили в войну с камскими болгарями.

«В лето 1088-е Болгаре взяли Муром.»

В те же годы усобицы междурусские вспыхнули с новым огнём. Пустоши Цнинские, Воронские, Мокшанские сделались полем битвы. Князь Мстислав, сын Владимира Мономаха, по притокам Оки воевал с Олегом Святославовичем (Гориславичем). Ольговичи надвигались с юга, от Медведицы и Донских притоков.

Видя такое несогласие между русскими князьями, мордовские и мещерские панки в который уж раз решили освободиться от гнёта.

«Лета 1103 бися Муромский князь Ярослав Святославович с Мордовою и побеждён бысти Марта 4 дня...»

О стались от тех времён городки и городища, где путные люди, непогодой застигнутые, скрываются в обвалившихся домах и землянках.

Показывал дьяк Поместного Приказа Форсонофий и Софийскую летопись:

«В лето 1380-е прииде из орды ордынский князь Мамай с единомысленники свои Буртасы...»

Тогда-то и понял Роман, почему в Кадоме буртасы по-татарски изъясняются и на татар сильнее махают, чем на мордву. Воевода мордовских, татарских и мещерских княжеств не застал. Давно уж народцы эти находились то ли под покровительством, то ли под

игом московским. Гнали их всё дальше на восток с обжитых, затенённых дубами в три обхвата и плачущими вёслами, изобильных рыбою и бобровыми семьями Цны, Вороны, Хопра, Мокши, Вячки. Сам Боборыкин к мордвинам приязнился и охотился. Мужики у них работающие, ремесла знающие, умельцы на все руки. И войны из них добрые, потому что когда надо злыми становятся. С незапятных пор и поныне роспись ведётся на сторожу и службу охранную мордовскою силою в необъятном Телерманском лесу. Целый городок воинский, из них состоящий, при впадении Вороны в Хопёр разбивать людей путных разбойникам в округе расходиться через меру не даёт.

В те времена почти весь север Поля покрыт был дремучими лесами. Древесное строительство дешево было и изобильно. Плотницкий десятник Дмитрий Околелов, родом из Сосновки, что приутилась к большому дворцовому селу Рыбная Пустошь, прислонился лбом к венцам только что срубленной избы. Не переставал он удивляться: на дворе мзга, холод волчий, а дерево живёт, тепло хранит и людям отдаёт. И древесный век намного дольше людского. Вон в Сосновке, Кулеватове избы стоят уж по двести, триста лет. Сколько в них родилось, отжило, почило вечным сном? Крепче железа, цвет и тот с серебряным отливом, а железо из стали в ржу рассыпается, одного цвета с землёй становится.

Околелов что топором, что мечом владел одинаково. Сабелька за ненадобностью висела над палатью хоть остра и тяжела, но невостребованная. Рука не к рукояти, а к топорищу приросла. Одинадцать топоров до обушка сточил, избы ставя. Помаши топориком двадцать два года — поневоле мастером станешь верхним.

Околелов рожак был из тех краёв, куда воевода наведывался нечасто, только по нужде крайней и крупной. Крупной была черта засечная со сторожей станичной зимней обреталась из десяти казаков шацких возле Троицкой Вихлайки в круглой и густой как шапка дубраве, им отобранных перед отъездом, людей проверенных и доверенных. Прибегал он к их услугам редко, приберегая на крайний случай, коим обычно являлось лишение жизни ненужного ему, а значит очень нужного кому-то человека. Крайней нуждой была душевная потребность иметь друга, наставника, учителя, к которому пожалковаться, приклониться, посоветоваться о жизни прошлой, настоящей и будущей. Именно такой благодетельный попечитель души его и проживал в здешних местах. Держал нынче путь Роман

Фёдорович к окольному трёх царей, всевестному в ханствах Крымском и Ногайском, главному воеводе Юрьеву, старому чреслами, но могучему мыслями, боярину думному.

Дорога пустяшной не была, вела она как раз вдоль засечной сторожевой черты, тянущейся почти что на сто верст, вдоль-посередке Цнинского леса, переходящего в Мокшанский, вливающийся в бескрайние Муромские лесовины. Дорога вилась, то отдаляясь, то прижимаясь к тихой, пахнувшей свежестью и травяным настоем Цне. Чем дальше к Мещерским местам двигался воевода, тем чаще среди леса попадались чёрные выжиги, раскорчёвки с громадными пауками корневищ, полосатые от пахоты поляны. Следы людского труда виделись повсюду, но ни единой души за всю дорогу так и не встретилось. Лишь всесущее воронье сливалось с чёрной землёй изредка, страшась чего-то, только ей ведомое, поднималась с противным граем в небо чёрной тучей. Впереди на холме завиднелась дозорная вышка. Лесная сторожа станичная.

На смотровом мосту никого не было. Воевода озлился, но проехал мимо, проверка службы задумалась им на обратном пути, если уж и тогда в другой раз надзора за засекой не будет, туго голове засечному придется.

Боборыкин расписал каждый шаг при несении службы и требовал неукоснительного исполнения «Наказа сторожевого». Им были составлены точные инструкции, обязательные для всех посылаемых на службу в Поле сторожей и станичников. Прежде всего от них требовалось соблюдение крайней осторожности и бдительности. Дозорные обязаны были, прибыв на пост, стоять на сторожах, «с конь не сседая, переменяясь и ездити по урочищам, переменяясь же на право и на лево по два человека по наказам, каковые им дадут воеводы». И далее: «А станов им не делати, а огни класть не в одном месте, коли каша сварити, и тогда огни в одном месте не класти двжды, в коем месте кто полднивал и в том месте не ночевать, а где кто ночевал и в том месте не полдневати. А в лесах им не ставится, а ставится, в таких местах, где было б усторожливо. А где которые станичники или сторожи воинских людей подстерегут, и станичником с теми вестями посылати в государевы и украинные города Танбов, Козлов, Данков, Темников, Шацк, Ряжск и Кадом, в которые ближе своих товарищев, а самим сзади неприятельских воинских людей на сакмы ездити и по сакмам и по станам людей измечати, ездив по сакмам и сметив людей, да с теми вестями и в

другой отослать ж своих товарищев в те же города, в которые ближе, а велети ехать, покиня тех неприятельских воинских людей вправо или влево, которыми дорогами поближе, чтобы перед воинскими людьми, чтобы в государевы украинные города весть была ранее, не близко перед ними. А которые головы и сторожи у них на праве или на леве стоят, и им к тем головам и к сторожам с вестью от себя отсылати...»





Валерий АРШАНСКИЙ

РАССКАЗЫ

Купание императрицы

(Из цикла «Золотые сны детства»)

В летний предутренний час, когда вокруг старого парка тишина стоит заповедная, щедро разлитая по всем уголочкам, как густая сметана в миске с варениками, сладко спит себе, почивает ласковая чаровница речка Сумка, водной подковой огибающая места прогулок отдыхающего люда. Извилистая, в тысячах протоков, впадающая в Днепр (вторую после Нила реку, как считал великий Геродот), наша несудоходная шалунья разметала во сне натруженные бесконечной стиркой илистого русла рученьки-притоки. И поджала под себя, к груди поближе, натоптанные бесчисленными обходами капканов болотистой ряски, хитросплетений водорослей ноженки-истоки.

Этот благодатный часок отдыха до наступления зари для красуни-реченьки — самое то, самое желанное забытьё. Широко распахнутые днём, с детским любопытством вглядывающиеся в мир вежи, сейчас без зазоров и прорех монолитно склеены цепко вяжущим, как клейстер, раствором. Крепко-накрепко сомкнуты обычно говорливые уста.

Валерий Аршанский родился в 1945 году. По основной профессии — журналист, много лет работал редактором «Мичуринской правды».

Публиковался в журнале «Подъём», в «Тамбовском альманахе». Автор нескольких книг прозы.

Лауреат областных литературных премий имени Георгия Ремизова, Ивана Рахманинова, Александра Воронского.

Член Союза писателей России.

И всё вытянутое тело школьницы-акселератки уютно свернулось калачиком, не позволяя колыхать себя лодочной волне, тем более, крутить-вертеть бесцеремонным «моторкам» и катерам. Река безмолвно упреждает любого, пытающегося нарушить её заревое безмолвие — отстаньте, днём успеете ещё нагуляться, набалууетесь!

Заботливо подоткнута под бока реченьки пахнувшая волей шальных ветров и гулом немереных просторов свежая туманная простынка, настоящая на зелени целебных лесных трав, знойного степного ковыля, луговых васильков и колокольчиков. Выглажены зеркальной подошвой утюжка все морщинки, все складочки-рябинки на просвечивающей материи. Уложен замысловатым фасоном, вроде как треугольником, полог занавеса. Но сизоватое по краям, то есть у обоих испещрённых птичьими гнёздами берегов, обильно накрахмаленное и всё же однообразное в своей серости покрывало ближе к середине меняется: здесь оно уже чётко прострочено ровным швом стремнины. И это вам не та пепельная кайма, расплывающаяся равными клочками во все стороны с первыми прикосновениями к ней лучей солнца, а решительная, уверенно выполненная конструкторской рукой чёрно-синяя линия, прочерченная до самого конца холста. Туда, где горбится над Сумкой железнодорожный мост. И уходят дальше (только там уже зигзагом), до обрыва, за горизонт, электропровода. Уходят они, говоря языком Тараса Шевченко, «за обрий, де вже нічого немає». Где уже ничего нет.

Вот такой неожиданно форсистый завиток-завитушечку с добавлением небесной синьки, вот такой фортель выкинула капризулякисть искусницы природы. Захотелось ей оживить унылость пейзажа речной «ночнушки» — и, пожалуйста. Без примерки нашла подходящий мазок для очеловечивания тёмно-серого крестьянского рядна. С грубоватой заботливостью, хотя и плотно, укрыла грудь и плечи спящей девочки-речки.

И ещё, смотрите! Ни влюблённые пары, до рассвета так и не покинувшие подвернувшуюся постель — усердно примятую их совместными усилиями, пребывающую всю в росном серебре прибрежную мураву, ни кучевые облака, спешно слетевшиеся в пустынном небе на рабочую планёрку (быть ли, не быть дождю), ни фанатики-рыболовы, глубокомысленно замершие в позе египетских фараонов, захороненных на недоступной глубине пирамид, ни старающееся особо не шуметь, не топтать копытами стадо общественного животноводства, величаво несущее к луговине рогатые

свои головы — ничто из окружающего мира не мешает реке всё так же безмятежно спать. Да что там «спать»... По-простецки говоря, кемарить, кунячь, дрыхнуть без задних ног, набираясь новых запасов сил для нового дня. Вот самообладание!

Угадать бы ещё, что видит Сумка во сне? Ой, наверное, многое. А как иначе, если, что ни река, то — безмолвная свидетельница всего сущего на Земле, бесследный летописец и безгласный репортёр случившихся ужасов и восторгов, бесстрастный историк, внимательный хроникёр. И каждая река, точно так, как вечен воздух, как неизменна поступь времени, как не нарушаема очерёдность морских приливов и отливов, ежедневно и ежечасно безропотным тружеником почтальоном уносит с собой загадочные свитки памяти. Чего в них только нет! Таинственные письма эпох. Закодированные послания вулканов, цунами, селей и оползней. Клинописные изображения сражений, знаки радостей, обид, восхищения, возмущения, побед и поражений, боли и страданий.

По самому дну иных рек, еле пошевеливаясь, ползут махровым мхом покрытые протоколы особо мрачных дел, составленные в единственном экземпляре, содержание которых человечеству лучше бы, наверное, и не знать. Плывут секретные водяные свитки, обрывки зашифрованных листков и уцелевшие закодированные страницы. Проплывают рулоны бумаг — и все по одному и тому же маршруту: из минувшего через настоящее в будущее. Не важно, вверх они плывут или вниз по течению, главное — безвозвратно. И очень жаль, что, подобно древнегреческим покойникам, все эти свидетельства былого, попадая в Лету-реку, навсегда теряют память.

Сколько увиденного, услышанного, но людьми так и не признанного, унесли за свою жизнь в ледяное безмолвие, в небытие, в Арктику, проторив из Сибири океаническую тропу, Лена и Енисей. Громогласные исполины с могучими волнами, всевидящими глазами-бакенами, маяками-спасителями терпящих бедствие, блуждающих грузовых и пассажирских судов. Сколько великих тайн запечатала в недоступные кладовые скрывающая коварные гранитные пороги и валуны, обманщица самых достоверных штурманских карт и лоций, уральская Кама. Какие секреты хранят затонувшие отважные казацкие парусники-струи? Что могут поведать останки бомбар-стенг первого Петровского флота, кили резных судов Стеньки Разина и грузные карбасы Ермака, бороздившие Волгу, Дон, Оку, Цну? Втрое, вчетверо обмелели с тех пор эти реки. Иссохли их при-

токи под Рязанью, Тамбовом, Саратовом, Воронежем...

И так везде, что на севере, то на западе и на востоке. А если бросить взгляд на юг? Туда, где текут воды Кубани-реки, её больших и малых спутниц. Которые легко добираются не только в огромные, испокон веку сытые курортные города и в лоснящиеся чистотой и довольством станицы, но и в самые глухие деревеньки. Которые прилепились у склонов высоких гор в виде аула, сакли, крохотных, напоминающих беззащитные ласточкины гнёзда, безымянных селений?

Среди речного покоя и неправдоподобной тишины неожиданно возникают фантомные реки, непредсказуемые, как и народности, их берега населяющие. Эти дальние родственницы Куры, Риони, Арагви, то почти до мелких камешков на недели, месяцы, годы пересыхают, болея своего рода гриппом, ангиной, скарлатиной и дифтерией в тяжёлой форме. То вдруг, в одночасье оживают, переполняясь выше ординара потоками тающего льда и горного снега. И уж тогда — берегись!

Несутся ещё вчера находившиеся в коме реки осатанело, разъярённым зверем, неистово бурлящие, клопочущие, пенящиеся длинными языками, наподобие огненной лавы, извергаемой со склонов бухнувшего взрывом вулкана. Прут напролом, захлёбываясь в ужащающем лавином рыке, зловещем рокоте, гортанном клёкоте, переполненные подспудной мощностью, дикарской энергией, варварской жаждой разрушения. Их услада — в неукротимом, яростном сумасбродстве уничтожить, залить, затопить, снести всё окрест. И унести в открытое море. Чтобы очевидцы хорошенько силу стихии прочувствовали и надолго запомнили учинённый погром.

Таковы они, реченьки буйного Кавказа, смуглолицые южанки, ничуть не похожие на своих отливающих холодным серебром северных сестриц. Одинаковые лишь в том, что тоже ныряют в Лету, забирая с собой в подводные схроны километры киноплёнки, где загадочного, тайного, невысказанного хватило бы на гигантскую книгохранилище или громадную фильмотеку, в которой каждая серия документального кино — на три часа с лишним.

Сумка-река спит и видит часто навещающий её в последнее время один и тот же сон (к чему бы, кстати, это, когда, как известно, сны сбываются, да ото сна не сбудется?)...

Летняя жара. Июль. Очень далёкий век. Вдоль речных берегов, тогда ещё не таких размытых и пологих, а крутых, высоких, покры-

тых густыми зарослями кощачьего колчедана и дикого овса, житняка, костреца, конопли и донника, тянется громогласный караван охраняемых со всех сторон карет. Поезд великой императрицы. Его путь — на юг, по встречному курсу перелётных птиц, весной так же шумно возвращавшихся после сытой средиземноморской зимовки в оголодавшие из-за бесснежной зимы деревушки Малороссии. К своим родимым гнёздам.

Путешествие Ея величества из северной столицы, хладного Санкт-Петербурга, лежит до белых раскалённых песков Крыма, сказочной Тавриды. Где который день изнывает в ожидании царицы пылкий фаворит Григорий Потёмкин. Поход царского обоза долг и тягуч. К тому же, в пути-дороге даже высочайшим особам приходится время от времени делать вполне понятные остановки, известные солдатскому окружению по команде: «Снять ремни, оправиться!». Барышни-кокетки в такие минуты со смущённым хохотком грациозно удаляются за кустики налево, подальше к высоким опахалам папоротника и мшистым куделям травушки-муравушки, откуда не просматривается ни-че-го! В смешанный лесок. Там можно полюбоваться белыми стволами склонённых в хороводе юных берёзок. Очарованием блондинов среди клёнов — яворов. И красотой настоящих, природных клёнов (если хорошо присмотреться — сплошь исклёванных большими любителями полакомиться его сладким соком, неутомимыми долбёжниками дятлами).

Мальчики нестройным шагом отправляются направо, под сень громадин-дубов, лиственниц и упирающихся шоколадными пиками прямо в небо карандашных по контуру сосен. Там послушно хрустит под ногами хвоя старого сухостоя, трещат под сапогами хрупкие былочки осыпавшихся после грозы ольховых серёжек и приятно пружинят на каждом шагу залежи палой листвы. Ка-ва-ле-ры! Не подглядывать! Кому сказано?

Кучера-форейторы вмиг раскинули походный бивак, повара щедро потчуют наготовленной на полк солдат стряпнёй всех желающих. А перекусить, право, нелишне, потому что до вечера предстоит ещё ой сколь песка да глины с чернозёмом на колёса мотать. И будут ли впереди остановки да когда будут — никто не поручится. Так что, суют тебе черпак каши — бери, не пожалеешь.

Венценосная степенно, неторопливо — где это видано, суетливая наместница Бога на земле — спускается к воде, заученно направляя недавно подоткнутые юбки. Наклоняется к перламутрово-

му зеркалу, любуясь стрёкотом перепуганных предшественников лягушат — головастиков, их паническим отступлением от облюбованного берега (вот, все враги бы от России так!), зачерпывает в ладоши освежающую — ой, прелесть какая! — прозрачную влагу. И исхитряется долго-долго держать её, живую воду, в пригоршнях. Но умеет светла водица бесшумно и незаметно ускользать, деликатно извиваясь, даже из державных дланей.

Почему-то захотелось царице здесь же, на песчаном островке, и хорошенечко умыться. Даже, пожалуй, помыться в этот адски жаркий июльский час, несносное полуденное пекло, усугубляемое настырным звоном гнуса, липким комариным маревом. Но освежиться не как дома, в дворцовых покоях: по-светски чопорно, манерно, степенно, держа высокую господскую марку в английской ванной при услужливых фрейлинах, приторно внимательных до каждого её шага. А, как это умеют русские, широко, раздольно, ухарски, беззаботно и бесшабашно. Во всю Ивановскую! Взять, например, вот так, да щедро обрызгаться пригоршнями незатейливой простенькой, без мыльной пены и ароматических добавок, тёпленькой, как парное молоко, естественной речной парфюмерией. Так плещутся в купальнях — она не раз видела — все дворовые, да и крестьянки. А-ах, как сразу свободно, легко задышало лицо, лоб, шея. Теперь бы ещё протереть кое-какие места, начиная с тех, что поглубже за воротом... Эй, девки, ну-ка, живо, тащите мне сюда несессер. Да, сумку вон ту большую, сумку кожану. Цвета жёлтого!

Благоухал тысячами запахов старый смешанный лес, помнящий нашествия безмолвных печенегов, громогласных гуннов, жестоких галлов, псов-рыцарей, смертоносные римские когорты и визг конных орд Мамаю. Лес жил своей жизнью; на отмирающих деланках сужался до размеров неполной сажени, непроезжей для телеги-одноколки, но годной для пешего прохода путника. А в местах тянувшегося ввысь подроста расширял границы просек, образуя зелёные лагуны, развёрстые на добрую сотню поприщ (вёрст). Летом изумрудный мыс овевала прохлада, зимой сохраняли затишье от ветров и выюг сомкнувшиеся в плотном строю верные солдаты роты охраны — ольшаник, березняк, дубняк. По весне вечнозелёный самшит по-братски обнимался с мохнатым можжевельником, калина роднилась с рябиной, орешник с черёмухой, а ива смыкалась с иргой, укрывая от проливных дождей переплетения малины и смородины. Удивительные целебные травы, от мяты и будры до черники

и череды, выростали и разрастались разноцветными ожерельями в таком изобилии, что их запросто хватило бы для сотен и тысяч аптек России, Африки, Азии и Латинской Америки. А крупным зверям, будь то лось или олень, косуля или кабан, медведь или волк и всякой мелкой живности, от зайца до белки, вполне доставало своего лесного добра, чтобы запастись съестного на полную зимовку с лишком. Не заглядываясь на крестьянские закрома близлежащих деревушек.

И такая безмятежная жизнь продолжалась до той самой поры, пока вездесущий человек с зубастой пилой, жалящей косой и без устали тюкающим по брёвнам топором не добрался сюда для заключения выгодного ему, сулящего невиданные блага насильственного брака с дикаркой Природой. С вполне понятной целью: для полного и беспрекословного овладения всеми лесными кладами. Приручения и приучения неразумной, несметно богатой аборигенки к робости, страху, палочной дисциплине, полному послушанию, безоговорочному подчинению. И — окультуриванию. То есть, разрушению до основания какого-то там дикарского, сотворённого неразумной стихией ковчега и строительства правильного, цивилизованного места разумного развлечения веселящихся единиц трудящихся. С деревянными грибками, скрипучими качелями, ухарскими каруселями и зашибенным чёртовым колесом!

Пару веков спустя об утраченном прошлом малым и старым жителям Сулимска да гостям города напоминали в нашем Екатерининском парке только два окольцованных металлическими обручами дуба с памятными табличками. Заметно потускневшими от времени, зато намертво вбитыми на высоте человеческого роста ржавыми гвоздями непосредственно в накренившиеся стволы. Распяв и загрубевшую кору-кожу, и поскрипывающие части тела деревьев-ветеранов.

Не на месте прежнего, похожего на капитанский мостик, рдеющего, голубеющего и зеленеющего травами да кустами бересклета горделивого косогора были оставлены те прашуры дубы. Там, на самой выгодной для обзора площадке — с видом на Сумку-реку — с незапамятных времён пускает в небо пряные дымы павильон — шашлычная обрусевшей семьи Арчила Гаглоева. А вековые «Тарасы Бульбы» ютятся на отшибе, рядом с густо хлорированными отхожими местами. Там и будут доживать они свой век, подсевшие, подгнившие, треснувшие и накренившиеся. Принимая незаслужен-

ный позор навязанного соседства с низко поникшей седой гривой. Хотя и сохраняя наподобие старинных кавалеристов-вахмистров стать — в шесть взрослых объятий. Стоят себе смутные от нерадостных дум деда да поневоле слушают, как рядышком изысканно изъясняются сулимские аборигены, летними вечерами, словно мухи на мёд, валящие сюда, «на дубки», чтобы хватануть в прохладной тиши, среди мусора и опорожнённых бутылок по стакану дешёвого портвейна. Да поскорее, пока не подошёл с обходом милицейский патруль. И хилить потом отсюда бодрым шагом на танцплощадку. При-и-ко-ль-но!

Но культурная революция случится ещё не скоро. А тогда, откидывая века назад, смешно побулькивала, послушно унося на спине щепу и прочий сор, брошенный в воду диковатыми Екатерининскими кашеварами, весёлая дочь дремучей чащи и топких болот, наша прозрачная пока безымянная реченька. Высоко-высоко, цепляя тяжёлыми крыльями верхушки сосен таёжного леса, проплывал, жадно заглядываясь на оголившуюся под прикрытием ветлы женщину-императрицу, с наслаждением, совсем не как в дворцовой мыльне, принимающую с помощью двух служанок природные речные ванны, страстный, охочий до любви степной орёл. Его зачарованность полностью разделяли понимающие толк в настоящей женской красоте караульные Всевышнего у небесных врат, вечные охранники мирского покоя — Сатурн, Сириус, вооружённый до зубов вояка Марс. И посылало дружеские волны тепла и света царскому обозу, наливающимся янтарём хлебным нивам, пенистым морям и благоухающим садам, всем работающим и гуляющим, воюющим и отдыхающим, бодрствующим и спящим, зло и красоту творящим людям второе после неба божество — Солнце.

Затевая с ним неравный спор, на недоступной даже смелому коршуну высоте, парили перед распахнутым голубым занавесом, пытаясь устроить свой разудалый костюмированный бал, впоследствии получившие название международный кинофестиваль, слетевшиеся со всего света тучи да облака. Все — хитрющие циркачи и акробаты, арлекины и шуты, изобретательные мастера забав, грозные местоблюстители.

Для начала, решив по-детски подурачиться, они прибегли к обычному маскараду. Напялили на себя, кто что мог, кто что нашёл: дырявые соломенные шляпы, купеческие картузы или шутовские колпаки, ермолки, панамки или дамские береты, чалмы, либо залом-

ленные на мексиканский манер сомбреро. Кое-кто щеголял в сбитой на загривок шляпенции, напоминающей любимый головной убор американского комика Бестера Китона — канотье, другие прикрывали маковки иудейскими кипами, мусульманскими тюрбетейками, наполеоновскими треуголками. Туловища запахнули в удобные индийские сари и не очень удобные (но, что делать — маскарад) японские кимоно. А затем с раблезианским хохотом и сумасшедшим грохотом, выделявая не совсем пристойные танцевальные движения — падебаск, покатали по бульжным мостовым громыхающие пустые бочки. Стотысячеведёрные, иссякшие до самого донышка после вчерашнего наэлектризованного дождя. Щедро вылитой под искры бесноватого Вельзевула на сады Молдавии, горы Испании, виноградники Италии и бесплодные земли Закарпатья.

Озорники-мальчишки и престарелые сорванцы в лёгком облачном одеянии катили тяжеленную бочкотару, как игрушки, приговаривая недавно услышанную на русской реке Волге и так понравившуюся им присказку булаков: «Эх, вверх неволя ведёт, вниз вода несёт...».

Затем, натянув на чело в потайной театральной костюмерной мастерской гигантские маски, тем самым сразу приняв на себя обличья атлетически сложенных кудлатых Атлантов и несоразмерных по форме бёдер и бюстов кудрявых Кариатид, облачный пелетон, спустившись в самый нижний эшелон, с места в карьер на бредущем полёте наперегонки понёсся над землёй. При этом, по заведенному не понять с какого серафима ритуалу, шутиливо бранясь, слегка толкаясь, игриво пинаясь. И озорно хватая друг друга за развевающиеся по воздуху кудри, лохмы, баки, пейсы, локоны, чёлки, косы, парики, косматые бороды, пышные усы и косы. «Гопкинс!» — сталкивались до раскатов грома и высечения молний громадными лбами облака-быки. «Гопкинс!» — бодались крутыми плечами не привыкшие уступать в драке даже самым сильным противникам небесные козероги. И непрестанно потряхивали кубинские погремушки-маракасы, молотили в гулкие сомалийские бубны, поощряя продолжать корриду, слабенькие облачка-овечки, ещё только набирающиеся ума-разума, подобно школьницам начальных классов. По младости лет не допускаемые пока на вечевые собрания взрослых пористых облаков.

В отличие от них, мощно, что есть силы, так, чтобы слышали

даже пугливые староверы в сибирских землянках-скитах, лупили не в лёгонькие детские бубны, а в огромные древнерусские войсковые барабаны-набаты, для перевозки каждого из которых требовались четыре могучие лошади, давно оглохшие, полуослепшие, хромые и косые, подчистую списанные небесной канцелярией на пенсию по старости, посивелые вояки. Некогда любимцы Зевса и Перуна. Рядовые инфантерии.

Они, искалеченные в несчётных сражениях пехотинцы, в грош не ставили примитивный гужевой транспорт. Обогнув на своих двоих не раз и не два экватор, ветераны повидали и египетские колесницы, и фуры Александра Македонского. Они не привыкли удивляться ничему. Даже появлению на рысях пулемётных тачанок Семёна Будённого, даже ужасу беспощадно крошивших как красных, так и белых — а люди ведь гибли, люди! — кавалерийским обозам батьки Махно в Гуляй-поле. Их заботили только свои пенаты. Где можно не огорчаясь, не оглядываясь, без натуги вытворять под голубым небесным сводом что угодно, хоть Марлезонский балет. Нет на то ни цензуры, ни художественного совета, ни временных рамок. Анархия — мать порядка!

И безбашенные небесные долгожители, сцепляясь и переплетаясь в причудливых танцах — кадрили, мазурке, цыганочке. А затем в подсмотренных на берегах Дуная, Чёрного моря, Карельских озёр хоро, коло, чардаше, гопаке, лявонихе и легкой-енке, продолжали свой беспечный бег, заливаясь счастливым смехом победителей, богов и богинь, никогда не знавших поражений. Никогда и нигде! Даже если перелетали в ходе затяжных боёв с чёрными тучами с милого севера в сторону южную. Через Петушки, Клинцы, Елец, Ейск, Арзамас и Моршанск, минуя реки Цну, Дон, Псёл, Ворсклу на Сулимск и дальше — в Новохопёрск, Одессу, Дондошаны, Стамбул и Тегеран. Пересекая затем с разных сторон южный и северный полюс, Тихий и Атлантический океаны. Чтобы попасть без виз и паспортов на самое большое озеро облаков — Титикаку, расположенное где-то между Перу и Боливией. И уgomониться.

Торжественным фугам богов небесных, гвалту и ору отряда рода людского, выбравшего для привала не очень-то исхоженный, скорее, даже целинный здешний край, во всю силу лёгких воодушевлено подпевали нескazanно обрадованные неожиданным появлением царицы и её свиты самодеятельные ансамбли, спешно сколоченные из числа местных музыкально малообразованных пернатых.

Представлять птиц людям было некому, да и незачем; какая разница, где клест, где удод. Ну, а для особо просвещённых слушателей, гурманов-меломанов, щёголей-аристократов из узкого императорского круга, подлинных знатоков и ценителей вокала, коих всегда, во все времена насчитываются всего лишь единицы даже в самых изысканных залах консерваторий, не вызывать же было сюда, на простонародный импровизированный концерт, какого-нибудь расхваленного французского щегла из Булонского леса. Да и что уж он такое невозможное может пропеть-просвистать на исконно русских берёзах, этот типичный парижский шансонье из затрапезного кафе-шантана? Пусть себе при невозможно каком пёстром галстуке и горчичного цвета фраке. Чем удивить, кроме грассирования и прононса? Подумаешь, «звездо» какое!

А вот в родном Отечестве — благодать! Подобно гаеру Петрушке из ярмарочного балагана, пританцовывают на разлапистых ветвях смолистых елей и ароматных сосен сороки-воровки. Выделывают замысловатые пируэты в двадцать семь колен услужливые поклонники дикой орхидеи — шалашники и добросовестные трудяги жерляночки. Повиснув на пушистых вётрах, подсвистывают сами себе совершенно не знакомые ни с парижским балетом, ни с бальными менюэтами северной Пальмиры, ни вообще с какой бы то ни было светской хореографией сельские девчонки-коноплянки, а с ними вместе стрижи, чижи да соловьи-разбойники. Все — в армяках, зипунах и поддёрках.

Неумело разевая рот, сипло, козлетоном пытается подпевать голосистым солистам обычно поющий только для себя козодой, прозванный в народе полуночник. Его странный хрип умело передразнивает известная пародистка всех птичьих голосов — невзрачная птичка-сойка. Которая, между прочим, при всей своей невзрачности первая предупредила породистых вождей леса, а следом и вообще весь животный электорат в округе, начиная от ничтожных муравьёв до аристократичных лосей-рогоносцев: на горизонте люди, будьте бдительны!

О блеске-лоске царского котла, диковинных нарядах двуногих существ, упряжи лошадей и ослепительно сияющей после мытья дворцовой посуде неумолчно трещат, облюбовав тополь да орешник, остроглазые насмешницы-одесситки — синицы. Сплетничают они, привычно глотая «р», судачат, нехотя деля свою «коммуналку» с не очень-то опрятными толстыми кишинёвскими тётками

— воробьями. Эвакуированными с последним приднестровским эшелонном после сумасшедшей грозы и допущенными сюда, в новую зону умеренного земледелия, сугубо в порядке исключения.

Верноподданной фауне и флоре гулко напоминают о себе из чащи леса истовые блюстители древних нравов — при любой погоде укутанные в тёмные похоронные платки деды и бабки — парующиеся кукушка, сова, филин, дятел и шалашник. Призывая в первую очередь лёгкую птичью кавалерию сразу же после окончания нежданного пикника валить к ним туда, в чащу, чтобы досконально, до буквы, до йоты, до последней запятой и ноты отчитаться перед начальством обо всём увиденном, услышанном, удивившем, непонятом и впечатлившем. Зачем? А затем! Пригодится. Молоды вы ещё и зелены, как, простите-с, гусиное гуно, нам, пожилым, ветеранам Чесменской битвы, почётным сеньорам и сеньоритам Итальянской оперы, такие вопросы задавать. Для житейского опыта! Чтобы лучше знать, как себя вести с бесклювыми, слабо видящими по сравнению с птицами, но такими же захапистыми, горластыми, коварными и беспощадными, как орлы и кондоры, двуногими бледнолицыми существами. Да-да, вон с теми, кто сейчас — вы только посмотрите на них, бессовестных! — вихляясь, как в припадке, избочениваясь, вытанцовывают какую-то «барыню», невиданную и неслыханную доселе на древних наших берегах.

Особенно упорствовала на немедленном прибытии легкокрылой делегации к верховным зрителям и фактическим держателям всей лесной жилплощади, второй месяц как сидящая на безводной диете, главная жрица бора признанная гадалка и убеждённая бобылка — сова. Удивительно напоминающая своим нетрадиционным маскировочным оперением другого крупного воздухоплавающего — сомалийского комара-москита. А жгуче-жёлтыми тигриными глазами — печально известного ультра-революционера по конспиративной кличке Коба.

Кстати, эта сова-весталка, после того памятного нашествия в лес великой Екатерины, ещё двести двадцать лет и два года так и проухала всё на том же месте (кто не верит, пусть съездит в Сулимск, проверит). Пока не околела от левостороннего инсульта. Всем интересующимся об этом подробно расскажут в нашем краеведческом музее. Вы только спросите, когда будете там, про эту лысую страхолюдину. Первейшую блюстительницу пуританских нравов и классической великобританской морали, принципов восточной

монархии и тибетских канонов Далай-ламы, палочной прусской дисциплины и старославянского домостроя. Перепугавшую до заикания три века назад своим безобразным, чумарудным видом даже бывалых фронтовиков, участников боёв со шведами под Полтавой мужиков-корабелов, петровских плотников, приглядевших было красавицу — идеально прямоствольную сосну, где гнездилась та сова, под грот-мачту для первого отечественного струга. Приглядели...

Понадобится Ленский расстрел, Ходынка, Кровавое воскресенье, поп Гапон, свержение самодержавия, крейсер «Варяг», Кронштадт, февральская, Великая Октябрьская социалистическая с «Авророй», затем полная и окончательная победа Кубинской революции, чтобы всегда сочувствовавшая интернациональной вольнице — Жанне Д'Арк, Наполеону, Ганнибалу, Боливару, Кромвелю, Марату, Щорсу, Чапаеву, Котовскому, Кочубею, Бандере, Че Геваре, Чапаеву, Лазо, Рокоссовскому и другим русским, французским, английским, латиноамериканским полководцам, воителям, лупоглазая бабка Йошка стала наконец в ловких руках местного охотника чучелом. И по сей день скалящимся на детишек, вообще всех посетителей Сулимского краеведческого музея, вставными, как у индийской кобры, клыками, и неестественно выпученными охранными — цвета первомайских фасадов — буркалами.

...Опасаясь уже накрапывавшего дождя, непроезжей колеи и хляби небесной, царский обоз шустро стал сворачивать бивак. Слава те, Господи, Сама отказалась от горячего обеда, повелев подать ей в карету только жульен, канапе, кляйне бротхен, глиссэ, фрикасе, грильж да монпансье. Да, ещё — карамельки и шоколадные конфеты в коробочках — для щебечущих фрейлин. Девкам — квас; царице — графинчик мадеры и полуштоф медовушки. Для себя и подружки ближайшей — Маньки Перекусихиной.

Придворные горничные, прачки и поварихи, «лётая» по огромной поляне с озабоченным видом, умышленно нарывались на осязательные щипки корявых кучерских лапищ. Деланно при этом вскрикивали, попискивали или похотывали, замедленно отбиваясь от юрко проникающих под бабский подол шупалец осьминогов. Но не забывали, флиртуя, о деле. Сноровисто забрасывали на подводы казённое имущество, как-то: одежду, обувь, а с ними вместе — перины, подушки, простыни, покрывала, одеяла, платки. Ещё казаны, треноги, чаны, плошки разного калибра. А к ним до купы чашки, кружки, миски, ложки... Барахла хватало.

Подрагивая сытыми крупами, довольно вспрядывали, охотно ржали готовые к продолжению похода кони — дончаки и орловские рысаки. Лошади отборные, окраса самого разного, какой только придумала изобретательница-природа: чёрные, белые, пепельно-серые, гнедые в яблоках, рябые, стальные, вороные. И кобылы, и кони, независимо от цвета кожи и расовой принадлежности, все до единого получили на лесной стоянке вдобавок к подножному корму ещё и по торбе добротного овса да по налитой до краёв казачкой цыберке (ведёрку) свежей ключевой воды. Заправились под завязку.

«Теперь, залётные, будем гнать до самого Харькова», — удобнее умащивались на козлах, облучках, скамеечках кучера, ямщики, извозчики.

А в Харькове-то одноглазый боярский завхоз (тиун) и вспомнил ближе к полночи о позабытой на берегу неприметной какой-то реки царской сумке. Нес... — как его, шут возьми? — вот, несесере! Что же теперь будет? Время за полночь, челядь вся, как убитая, спит-храпит по клетушкам да сеновалам придорожного подворья, сморенная хлопотами. Неужели прикажет царица-матушка после того, как одолели почти сотню поприщ, возвращаться? А там-то, в том Сулимске занюханном, которого и на карте не найдёшь, где бродить по лесу дикому? Кто отважится искать пропажу ночью тёмною, в незнакомых-то местах? Дай-кось, найду иконку Казанскую, помолиться ей, Заступнице, попрошу, спаси и сохрани, убереги от гнева и опалы всемогущественной...

«Со страхом верою и любовью преподающе пред честною иконою Твоею, молим тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит... Ты еси всемогущая христиан Помощница и Заступница, избави всех с верою Тебе молящихся от напрасныя смерти, исправления греховныя жизни, благодарне воспевающе величия Твоя ...», — усердно клал тридцать три земных поклона честный тиун.

И Бог миловал! Гром прогремел да отпустил — не стала ни с кого взыскивать всемогущая Екатерина за собственную, если честно признаться, промашку. Хотя и выказала досаду пополам с огорчением особо доверенной приближённой, давней наперснице Марии Перекусихиной:

— Вот он, Мань, весь наш шум, весь наш гам, бестолковщина

расейская наша, суета и сумятица к чему ведут. Так можно в следующий раз и голову потерять. Ладно!.. Тащи карты, раскинем пасьянсик на сон грядущий.

Спрятав ехидинку в глазах, благо, позволял поясной поклон, часто-часто согласно кивая, послушная, с виду, как монахиня, а изнутри строптивая фаворитка про себя зло посмеивалась: «Ну, какая ты была, такая и осталась растеряша. Григория бы хоть теперь не проворонила! Ах, ети ваш кошкин дом, Твоё величество!»

* * *

— Царский поезд продолжал свой дальнейший путь в Таврику, как в те времена именовалась прекрасная Крымская Таврида, знакомиться с новыми землями и, прежде всего, красавцем Севастополем, — благородно сложив руки на груди, слабо улыбается плохо, невнимательно слушающим её школьникам-экскурсантам дорогая моя безропотная мамуля.

Она — гид краеведческого музея со сказочным стажем. (От неё услышал я всю эту историю ещё лет в семь в первый раз, а потом, в повторе, перенимал до тех пор, пока не заучил назубок).

— Река, где случилось не столь уж значительное для императрицы, но весьма значительное для нас, её потомков, происшествие, тогда-то и получила сохранившееся до нынешнего времени название — Сумка. («Хорошо хоть не Несессер», — думаю я!). — Хотя... — делает заученную паузу мама, обводя любопытствующим взглядом группу школяров, — у многих местных знатоков-краеведов есть другие на этот счёт версии, и довольно любопытные. Вы их наверняка слышали. Пожалуйста, можете сейчас поделиться, мы с интересом слушаем.

Собранная воедино группа пересемешников, учеников пятых-седьмых классов из школьного лагеря дневного пребывания, нахохлено застыла и, посапывая, помалкивает. Эти ребята и своих-то учителей никогда ни о чём не спрашивают. А уж возникать тут, в каком-то музее? Но, вообще... Может, правда приколоться, что ль? Пусть ей будет приятно. Тётка эта, экскурсовод, гля, больше часа водила по всем залам, столько всего порассказала. И так, вроде, не вредная. Можно!

— А это... Сумку-то царскую так и не нашли? — интересуется главным вопросом кто-то из подростков, музейных гостей.

И маме в который раз придётся изображать ответ экспромтом,

хотя готова она к нему с первой же своей, подготовленной ещё в студенческие времена лекции, когда подрабатывала тут в каникулы на третьем курсе педагогического института.

— Понимаете, друзья мои! Поскольку в дорожном, походном, как мы бы сейчас сказали, чемоданчике императрицы не было ни злата-серебра, ни камней драгоценных, потеря оказалась невелика. Если о чём и горевала Её величество, то, как мне думается, несколько об ином. О том, что утрачена последняя вещественная связь у неё, немки по рождению, Софьи-Августы, с милым городком детства Штеттином, где добросовестные кожевники постарались изготовить такой замечательный несессер. А уж плакаться о копеечном убытке при царицынских-то несчётных бриллиантах — вы меня извините.

Нет, никто из прислуги на поиски сумки отправлен не был. Может, многомудрая, всегда видящая далеко вперёд Екатерина и здесь рассчитывала на то, что, возвращаясь этим же путём через парутройку недель, найдёт позабытый ридикюль на песчаном берегу в том безлюдном смешанном лесу. Но, нет. Не случилось.

«Готт мит унс!» («С нами Бог!»), — наверняка шептала тогда набожная императрица, прощая себе, женщине, как утверждает историк Ключевский, с малых лет неряшливой и безалаберной, очередную потерю. С нами Бог и Бог с ней, той сумкой. Что же теперь прикажете, встать на колени посреди разъезженного почтового тракта и выть на луну, посыпая голову пеплом? Да мало ли мы в своей жизни всякого-разного теряем, порой начиная всё вообще с нуля. И ничего, выкарабкиваемся. А будь одни только накопления, прибывки, приобретения, без потерь, полноте, на что же тогда такое скучное бытие было бы похоже?

А потому:

— Сума, сума, служи ты сама, скажи капитану, что служить я не стану! — приплясывая, как те птицы на ветках, пели-распевали только что сочинённые частушки в развесёлом таборе императрицы слуги и служанки.

А везла Екатерина с собой только горничных сорок душ. Из которых ни одна не токмо проговорить вслух, думать бы не посмела, что она личиком блее, румяней и нежнее тронутой заметными морщинками увядания грозной в гневе царицы. Попасть в немилость самодержице — что пропасть, так уж лучше и глаз на её светлость выше каблуков не поднимать...

И об этом говорила мне мама, конечно, подростку, которому не стало уже хватать на руках пальчиков, чтобы показать, сколько ребёнку лет. А когда сам стал историком и отцом, я рассказывал мамини легенды своим детям, её внукам. Придерживая одну версию до поры. Вот какую.

Хорошо зная повадки дюже охочих до чужого добра дорогих моих земляков, в большинстве своём отъявленной бедноты и босоты, у которой и нищая сума — дырявая, уверяю, они бы, все до единого, без лопат и тяпок, вручную перерыли всю Воронью гору, от глинистой подошвы до гранитного пика, знай, что в Екатерининской сумке среди дамских штучек-дрючек завалялась хотя бы парочка колечек блестящих или камешков драгоценных, называемых волнующим словом яхонты. У-у, и тогда, в восемнадцатом-восемнадцатом веке, такие лихие малые здесь жили! От их семени уходило в жизнь новое, такое же басурманистое племя. Не посеянное ли невзначай огнедышащими степными кочевниками, неуёмными в преступной любви к похищенным и притороченным поперёк потёртого седла наложницам?

Копая архивы Гражданской войны, случившейся два столетия спустя после царствования Екатерины, наткнулся на любопытнейшие бумаги. В них Председатель Совета Народных Комиссаров (вот такой титул, всё с большой буквы) В. И. Ульянов-Ленин, весь в гневе, что чувствовалось по рваному почерку и отдельным недописанным словам, поручал лично Председателю Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК, с 1922 года ГПУ, ОГПУ), одновременно народному комиссару внутренних дел и наркому путей сообщения Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому (лично, это слово подчёркнуто и сопровождается тремя восклицательными знаками, как тремя ударами кулаком по столу) немедленно разобраться и срочно доложить о нижеследующем.

Когда и куда делся целый эшелон с продовольствием, медикаментами и боеприпасами, следовавший через узловую станцию Сулимск на помощь осаждённому беляками городу Царицыну. Какие-то жалкие два часа простоял тогда состав у входных семафоров, в ожидании подзаправки паровоза угольком, водой, проверки букс, колёсных пар и пересменки машинистов с кочегарами — как, пожалте, трудовая рука рабочего класса, безвозмездно протянутая из Москвы героям-красногвардейцам, словно отсечённая, повисла в воздухе. Без ответа?! По чьей милости?

— Г-газобгаться! Сгочно газобгаться и гастгелять подлецов!! Сгочно!!!, — подгоняли ленинские резолюции действия министра с тремя портфелями.

Представляю, как неделю спустя, «железный» Феликс (острая бородка ксёндза из католического храма к небу клинышком) стоял навытяжку в овальном Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца — в кабинете Предсовнаркома. Стоял в торце длинного прямоугольного стола (мебель конфискована у главы Временного правительства, этой политической пгоститутки Кегенского) и сокрушённо разводил руками. Тотальный розыск, предпринятый совместно с перешедшими на сторону победившей Рабоче-крестьянской Красной армии лучшими филёрами царской охраны желаемых результатов не дал. Начальник воровской станции Сулимск, некто Ряховский Пётр Рафаилович, одна тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года рождения, член ВКП(б) с одна тысяча девятьсот двадцатого года, хотя и пролетарского происхождения, сам из совслужащих, образование начальное, разведён, за преступную халатность, утерю революционной бдительности и, фактически, потворство бандитствующим элементам, по приговору РВС и военно-полевого трибунала... Приговор приведён в исполнение. Вся смена железнодорожников, которая готовила к отправке состав, заключена под стражу. Но пока играет в молчанку, ни в чём не сознаётся. Арестованы шесть человек, помещены до полного выяснения всех обстоятельств в «крытую». Да, тюрьма там надёжная, царского времени казематы. Их семья, как заложники, находятся под домашним арестом. Сгноим, Владимир Ильич, но признание выбьем! Ведь полгорода, представляете, Владимир Ильич, в том числе отдельные банковские служащие, сотрудники промартели «Вся власть Советам!», начальник лесопилки и заведующий плодоовощной базой, да что там начальство, даже многие безработные, вчерашняя сулимская беспорточная шваль, щеголяет теперь в разграбленных кавалерийских шинелях! Откуда? Откель, как говорится, у голи перекатной такие наряды?

Терпеливо дослушав рапорт самого пламенного революционера, утомлённый Ильич шумно вздохнул и своим неповторимым мягким картавым баритоном кгепко-кгепко выгугался. «Эх, батенька, а мы с вами собигаемся стгоить в этой стгане какое-то социалистическое госудагство!..»

Пятидесятилетний вождь привстал с мягкого Керенского гарни-

тура. Разминая затёкшие суставы, хищно потянулся. И, петляя, направился к незашторенному окну, откуда невидяще уставился на кремлёвский двор. Но не надолго. Вновь огорчённо вздохнул, пересяк по диагонали свой кабинет туда, потом обратно. Остановился в полушаге от ксён... Феликса, заложив кисти рук в кармашки польской жилетки и покачиваясь на носках. В характерной задумчивости прищурил на Дзержинского узковатые глаза, усиленно почесал в рыжеватой бородке. И приглушённо (вроде, как по-калмыцки,) запустил к потолку ещё одну виртуознейшую фиоритуру.

А 46-летний участник польского и российского революционно-го движения Ф. Э. Д., возвратившись в свой дом родной, на Лубянку, взволнованный, опустошённый, ещё и ещё раз перебирая в памяти недавний разговор с Ильичом, пришёл к выводу, что через неделю сам поедет в Сулимск. Непосредственно в «крытую». Вытащит в кабинет начальника тюрьмы на допрос всю эту паровозную банду. Всю до единого. Но не чохом, а по одному. И, для пущей важности открыто выложив маузер на стол, будет с каждым говорить столько, сколько потребуется, пусть до умопомрачения долго.

Да, внутреннее чутьё подсказывает, что это единственно правильный план. Именно так надо будет строить разговор с этими христопродавцами: тет-а-тет, наедине и — глаза в глаза. Беспощадно. Только, вот что: зачем их вызывать? Сам Феликс спустится в подвал, холера с ней, одолевающей чахоткой, всё равно помирать. И сам зайдёт в камеру-одиночку к каждому. Опыт есть: к нему точно так же для проведения допросов с пристрастием некогда заходили царские полковники и подполковники, эти обтянутые френчами и увешанные аксельбантами наглые жандармские морды. Во Владимирском центре.

И, никуда не денутся, выложат жалкие сулимские голодранцы всю правду, Матка Боска, как миленькие, выложат. Преподнесут, обделавшись от страха, все подробности организованного хищения революционной собственности, все детали, как на тарелочке. Кто организатор, кто исполнитель, кто сбытчик краденого... Всё расскажут. Если, конечно, не захотят отправиться к богу в рай, на свидание с Ряховским. Я им, пся крев, дулом маузера до гланд достану! Зубы вышибу! Дупу порву! Притащу в подвал жён заговорщиков, посажу их, сопливых, рядом, будут сидеть, стоять, ползать, рыдать, молчать, переживать и — слушать. Чуть что не так — дой-

дѣт дело и до жѣнок. Там есть в тюряге изголодавшиеся кобели, барбосы, бугаи-уголовники, которых учить не надо, как себя с бабами вести. Те ещё костоломы, холера им в бок! Убийцы, насильники, законченная шантрапа, бандюги отъявленные, у каждого руки по локти в крови, награбились в шайках-лейках ещё при Николашке. Сгодятся!

Приняв окончательное и бесповоротное решение, лучший друг беспризорников и первый враг отечественной буржуазии заказал себе стакан крепчайшего чая. Даже два стакана. Гранёных. Не имеется грубой посуды в наличии? Да что вы говорите? Найти! И, пожалуйста, без сахара, как пьёт весь простой трудовой народ. С морковным соком? Можно.

Гранёные стаканы не нашли. Отыскались просто толстые вместе со слегка позеленевшими увесистыми подстаканниками. Вся посуда — стеклянная, фарфоровая, фаянсовая, медная и мельхиоровая — конфискована из апартаментов Родзянко, одного из лидеров октябристов, который в 1911-1917 годах председательствовал в 3-й и 4-й Государственных Думах. Это он, Михаил Владимирович Родзянко, уже пребывая в эмиграции, написал воспоминания о России «Крушение империи». Где бы их теперь найти, его мемуары, почитать?

* * *

Речная лазурь, на которой ни морщинки, ни рябинки, нежная пастушья пастораль, раскинутая вокруг и около Екатерининского парка, хрупкость и прозрачность хрустального небосвода, обрамляющего речку Сумку, вся эта прелесть окончательно исчезает ближе к полудню. Создатель, с отечными кругами под впавшими от переживаний за беспутное человечество очами, именно в этот час разочарованно покидает благословенный уголок, безмолвно призывая последовать своему примеру и замерших над поплатками, словно коты на мартовских берёзах, рыбаей. Нечего им теперь тут делать!

Райский мыс Доброй Надежды ещё до той поры, пока солнце достигнет зенита, стал от берега до берега ну просто чернильной акваторией. Впечатление такое, что по прохладце, на заре прокрались сюда, в водоём, неизвестные сорвиголовы, сорок разбойников, затаились в кустах раkitника, намешали в колбах, а затем растворили в воде целый контейнер каких-то ядовитых чёрных, коричневых, лиловых химикатов, упакованных в таблетки или

разлитых в пузырьки из-под микстур. И превратили кристальный источник в загаженный омут, беспомощно хватаяющий глоточки воздуха, но всё равно астматически страдающий от удушья.

Сотворили эту большую бяку на реке мы, шкеты, урла, пацанва, извазюканные в иле и тине будущие хиппи, ирокезы, сорванцы и проказники, сотнями голов днюющие и только что не ночующие в свою каникулярную пору здесь, под сенью парка, на пляжных песках нашей Флориды, наших Канар, наших Канн, нашего Сочи и Коктебеля. О курортном великолепии этих далёких мест мы слышали. Но реального представления не имеем никакого, совершенно. Да и откуда ему взяться, представлению, у безденежных потомков сулимской нищеты в седьмом колене, самых что ни на есть низов — детей слесарей, каменщиков, башмачников, уборщиц, ткачих и ясельных нянечек. В лучшем случае — младших помощников старших бухгалтеров недоступного простому труженику какого-то там райфинотдела.

У нас какие развлечения? Штандер — со старым резиновым мячом и неутомимыми водящими, лапта, футбол («только не коваться») с утра и до заката солнца, самодельные городки да прыжки с вышки-волнореза с последующими ныряниями от берега до берега Сумки на дальность и глубину. И так — каждый Божий день. До синевы, до хрипоты и чуть ли не отёка лёгких. У тех пацанов, кто постарше, есть ещё одна клёвая забава, салки. Это та ещё игра! Шальные руки шныряют под прикрытием воды в поисках форм быстро обретающих заветную женскую статью девчонок-русалок неутомимо и яростно. Только в салках можно с самым невинным видом, под благовидным предлогом, вдосталь прихватывать наших подружек спереди и сзади, вроде обучая плавать, «топить», легонько придерживая за теннисные округлости, вроде обучая нырять, догонять и обгонять, опять же соприкасаясь с упругостями шара, овала, дыньки, мячиков... Ох, какое же это сумасшедшее наслаждение! В предвкушении его, не чаешь минуты, когда можно, не особо признаваясь в истинном намерении даже самому себе, задрать штаны, бежать на реку с парой сорванных по пути антоновок в карманах. А вечером, купаясь в воспоминаниях, ещё и ещё разок переживать дневные наслаждения в нетерпеливом ожидании предстоящего нового утра.

Интересно, кстати, а у них, подружек наших, на этот счёт такие мысли? Такие же? И такой же, огнём от страсти брызжущий, рас-

калённый матрас под животом?

Но сегодня невезуха; сеет с небольшими перерывами мелкий дождь, разгулялся и никак не успокоится сиверко-ветерок, надутый, наверное, в наш край с Аляски завистливыми мореплавателями-эскимосами или претендующими на такое же июльское лето вечно холодными оленеводами-чукчами. И из всех пляжных удовольствий остаётся только одно: стоя в некотором отдалении, наблюдать, как жарятся под пластиковым навесом в карты — подкидного дурака — наши кумиры, легендарные футболисты впервые появившейся в Сулимске команды класса «Б». Отдалённые от простых смертных невидимой чертой молодые воспитанники спортивных клубов и «аксакалы», собранные воедино в «Локомотив» со всего света с бору по сосенке. Это уже возрастные пираты, мужики пьющие, курящие, списанные по возрасту или из-за утраты игрового мастерства из других команд, классом повыше. Но где найти в Сулимске доморощенных Пеле и Яшиных? Пусть уж хоть такие, ущербные, контрафактные, да постоянные ландскнехты, чем готовые сбежать в любой день, зарящиеся на первый дивизион, тем более, на премьер-лигу, готовые за лишнюю тыщу баксов тут же бросить свой дом и отправиться играть куда угодно под чужим спортивным флагом местные дарования. Потерпим, пока свои настоящие патриоты подберутся. А эти варяги — прожжённые абордажники — лишь бы отработывали зарплату, разгромно не проигрывали и удерживались хоть на краешке пропасти от вылета из своей группы. А на содержание игроков да тренеров у всемогущего руководства такого огромного железнодорожного узла, как Сулимск, которых и насчитывается всего-то три на всё эмпээс, то есть министерство путей сообщения, дензнаков хватит. Зато, какой фурор: своя команда! Кто её владелец? О! Сулимское отделение дороги? Мужики-ки! Дорогим властелинам стальных магистралей — полнейший респект и реверанс за понимание и поддержку. «Зелёный свет» во всём, что ни пожелаете.

Яростно, как и на «поляне», сражается без козырей, зато с полным ассорти дам, королей и тузов в обеих руках центральный защитник «Локомотива» Яша Микадзе. Тот ещё громила, по кликухе «гипсик». Сколько было встречено им в штыковую нападающих вражеских команд — не счесть, сколько из них месяцами потом валялись на больничных койках, восстанавливаясь, Яша тоже статистику не вёл. Сантименты не по его части. Вот и сейчас. Кажет-

ся, ещё миг, и слетит у азартного стоппера из-под носа полоска узеньких, хищно нацеленных на противника усов. А на бёдрах лопнут туго обтягивающие гренадерской формы содержимое плавки. Но, нет. Яша держится, не сдаётся, раздавая шлепки крапчатой рубашкой каждой карты по колоде отбоя, как пощёчины. И по-грузински — вах! вах! — восторгаясь самим собой.

— Яша! — многозначительно повожу я глазами в сторону его густоволосого паха, откуда производит откровенное впечатление на зрителей, среди которых лукаво постреливающие глазками девчонки, могучее произведение Фаберже. — Слышишь, Яш, вылезло вон, спрячь!

— Что вылезло! Пач-ч-ему вылезло!, — не спрашивает, а утверждает, добывая партнёра, в горячке ничего не понимающий, суть слов не воспринимающий центральной защитник команды — Пусть вылезло, пусть не вылезло, ми всё равно вииграэм, земляк!

На новый кон тасует карты Витёк Седов, самый реактивный фоккер «Локомотива», его лучший забивала, «девятка». Наш, чистокровно наш сулимский парень с Привокзальной площади. Он аккуратно подстрижен, черноволос, на выразительном его мужском лице по моде выступает лёгкая щетина, удачно прикрывая чутко выпяченную нижнюю челюсть (фанаты на чужих стадионах дразнят его, сволочи, «чита»). Витю в каждом матче тоже ломают, лупят по бёдрам, голеням и ступням, а, когда судья не видит, бьют по рёбрам, под дых, не дай Бог как бьют бездарные ломовики из противоборствующих команд. Особенно, когда «Локомотив» играет на выезде. Но чёрта с два он поддастся на провокацию злорадствующих бандеровцев. Витя их сделает по игре, вначале накрутив двоих-троих на бровке, а затем усадив на площадке штрафной вместе с кипером на ту самую пятую точку, которая легко рифмуется со словом Европа... И — вмазав от души голице под самую слегу. Пусть теперь порадуются! Сами вы читы!

Каждый раз, когда у Виктора тренировка, спортивную сумку его по очереди тащим до базы «Локомотива» мы с дружкой моим, Мишкой Гридневым. Встречаем Витюху у выхода из парка. И, в один день до стадиона несёт кофр центрфорварда, скажем, я. А обратно, с тренировки, Мишка. В другой день мы меняемся с Михой ношей и маршрутами. И как же классно, если встретятся нам на пути свои ребята со школы или, ещё лучше, улыбчивая моя одноклассница Алинка. Так забавно она каждый раз удивляется, увидев, насколько

по-деловому, прытко, по-спортивному чешем мы, отрывисто переговариваясь, с раздутым двухцветным импортным баулом на плечах!

Не миновать потом расспросов: «Вы что, ребята, правда, что ль, в дубле «Локомотива» играете?» А мы в ответ так это небрежно, с форсом: «Да, пинаем маленько пятнистый». Не признаваться же в истине — мячи на тренировках из-за ворот подаём...

В прошлом году, в августовский, козырный для Сулимска после яблочного Спаса праздник, День железнодорожника, когда хозяева «Локомотива» расстарались и каким-то чудом завлекли на игру киевское «Динамо», что творилось на стадионе и подступах к нему! Седобородые болельщики смеялись: со Дня Победы такого столпотворения в городе не было...

Ну, а как ему не быть, столпотворению, когда приехал в наш заштатный Хацапетовск весь звёздный состав киевлян той, той ещё поры. А Сулимску если и есть что показать дорогим гостям из достопримечательностей, так это, кроме могучей железнодорожной станции — ворот в Европу — разве что краеведческий музей с уже известной нам красавицей Совой, которая навсегда отхохоталась как раз в канун поголовной борьбы с кулачеством на селе, коллективизации... Впрочем, погодите — погодите! Вот вам ещё одна достопримечательность, да какая! Знакомьтесь, пожалуйста: перед вами живёхонький и здоровёхонький, несмотря на свой ого-го, какой возраст, наш дорогой земляк, тот самый легендарный генерал-майор в отставке, а в годы Великой Отечественной член нелегального ЦК КП(б) Украины, кавалер четырёх орденов Ленина, Хмельницкого 1-й степени, Суворова 2-й степени, участник империалистической, за проявленную храбрость лично награждённый царём Николаем Георгиевским крестом, дважды Герой, прославленный партизанский батяка Сидор Артемьевич Ковпак, громивший со своей лесной армией фрицев от Путивля до Карпат... Специально приехал в свой родной город, город его молодости на сегодняшнюю игру, личным примером здоровый образ жизни, знаете ли — понимаете ли, поддержать. Пожалуйста, Сидор Артемьевич, ваше напутствие спортсменам.

— Здорово, товарищи футболисты! Пламенный привет вам от всех моих бывших партизан и от меня лично!..

Сплошной стон, рёв и восторженный вой стояли на трибунах, когда динамовцы выбегали ещё только на разминку. Рыжий-рыжий-

конопатый Валерий Лобановский, потом, в первой же пятиминутке, закрутил сухим листом мяч с углового удара — а-ак-куратненько в стык стойки с верхней штангой, снял «паутинку». Один-ноль. Лёгонький, словно ветерок, пошёл чесать чисто поле молчаливый брюнет Виктор Каневский. Показывал, как надо по-честному пахать, отработывая свою бровку, защитник Вася Рац. Был элегантен, как Ив Монтан, при выполнении штрафных Олег Базилевич. (Вот уж, поистине, чем дольше живёшь на свете, тем больше убеждаешься: кому что суждено. Судьба-злодейка, а жизнь копейка, это из той же астрологической оперы. По истечении десятка лет судьба фантастически уберёжёт Олега Петровича Базилевича, когда он, уже старший тренер узбекского «Пахтакора», останется из-за простуды дома, в Ташкенте. А на матч с донецким «Шахтёром» полетит второй тренер. И ему, к несчастью, суждено будет погибнуть. Вместе с футбольной командой, со всеми пассажирами и экипажем неподалёку от малой родины густобрового генсека Л. И. Брежнева — города Днепродзержинска. Из-за невесть по какой причине приключившейся авиакатастрофы. Очень глухо, неохотно вспоминаемой. И до конца, до полной ясности так и оставшейся не расследованной.)

Андрей Биба, Иожеф Сабо. Уже выходивший в тираж, тяжело-весный для полузащитника Юрий Воинов. Который, тем не менее, в прыжке, артистично, в настоящем акробатическом прыжке — по-бразильски, с переворотом (и это в его тогдашние тридцать пять!) — сделает из-за пределов штрафной счёт 2:0. Не в нашу пользу.

Но потом с центра случайно получит мяч от капитана, Алика Аверченко, горганно матерящий на родном языке всех встречаемых — поперечных динамовцев, непонятно почему перебежавший со своей на чужую половину поля защитник Яша Микадзе. Яша тут же отпасует мяч выходящему на противоход зло сомкнувшему скулы Вите Седову. И зайдётся Яша в безумном танце, переходящем из кабардинки в пляску святого Витта, увидев, как смертельным для вратаря низовым ударом с пыра вонзит мячик в динамовскую сетку жаждущий реванша наш кумир! Девяточка! Витя Седов.

Разномастный люд честной, заполнивший дощатые трибуны стадиона под завяз, представители различных профессий и конфессий, словно в один миг подброшенные пружинной сеткой на багуде, вскочили со своих мест. Благодарно задыхаясь, захлёбываясь от восторга, трепеща в пароксизмах неутолённого азарта, обнялись за

плечи. И дружно, кто-то так и со слезами на глазах, запели «Ще не вмерла Украина». Потом — под сальце — согласованно выпили кто что пронёс прямо из горла (тогда с этим делом было помягче). И долго ещё, весь второй тайм, когда счёт стал вовсе неприличный — 4:1, хрипя, сипя, надрываясь орала, визжали. вопили нечто нечленораздельное, кидая на беговую дорожку, в проходы и друг в друга кепки, шляпы, картузы, окурки, стариковские панамы и мятые картонки из-под мороженого.

Отъявленный хулиган Сенька Ряховский — достойный правнук расстрелянного чекистами воровского начальника станции — сидя за скамейкой наших запасных, попытался под шумок затеять драку с представителями динамовского лагеря. И таки попал их заводиле, крепко сложенному, зычно подбадривающему своих кирпату дядьке-киевлянину украденным женским зонтиком прямо в нос. Пустил гостю юшку. Не робкого десятка крутоплечий дядька, воинственно задрал и так до смешного курносый свой нос, тут же закатал рукава и, по-бойцовски пыхтя, отвратительно бранясь, пустился в ответную атаку, жилистым кулаком своим, размером с грушу-трёхфунтовку, попав Сеньке вначале под один глаз, потом под второй глаз... И сделав из хвастливого матадора жалкого клоуна. Для бедного на зрелища Сулимска то был, действительно, матч века, о котором старожилы вспоминают поныне.

Витю Седова киевский тренер признал лучшим игроком встречи. И тут же полетела по ненасытному на сенсации Сулимску параша, будто Витька — всё, тью-тю, прощай «Локомотив», уже и новый чемодан с динамовской формой ему выдали — с понедельника играет в «Динамо», вместо Воинова.

Сам Юрий Николаевич Воинов (1931—2003) на самом деле, перед прощальным банкетом в салон-вагоне начальника Сулимского отделения железной дороги (серьёзные дела надо обговаривать только в трезвом виде, а не по пьяной лавочке), получил официальное предложение от наших власть предержащих мундиров стать тренером «Локомотива» — основы и дубля. Задача понятная: поставить команде надёжную игру. Ему, участнику чемпионата мира 1958 года, включённому тогда же в состав символической сборной мира, это вполне по силам. Бытовые условия чёткие: квартира, машина, трудоустройство жены. Но тренеру отработать два сезона с оплатой, помимо максимального оклада, двумя списанными «Волгами» на бонус. Одну получит от железняков, железнодорожни-

ков, другую — из особого резерва горисполкома. На которой раньше ездил встречаться со школьниками, студентами вузов и техникумов исправно навещающий родной город Сидор Артёмович Ковпак. Обе «Волги» в приличном состоянии (Мишки Гриднева отец работал заведующим гаражом в горисполкоме, всё знал). Но для виду и успокоения злых языков обе тачки будут малость покоцанные (бампер, крылья), чтоб совсем уж не походить на новые.

Воинов, после некоторого раздумья, а что тут особо-то думать, когда печально светит очевидное увольнение в запас и свойственное всем людям его профессии скорое болейщицкое забытьё, примет это предложение. Хотя, понятно, как скучал по своей шикарной трёхкомнатной квартире на каштановом Владимирском спуске — предтече Крещатика...

Да, Сумка-река, как Днепр и Десна, как Амур и Дунай, унесла в своей неистощимой памяти немало хорошего и плохого. Симпатичного и неприятного. Всякого... Я неспешно перебираю в памяти многие события детских и взрослых лет, сидя рядом с невероятно красивой незнакомкой — чеченской девушкой — на жёсткой лавке махачкалинского аэропорта «Уйташ», который покидаю после очередной научной командировки. Сижу в ожидании регистрации пассажиров на московский борт «тушки». Заняться больше нечем, кроме как предаваться воспоминаниям. По гладким плиткам мозаичного пола (ума нужно совсем не иметь ни заказчикам этой опасной скользоты, ни бездумным строителям-исполнителям их прихоти) носится чья-то девочка, лет пяти, держа в одной руке зелёную мягкую игрушку-мартышку, в другой — какую-то ватрушку, с осыпающимися ванилиновыми крошками. Она с удовольствием, как по льду, прокладывает себе скоростные дорожки в разных направлениях, а у меня сердце замирает: ну, вдруг бабахнется. Костей не соберёт. Вероятность же падения тем более, что у девочки пол-лица занимают очки, правый окуляр которых плотно залеплен марлевым тампоном. Всё понятно: у малышки глазная болезнь — амблиопия. В таких случаях здоровый глазик периодически надёжно прикрывают, не позволяя открывать, и тогда больной глаз вынужденно «тянет» нагрузку за двоих, вытягивая ослабевшее зрение. Я откуда знаю? Моего младшего сынишку в своё время лечили точно так же.

А вот дочери футболиста Виктора Седова, кумира моих детских лет — по невероятной, сумасшедшим образом всплывшей вдруг

ассоциации приходит внезапно эта мысль — ничто уже не поможет выправить глазик. Как он только умудрился, совершенно не пьющий человек, при любой погоде в жизни сдержанный, на футбольном поле неизменно корректный, попасть в такую беду, одному Создателю ведомо. Но попал. Обычная у него была ссора с женой, привычное выяснение отношений, которое супружница, та ещё тюха деревенская, затеяла с утра пораньше. И затеяла совершенно нектати, перед тем, как отвести девочку в детский садик, а мужа проводить на тренировочные сборы. Слово по слову, пальцем по столу, визгливый бабий упрёк за упрёком, истеричный укор за укором. Беспредельная сцена ревности на пустом месте. Обычно спокойный, невозмутимый Витя, очумев от несправедливости — «Ты где ищешь дерьмо, дура, там где его нет?» — взорвался, психанул, заорал. И, схватив со стола первый подвернувшийся предмет — чайную ложечку, в сердцах запустил в жену. Промахнулся — да вонзилось острие жалко всхлипнувшей Анечке точно в глазницу...

Черноволосый от рождения, улыбчивый и приветливый Виктор после судебного приговора — какой-то срок ему дали условно — изменился на глазах. И не только потому, что, как выбелили его, в считанные месяцы стал совсем седым. Повесил бутсы на гвоздь. Ни на улице, ни во дворе не поднимал ни на кого глаз, быстро проходя мимо знакомых, ни с кем из них, даже со вчерашними, по правде преданными обожателями, не здороваясь. Дни напролёт, даже в законные выходные, торчал в келейке комбината бытового обслуживания, в самой дальней келейке, где трудился его отец, часовых дел мастер. Теперь батькину профессию перенимал сын. Замкнувшийся в своём несчастье Витя Седов, которого недавно прочили центрфорвардом в легендарное киевское «Динамо». Ещё через пару лет напарником к Виктору пришёл тоже закончивший свой спортивный век лысый, как коленка, Алик Аверченко. Не знаю, живы ли они сейчас?..

Продолжал ещё играть из их поколения — чаще на заменах — один только Яша Микадзе. И тоже вот судьба у человека! Хотя, может, (прости меня, Господи, за грешные мысли, за святотатство) воздал ему так сурово всевидящий Сам — за исподтишка, каверзно, умышленно переломанные Яшей ноги футболистов, имевших несчастье попасть под «Гипсика» — известного локомотивского пакостника с чугунными колотухами. Проклинавших потом не раз, до самого конца карьеры, усатого сулимского костолома.

Яша любил париться в Шульмановской бане всякий свободный от игр и тренировок день. Сгонял там паром и веничками быстро набегавший вес. Порой веселился в кругу доступных девочек. Нередко оттягивался среди наезжавших генацвале, устроителей необычных юбилеев. И братался на полке только-только входившей тогда в моду сауне просто со случайными друзьями — приятелями, которых у людей большого спорта, как известно, каждый второй. Но вздумалась же Яше, взрослому и далеко не глупому человеку, на следующий после одной победной игры день, когда он нежданно-негаданно даже для самого себя закатил, играя на выезде, гол с дальнего удара, такая блажь. Аккуратненько, как он считал, без врачей и медсестёр, самолично избавиться с помощью безопасного лезвия от давно досаждавшей крупной бородавки подмышкой. Распарился до красна, окунул бритовку во флакончик с «Шипром» — и чикнул... Хоронить его увезли на родину — не помню, то ли в Телави, то ли в Кутаиси.

Моя прелестная незнакомка, вся в чёрном и длинном, по-горски плавно покачивая бёдрами, отправляется к окошку регистрации первой. Девочку с амблиопией родители ведут следом. А уж я за ними, не сводя глаз с гибкой талии чеченки. Ну надо же было уродиться где-то в глухих горах такому идеальному созданию, такой красе. В Лувр бы её, в Прадо, Версаль, Эрмитаж... Хотя бы рядом оказались наши места в самолёте, господи, помоги, ты же всё можешь! А уж там мне, как композитору Юрию Саульскому в восемьдесят лет, только бы вместе с дамой до рояля добраться, заиграю, уболтаю. Скажу, например, для начала, вот, мол, коль летим вместе, давайте себе представим, что мы на пути в Америку, мы первые английские колонисты. И воздушный наш корабль не корабль, а мореходное судно «Мэйфлауэр». Вам, простите, доводилось, конечно, бывать в Америке? А в Англии? Нет? У-у. Тогда послушайте... Между прочим, нежным разрезом удлинённых глаз, локонком волнистой завитушечки на изящной шейке незнакомая мне пока девушка так напоминает Алину. Именно ту Алину, школьную Алинушку, в её шестнадцать. А не Алевтину Петровну сегодняшнюю, с тремя золотыми цепями, навешенными вдоль и поперёк намного выдающейся из кофты с блёстками-бабочками груди. (Какое же скобарство, какая пакость все эти блёсточки!).

* * *

Совершеннолетнему населению, выбравшему для отдыха песочный бережок Сумки, долго сосуществовать по соседству с оглашенной детворой не удаётся. К чему подвергать себя пытке? Эта битком набитая серебряной мелюзгой мальчишек и девчонок речная бочка и так уже задыхается от их дальних и ближних заплывов. Под непрекращающийся гогот, визги, крики, бешеные брыкания и ныряния, свист, безжалостное брызганье одних, давно сидящих в воде, и истошные вопли других, людей обрызганных, только-только пугливо входящих в реку. Отчаянные салки, свалки, догонялки, жмурки, прятки, латки...

И нет на немереных просторах бывшего СССР, а нынешнего Содружества Независимых Государств такой силы, начиная от заполярных порогов и до уральских отрогов, которая способна была бы остановить этот пляжный шабаш. К некоторому изумлению провозвестников дождя — кучевых облаков, которые вкуче с перистыми белокрылыми лошадками не так давно отплясывали здесь же, над головами «каникуляристов», свой разгонный канкан.

Лишь сидящие неподалёку от центра вакханалии, на крохотном Дикарском острове, мои друзья, всегда по-особому воспринимающие устройство нашего несовершенного мира, особенности, сложности и свои его механизмы — бывшие поэты-концептуалисты Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн и, особенно, Тимур Кибиров, без эмоций, философски взирают на пустоголовых, самодовольных чад, вздымающих мутные волны. Но у Тимура всё же чуть морщится чело, под которым рождаются строки будущей поэмы:

*Дети страшеньких лет забуревшей России,
Фантомасом возвращённый помёт,
В рукавах пиджаков мы портвейн пронесли,
Пили, ленинский сдавши зачёт.*

*И отцов поносили, Высоцкого пели,
Тротуары клешами мели.
И росли на дрожжах, но взрослеть не взрослели,
До сих пор повзрослеть не смогли...*

Всё было в кайф на отданном нам без боя спешившимися родителями безмятежном песчаном берегу. Закрывали небо до звёзд

пирамидальные тополя, под стволами которых мы спешно, уже в конвульсиях нервной дрожи от предстоящих близких объятий реки сбрасывали с себя брючата, спортивные трико, рубашки, майки, трусы, обувь, торопясь в плавках (сбоку на тесёмочках) к вышке-трамплину в «море». Согревала, как мать, посиневших ныряльщиков раскалённая от солнца каменистая коса Дикого островка — прибежище поэтов, наркош и картёжников. Тосковали у железных клеток женских раздевалок несчастные любители подсматривать дамские прелести, все на одно лицо — бледноватые, чахловатые эротоманы, у которых оловянные глазки вспыхивали живым огнём только если удавалось зеницей ока сфотографировать обнажённые бугорки и кустики очередной Евы, представительницы запрещённого соглядатаям рая.

И я однажды на пляже незаметно подсунул в кармашек Алёниного сарафана записанные моей рукой, но сочинённые умницей Лёвой строки: «Мне приснилась неба пустота. В ней с тобой мы потерялись оба. Ты сказала: “Ласточка вон та будет помнить нас теперь до гроба”...»

И хотя ничего подобного моя одноклассница и «однопартница», моя любовь с первого класса, если не с детсадовского горшка Алина Мисевра (бабушка-гречанка в роду!) не говорила и близко, как благодарно посмотрела она тогда на меня... Мама моя! Сколько жить — столько помнить этот взгляд. Честное слово. Если бы не тот злосчастный день...

Из радиуропора, установленного в парке на пограничной с пляжем территории, бодро сыпались позывные только-только начавшего своё появления в эфире «Маяка». И удивительно кокетливый голосок диктора-ведущей, то и дело прерываемый порывами злого ветра, с некоторыми паузами сообщил. «Сегодня исполняется ровно ...дцать лет, как в 1931 ...оду совершил первый рейс между Москво... и Ленингра... знакомый ...ллионам москвичей и жителям Северной Пальмиры поезд «Красная стрела». Мы попросили министра ...уте... сообщен... (буйный ветер начисто стал глушить звуки радио) ответить на... опрс... наш... корр... сп... та. У микрофона Галл... а Ефс... ва...»

А по центральной аллее парка, переходящей в речную эспланаду, слегка покачиваясь, как на палубе рыболовецкого сейнера, одинаково набычив стриженные под ёжик головы — каждая с гирупудовку — шли в лёгких, в обтяжку маечках с узенькими шлейка-

ми и расклешённых штанах три налитых бычьей силой бугая. Чуть впереди них — самый старший по возрасту и рангу, вождь, Ряха. Сенька Ряховский. Агас!

Это о нём закадычный друг мой, Мишка Гриднев, чересчур увлекающийся блатным сленгом, говорил, как о законченном бандите, алкоголике и наркомане, на счету которого три длительные ходки в зону, две условные отсидки и, что самое жуткое, два трупа в «послужном списке». На танцплощадку приходит — понравится какая-нибудь подруга: всё, тут же приказывает ей, шарь за мной! И пусть только попробует не пойти или смуться, из-под земли достанет, поизмывается тогда всласть. Это у него, — делал страшные глаза Мишка, — неограниченная власть над базарами, вокзалом, ларьками. И любая попытка сопротивления злу насилия заканчивается для восстающих спартаковцев плачевно: мордобой — это в лучшем случае, а то и резня. До крови, до больничной палаты и даже инвалидности. Причём, чинкой — незаметно зажатой между мясистыми пальцами безопасной бритвой — становящейся ох какой опасной, орудует сам Ряха. Чиркнет по глазам — и клиент готов.

Под выпущенной поверх клёшей рубахой Ряха носит литую, усиленную каким-то, то ли медным, то ли свинцовым сплавом морскую бляху на широком флотском ремне. Если в драке вмажет ею по балде — всё, хана, черепно-мозговая травма, пой Лазаря. Вон, Васёк Жабин ходит по нашей центральной Сотне — стометровке — каждый день туда-сюда с утра до вечера, посвистывает. Это его, Ряхи, работа; сделал из нормального пацана Васька полоумного...

Отец Алёны, милицейский майор, который в своём угрозыске занимается убийными делами, долго, до кашля смеялся, когда мы недавно на дне рождения его дочери пристали к нему с расспросами как раз насчёт Ряхи. Нам с Мишкой даже почти до слёз обидно стало, когда он, задыхаясь табачным дымом, всё ниже склонялся к своим коленкам, не в силах от смеха ответного слова вымолвить. И, если бы не Алёна («Пап, прекрати сейчас же, а то и Мишка, и Олег, и я уйдём отсюда!»), мы бы точно свалили с таких именин.

— Дочур! Да ты меня, родненькая, прости. И вы, ребята, тоже! — отсмеявшись, поднял руки вверх худющий, как жердь, товарищ майор. — Но Ряховский Сенька — убийца? Рэкетир? Ой, мама, не могу! Это он лично мозги вам компостирует или вы сами, от нечего делать, такие страшилки придумали?

Я, наверное, впервые, после многих лет безоговорочной веры каждому Мишкиному слову — с подозрением посмотрел тогда на Михаила. Тот тут же повёл свой и так всегда слегка косящий взгляд ещё повыше моей головы, задумчиво уставясь на стоящий у забора пирамидальный тополь-раину.

— Ряха — мокрушник? — вновь с нескрываемым удовольствием пощипывая белесые усы и преодолевая смех, переспросил Алёнкин папа. (Так, переспрашивая, запоминают обычно соль крутого анекдота, чтобы не забыть и «продать» потом при случае друзьям-подругам...). — Ну и ну.

Он примирительно выставил перед собой ладони, защищаясь от укоряющего взгляда и маленьких кулачков угрожающе машущей ему из кухни Алёнкиной мамы. Поднял было рюмку со своей домашней «смородиновкой», но, покрутив перед глазами, отставил.

— Послушайте, парни, — обращаясь к нам обоим, но глядя, в основном, на Мишку (правильно, так ему и надо, сказителю народному!), — посерьёзней майор. — Вы же умные ребята. Так с какого, скажите мне, переляку, вы этому сыну лейтенанта Шмидта за квартал кланяетесь?

— Мы-ы-ы? — обиженно взревели я и Мишка, отмечая напраслину. Тем более высказанную в присутствии девчонок-одноклассниц, тут же с птичьей любознательностью уставившимся на нас.

— Да, ладно, ладно, это я так, образно, — чуток сдал напор угрозыск.

Ни фиги себе, «образно». У Мишки, вон, «с переляку» один глаз вообще поехал на Кавказ, а другой на Север. А у меня, чувствую, щёки, как у красной девицы, запольхали маковым цветом, прикуривать можно. «За кварт-а-ал». Надо же, сказануть такое!

— Нет, но вы поймите, мужики, — удачно ввернул хорошее обращение и тем самым вернул нам мужское достоинство угрозыск. — Неужели милиция такой дрек, что дозволит какой-то шпане безнаказанно людей убивать? «Два трупа»... Может, кошек, что замучил в детстве этот ваш Ряха, он за трупы считает? А так-то — одни понты. Ну, отбывал он, насколько я помню, то ли год, то ли два за драку, в малолетке. Всё. Вся его героическая биография. И то не поручусь, если он в бараке не ночевал под шконкой и баланду не хлебал из дырявой миски...

Может быть, Алёнкин папа и продолжил на этом самом интересном месте свой дальнейший рассказ о жизни зоны. Но тут на

сцене появилась разгорячённая тётя Зоя и — видно было по всему, румянец во всю щёку полыхал у неё не от жарочной плиты, что на кухне. Майорша красноречиво упёрла руки в боки, выжидательно глядя на своего сероглазого супруга. И тот мигом умолк, сдулся, как проколотый мяч. Но сразу не покинул нас, находчиво метнув на прощание сквозь сурово сжатые губы одну за другой всклень наполненные из персонального лафитничка две гранёные жилиночки смородиновой настойки домашнего приготовления. Да наколол вилочкой пару скользких шляпок замаринованных с прошлой осени рыжичков.

...Ряха, приземистый и невысокий, враспырку, как краб, выступал сейчас перед нами и подобострастно отстающей от него ровно на один шаг свитой враскачку, таким... бывалым мореманом, эдаким адмиралом Нельсоном и портовым уголовником в одном лице. Застывшие чёрными угольками, посаженные глубоко в пухлые щёки и далеко от рябоватой переносицы маленькие внимательные глаза. На удивление не загорелые руки засунуты глубоко — по самые локтевые наколки — в карманы белых, по-флотски расклеванных брюк. Поверх них ниспадает на выпуск бирюзовая сорочка — с отложным воротничком-апаш. На пробор причёсан укрепленный бриолином роскошный чуб (надо же, хороший волос, а кому достаётся?). На ногах белые, с лёгким скрипом, не разношенные сандалии. Плечи наклонены и дугой выгнута шея, как у принюхивающегося к обеденному корыту гуся с бабкиного подворья. Но, хороши шуточки...

Вон, девчонки, первыми почуяв неладное, уже сбились в тесную испуганную кучку, наскоро прикрывшись прилипающими к мокрому телу платяницами да сарафанчиками. Откровенно высматривают, как и когда лучше рвануть отсюда — вместе или врассыпную. Им хорошо, им всё простится. А нам-то, пацанам, гордость не позволяет постыдно драпать с поля боя, пусть и перед превосходящими силами противника.

Ассистенты криво ослабившегося Сеньки Ряховского лишь ухарски посвистели, по-паровозному погудели да кучерски поулюлюкали вслед сверкающему пятками девичьему племени, за секунды одолевшему и крутой взлобок, ведущий от берега реки к парку, и пограничную полосу — зелёный газон, и выстриженный косогор за ним, где видны были накренившиеся к земле два вековых дуба. Счастливые...

Ряха, подёргивая в нервическом тике жирной налитой шеей, всё

покуривал и поплёвывал, ожидая, когда закончит орать матерные напутствия вслед ничего не слышащим девчонкам его камарилья. Ждать пришлось долго. И он, раздосадовано сплюнув окурок, засадил большие пальцы обеих рук под рубашку, где толстый пупок прикрывала та самая утяжелённая надраенная бляха широкого ремня. Демонстративно выставил её напоказ, с тем, чтобы переключить общее наше внимание на его устрашающее вооружение. А свой откровенно насмешливый взгляд с нескрываемым презрением обратил на обзор нестройного нашего ряда. Высматривая, видимо, первую и наиболее покладистую, покорную, как козочку, жертву, которая сходу сдастся, не рыпнется в его рысьих когтистых лапах. Ну, точно шущман-надсмотрщик на построении военнопленных в гитлеровском концлагере. Бери, да снимай без проб его вдавленные под самый лоб зенки-буравчики, бурдюком выпирающее пузо, скособоченное тулово, широко расставленные кривые ноги — надёжные опоры рахитичному телосложению...

Коротким повелительным свистом, без слов, сделав лишь ленивый указующий взмах рукой, шущман подозвал к себе Лёньку Пирогова. Мальчишку, действительно, самого слабого и самого смиренного не только в нашем классе, а, пожалуй, во всей школе.

Ни в козла, ни в жёску, ни в футбол, ни в хоккей Лёньку было не заманить. Как это он ещё с нами стал этим летом на речку выбираться? А то мы всегда ватагой, стаей, гурьбой прём на большой перемене в школьные закоулки — курнуть втихаря, по щелбану за проигранное пари друг другу в лобешник отвесить, на девчонок поорать, консервную банку погонять, друг через дружку попрыгать — Лёня с монашеской скромностью стоит в сторонке. Не уходит, но и ни в какие забавы не ввязывается. Мы — на луг, на поляну, шесть на шесть мяч погонять; Лёня-тихоня — домой. Ему нельзя, ему некогда. Такой сознательный. На подколки наши, тычки-щелчки Лёнька никогда не отвечает, только голову виновато понурит и молчит. Мы уж его, видя такое дело, сами от борзых четвероклассников прикрывать стали. Не хватало ещё нашему другу-однокласснику и ровеснику от нападков салажат, всякой мелочи сопливой страдать...

И только недавно Алёнка от своей мамы, которая в родительском комитете, узнала о беде в Лёнькиной семье. Отец его после несчастного случая на стройке инвалид-колясочник, у младшей сестры тоже что-то неблагополучно со здоровьем, тянет всю семью

мама-штукатур, хотя сама тоже не по-детски хвораёт. Поэтому Лёнька у них в доме и сиделка, и разнорабочий, и водонос, и полотёр, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Что ни день, то — Лёня, поди, Лёня, принеси, Лёня, подай, Лёня, убери... А пацану четырнадцать лет, душа горит лететь к нам, своим пацанам, на улицу. Правда, замолчишь от такой жизни.

Враз ссутулившийся, побледневший, щуплый, как курёнок, Лёнька плёлся на расправу к жирному борову, втянув голову в плечи и совсем по-стариковски шаркая ногами. Лишь изредка, он, виновато улыбаясь, осторожно косил глаз и вытягивал тонкую свою цып-лачью шейку в нашу сторону, ожидая, как в классе, при не выученном уроке, чьей-то помощи, подсказки. А мы все, сволочи, потупившись, молчали, пряча взгляд и от него, и друг от друга, не зная совершенно, как вести себя в такой ситуации.

— Итак, ваша настоящая фамилия? — по-прокурорски вперил в растерянного Лёньку желтющий от никотина и почему-то заметно подрагивающий указательный палец самодовольный шуцман. К несказанному восторгу бурно зареготовавших в три глотки друганов, счастливо оказавшихся на таком замечательном бесплатном спектакле.

— Как, как, простите, вы сказали, Пердунов? — продолжал юродствовать вожачок, приставляя к своему хрящеватому уху ладошку трубкой.

И клака Ряховского вновь заходила в натужном смехе, из штанов выпрыгивала, лишь бы только угодить атаману-скомороху, поощряя его к продолжению дурной сцены.

— Тэ-кс. Так и запишем: гражданин Пер-ду-нов, — подчёркнуто разбивая фамилию на слоги, делал в воздухе витиеватые зако-рючки Сенька Ряховский.

— А скажите-ка нам, любезный, — протирая на просвет несуществующие очки и копыля при этом толстые губищи, продолжал разыгрывать он из себя то ли следователя, то ли кадровика. — Скажите нам ваш возраст, пол, национальность. Семейное и материальное положение, женаты ль вы? Где находились во время оккупации?

Друг наш, Лёнька, — гусёнок с подрезанными крылышками, обречёно молчал. Да если бы он и говорил что-нибудь, его невозможно было услышать в шуме заходящейся от наслаждения тройцы Ряхиных собратьев.

— Слышь, шеф, чума, бля! — восторженно задирает в гору па-

лец цыганистого вида соратник Ряховского и всё хлопал в экстазе по плечам двух дюжих своих дружков, таких же коренастых амбалов.

— Пала, я тоже ссу, не могу, — разделял восхищение цыгана второй из троицы боевиков — пучеглазый блондин с угреватым, заметно сдвинутым набок шнобелем.

А третий — нездорового вида хомячок, всё пошмыгивавший бледноватым носиком, молчал. Но гипнотизировал неотрывным взглядом до смерти перепуганного Лёньку. И потихоньку подкрадывался, притирался к нему со спины поближе, готовый в каждый миг по команде и без неё тут же устранить противника, учинив ему любую пакость.

— Значит так, Пирожков! — дружески возложил на худенькую Лёнькину шею увесистую свою ручонку Ряха. — Послушайте задание на финал. Если вы хотите сохранить свою жизнь и жизнь ваших друзей, вы сейчас пройдёте к статуе свободы — видите, вон та девушка с веслом, да? И крепко-крепко поцелуете её в заднепроходное отверстие. Ну, просто посмешите нас? Вы же прирождённый комик, я знаю. Если откажетесь, — Ряха возложил и другую лапищу на Лёньку, мягко потрепав его за шею. — Если откажетесь, воля ваша. Но тогда, — он небрежно кивнул в сторону вечно зелёного хомячка, — тогда этот дядя сделает вам ба-а-альшую бяку. Очень большую. Ну-у? — тут же сменив ленивый, расслабленный тон на окрик, неприкрытую угрозу, сунул руку в карман, как за финкой, на глазах свирепеющий Ряховский.

И Лёнька, вздрогнув от его окрика, обречённо поплёлся в сопровождении хомячка к парковой аллее. Туда где, в самом деле, высилась гипсовая статуя спортсменки-байдарочницы, хотя и побеленная к новому весенне-летнему сезону, однако уже вся исписанная похабными словечками и истыканная окурками.

Он не шёл, конечно, а именно плёлся, безжизненно опустив руки, словно опутанный весь цепями-веригами. И вести не вели его к месту казни, эшафоту, костлявые, подгибающиеся коленки. И смотреть не смотрели по сторонам объятые тоской и ужасом готовые заплакать, но нет, не плачущие Лёнькины глаза. Лишь совершенно нелепая в эти минуты, прилипшая полчаса назад слабенькая улыбка так и не сходила с лица, продолжая кривить тонкие Лёнькины губы. А вслед ему неслись подбадривающие припевки Ряхинской гоп-компании. «Ты гля, шеф, Пирожков — бедовый малый, гля, как

борзо чешет, не угнаться, а?»), — скалил белые кипенные зубы цыганистый. «А чё же, — с готовностью развивал тему угреватый блондин с маленько свихнутым носом. — Лёня у нас — пряя приבלатнённый; на хлеб — мандро, на козу — падла. По фенечке ух, сука, как чирикает!»

Вальжный Сенька Ряховский снисходительно внимал репликам чёрного и белого, раскуривая очередную сигарилу. И зыркал недобрым взглядом в нашу сторону, определяясь, видимо, с выбором новой кандидатуры очередного мученика.

Но Лёничка тем временем дал! В то самое мгновение, когда хомячок лишь чуть-чуть переключил своё внимание, заглядевшись на самозабвенно целующуюся под старым дубом парочку, жертва сурово наказала конвоира за утрату бдительности. То, как Лёня уходил от врага, можно было без дубля снимать на плёнку, если бы речь в фильме шла о героях-партизанах из Беловежской пуши или побеге военнопленных из ненавистного концлагеря. Он вихлялся среди кустов, как от пущенных вдогонку пуль. Пластался до самой земли, будто пропускал над собой ошмётки осколочной гранаты. Прыжками дикой серны, горного козла-джейрана преодолевал рвы и окопы, отделявшие тёмную, неблагоустроенную часть парковой зоны, ведущей к пляжу, от границы освещённой, благоустроенной. Никакие карательные отряды, отправленные для прочёсывания леса, никакая самая обученная фельд-жандармерия и конная полиция не смогли бы найти и остановить беглеца. Потому что нет на этом свете ничего сладостнее и прекраснее вкуса свободы, горячо пьянящей кровь и разум воли, человеческого суверенитета и независимости. За неё, желанную волюшку, посланницу небес волювольную ничего отдать не пожалеешь — ни последних сил, ни слабого здоровья, ни невесть откуда взявшейся прыткости. Может быть, подаренной высочайшим поручением сжалившегося Всевышнего?

Короче, даже наш сулимский земляк, знаменитый бегун Владимир Куц, победитель летней Олимпиады в Мельбурне (между нами говоря, в те описываемые годы — майор-«подснежник», так ни разу и не надевший погоны МВД), надев — немедленно снял бы с себя выданную ему на вещевом складе милицейскую фуражку, преклоняясь перед подвигом Лёньки Пирогова. И отдал бы фирменный головной убор с внушительной кокардой на добрую память — лакированным козырьком вперёд — в руки юного собрата по прин-

терскому бегу, ставшему рекордсменом поневоле. Отдал бы от души. Навечно. Навсегда.

Ряха ничего расспрашивать у своих подручных не стал: зачем? И так всё понятно. Не оборачиваясь, навскидку, ткнул кулачищем в нос подхихикивающему над неудачей хомячка блондину. А самого хомяка зарядил таким пинчищем под зад, какому вся линия нападения сулимского «Локомотива» могла бы позавидовать. И уставился на меня и Мишку Гриднева, выбирая одного из нас. Плохо, тяжело смотрел Ряха. Обычные люди таким взглядом на других людей не смотрят. Так нельзя смотреть. Его глубоко запавшие, остановившиеся глаза выражали, пожалуй, всё худшее, что есть в человеке. Такой взгляд, наверное, бывает только у питона, перед тем, как он готовится заглотить сенбернара. Целиком. Вместе с ошейником.

— Ко мне! — махнул рукой Мишке Гридневу шущман.

И его повелительный взмах с готовностью подхватил и развил уже оправившийся от атаманской экзекуции тот самый блондинистый с угреватым носом. Развил по-своему: осыпая Мишку ещё на подступах к нему грязными матюгами и размахивая затем перед самым лицом кулаками. Слегка побледневший Мишка не отворачивая головы медленно стащил с запястья и передал мне свои наручные часы, потом достал из кармана брюк и всё так же, в презрительном полуобороте к наскакивавшему на него кочету, протянул связку ключей, едва успев увернуться от хищно бросившегося к ней угреватого альбиноса.

— Фамилия? — хмуро буркнул Ряха, исподлобья меряя рост и плечи самого крепкого парня в нашем классе.

— Моя фамилия, как твоя жопа синяя, — вскинул на «следователя» усмешливые карие глаза Миша.

— Чиво? Ах, ты, фуфлятина, урла поганая, козёл не доношенный, да ты труп! — кинулся на Мишку, опережая слегка опешившего своего фельдфебеля и цыганка угреватый. — Да я тебя, петушинная морда, — устрашающе скалил он зубы, натряхивая на лоб пониже светлые свои непричёсанные патлы...

Они били Мишку втроём, наотмашь, беспощадно, изо всей силы, били ногами, били руками, не давая ему ни малейшей возможности уворачиваться от злых и нацеленных ударов, не позволяя спрятать голову или прикрыть корпус.

Чем я мог помочь другу, несчастный книжный червяк, дохлый интеллигентик, хлюпик, счастливо избегавший до той поры любых

уличных драк?

Но, увидев, как бегут к нам по склону пляжной горы Алёна, в хорошо знакомом мне жёлтом платье с синими цветами по подолу, вызванный, видать, ею же милицейский патруль, издалека грозящий хулиганью чёрными дубинками, парковые сторожа и уборщицы, размахивая кто мётлами, кто дрынами или штакетинами, я завизжал, преодолевая горловые спазмы, как только мог:

— А-а-а! Сюда-сюда, вот они, держите их, ловите!

Бросив измываться над Мишкой, взмыленный от усердия Ряха сходу перетянул меня поперёк голой спины бандюганской своей бляхой, заставив согнуться в три погибели от пронзившей боли. А подкравшийся сзади хомяк, грязный, потный, а оттого вонючий, как сунс — чемпион по вонючести среди подобных ему животных — ровно в тот момент, когда приблизилась к нам Алёна, резким рывком сдёрнул с меня до самых щиколоток плавки. И, ехидно сверкнув на прощание фиксой: «Слышь, покажи, чем ссышь!», не так уж быстро потрусил за убежавшими друзьями. А те, удаляясь, корчили отвратительные рожи, показывали хорошо известные жесты, орали что-то наперебой. Они сегодня хорошо порезвились, повеселились, подразмялись эти дружные ребята. Но что мне теперь было до них, до охающих, ахающих, сочувствующих окружающих, до всего этого мира? Мне хотелось одного — утонуть. Или пусть бы уж эти подлецы убили меня своими свинцовыми кулаками. Но переживать такой позор перед Алёной, другими девочками-одноклассницами, да и своими пацанами...

* * *

Звуки на реке разносятся за километр. И я слышал, как долго звали меня оставшиеся на берегу ребята, как огрызались на угрожающие крики наших родителей Ряха и его отморозки: «Да тебе меня догнать, как безногую до Пекина, слышь, бес седой!», — доносился противный писк угреватого блондина. «Чё ты там бугорозишь, мизантроп? А ну, иди сюда!», — вступал в перепалку цыганистый... Не поддаётся воспроизведению то, что орал сам Ряха, час назад так интеллигентно допрашивавший моих друзей. Но и Мишка, молоток, хотя бы в словесной дуэли в долгу перед паршивцами не остался; я не мог спутать или ослышаться, это был его голос: «Не трещите, уроды, всех вас теперь по одному переловим, последние извилины выпрямим».

Я, осторожно ступая по илистому дну, в которое такие вот, как Ряха и его дружки, обожали после пьянок на берегу реки вгонять битые бутылки, выбрался к затону со стороны наиболее густых камышей. С опаской вытянул голову, озирая окрестности. Тихо. Пусто. Никого, вроде, нет. Робинзоном с голой задницей, прикрываясь ивовой веткой, всё так же осторожно поплёлся к безлюдному пляжу — утром такому родному и близкому, а сейчас ставшему угрюмым, неприветливым, чужим. Заставляющим только удивляться, что раньше можно было здесь найти? Да, мужлан он, весь этот примитивный насыпной полуостров с его секторами-пляжами, разделёнными стрелками-указателями: «Детский», «Женский», «Солдатский», «Студяга». Бомж в застиранной робе! Юродивый в грязном рубище! Балаган с неотёсанными лавками, а не приют отдохновенья. Ноги моей здесь больше не будет.

Я подобрал под лавкой старательно изгвазданные чьими-то грязными ступнями свои купальные шорты. Много раз прополоскал их в воде, подвернувшейся щепкой счищая следы налипшего скользкого ила и страхиная колючий песок. Даже не выкрутив, как следует — пусть обсыхают на мне — зашагал не парковой аллеей, а глухой безлюдной стороной, мимо обрыва-мусорки, намного сокращая путь к дому. И жалея лишь о том, что нет здесь ещё какого-нибудь подземного хода, кротовьей норы, траншеи, тоннеля, по которому было бы так здорово пробраться к родимому порогу, совсем никого не видя и не встречая на пути. Ещё мне рисовались по дороге сцены сладостной вендетты, кровавой мести этому проклятому Ряхе и его прихвостням; вот я их, всех троих, взрываю гранатой-лимонкой, швыряя снаряд прямо под ноги и упиваясь видом разлетающихся на куски паршивых рук и ног мучителей. Вот решечку из автомата... Нет, прицельно выбиваю каждого из снайперской винтовки, устроив засаду между кустов, я знаю, где, на развилке Сотни — главной улицы Сулимска — и примыкающего к ней парка, откуда эти акулы каждый вечер выплывают на хулиганский свой промысел. Вот подмешиваю им яд в стаканы с вином, когда они будут в воскресенье оттягиваться после своих культпоходов в излюбленном месте отдыха всей преступной городской босоты — кафе «Черешенка».

Эх-х! «Чому я не сокил, чому не летаю»? Будь я беркутом, безжалостно и беспощадно переклевал бы стальным клювом, пикируя с небесной высоты, все ненавистные макушки. И жирного, же-

ноподобного Ряхи, и его блатных приспешников — угреватого блондина, злобистого цыгана, всех-всех-всех, у которых руки по локти в крови... Зачем только такие поганцы живут на свете, кому от них радость? Кого они сделают счастливыми? Какую пользу принесут? Никакую. Ни себе, ни людям.

Я, весь в несбыточных мечтаньях, и не заметил, как оказался у домашней зелёной калитки с обломанной щеколдой и покосившимся почтовым ящиком. А ведь сто раз обещал маме поправить всё это безобразие. Так! Завтра же с утра ни на какой ни на пляж, а молоко в руки — и погнал по хозяйству. Клянусь Ряхой. Даю слово.

* * *

В августе у старшего меня на десять лет брата затевалась свадьба. И я, к несказанному удивлению родителей, без споров и отговорок, наоборот, очень даже обрадованный грудой навалившихся поручений, гонял на велике везде и всюду, куда пошлют. Будь то Химгородок, где жила мамина сестра и моя тётка, классная мастерица по части кулинарии. На почту за красивыми открытками-приглашениями. На рынок за дефицитными в ту пору дрожжами. В магазины и столовые за всякими разными продуктами. Потом ещё с запиской к баянисту дяде Яше, у которого не было телефона, — напомнить о времени и месте сбора (помимо записки, передать и на словах: в субботу, к одиннадцати, у загса). К портнихе тёте Дусе — другу нашей семьи со времени эвакуации. Когда-то крепкой, как гриб-боровик, и неумолчно говорливой, как журчащий весенний ручеёк, быстроглазой женщине, так умело — и за сущие гроши! — перелицовывавшей папины изношенные пальто, его же обтёрханные временем пиджаки, жилетки и брюки... Охотно водившей на большие церковные праздники брата и меня в Ильинский храм. А теперь сгорбленной, старенькой, подслеповатенькой, но всё не расстававшейся с замусоленным клеёнчатый «метром» через плечо, ниткой и иголкой, правда, зачастую промахиваясь, тыча её вместо напёрстка в и так исколотый большой палец...

Мне было всё равно, куда, зачем и по какому делу отправляться в путешествие в очередной раз, пусть хоть нарезать вокруг двора сто колец по кругу. Запросто. Только бы не встретиться случайно ни с кем из друзей. Ну, а всё же, если встреча произойдёт? Тогда имеется в загашнике клёвая отговорка: «Понимаешь, заманали меня предки в отделку; скоро у брата свадьба, надо помогать, ношусь по

городу с утра до ночи. Какая речка, шутишь? Просто подышать на улицу не выберусь...»

Усомнятся? Пусть проверят. Всё сойдётся один к одному.

Они мне встретились ровно за день до брата свадьбы, Мишка и Алёна. Шли вечерком, вдвоём, склоняясь головами и взявшись за руки. Видимо, возвращались с пляжа. Мишка нёс её тощий ранец и свою пухлую спортивную сумку — вещи, и одна и другая, хорошо мне знакомые. Остановились у тележки с мороженым, нежно поглядывая друг на друга, долго выбирали, что слаще и вкуснее. А я, как мелкий жулик, прятался за липами и каштанами, сгибаясь в три погибели и не смея поднять глаз. Почему? Кто бы мне самому объяснил, почему. Почему они открыто прогуливаются по Сотке, откровенно обнимая друг друга за талию, как всегда ходили и мы с ней. О чём-то интересном говорят, смеются, чуть ли не целуются принародно, так тесно сближаясь разгорячёнными лицами, а я лишь крадучись смотрю им вслед. За что мне такая кара? Не хочется признаваться даже самому себе, но я понимаю за что: когда те трое мордovorотов измывались над Мишкой, ты что делал, герой? Пускал слюни, выглядывая помощь взрослых дядей, сам не в состоянии сделать хотя бы шаг на выручку другу? Вот и расплата. Девочки замечают ребят красивых, симпатичных, слушают умных, а выбирают мужественных. Так что, иди себе, иди, например, в парикмахерскую, мальчик. Постригись перед школой, мама три раза уже напоминала об этом. Да и на свадьбе будешь выглядеть приличнее, а то зарос, как дикарь.

* * *

Перед первым сентября в единственную на пролетарской нашей окраине детскую парикмахерскую, к Пантелеичу, было, поистине, с утра не протолкнуться. И не только завтрашний школьный праздник, а и сам он, обрусевший грек Макар Пантелеевич Мисевра, с чьей внучкой Алинкой, мы с детского садика не разлей вода, служил тому виной. Обуянный нехваткой клиентуры и, соответственно, финансовым кризисом, отчаявшийся Пантелеич с начала лета стал в детском зальчике стричь и взрослых, да к тому же по бросовой цене, совершенно несопоставимой с платой в модных залах центра города. Конечно, быстро чующий дешевизну народ повалил к нему валом. Прежние сиротски выглядывшие три кресла вскоре совершенно перестали пустовать, пришлось мастеру приглашать

уже и подмастерьев для быстреего обслуживания желающих побриться-постричься-освежиться.

Ну а поскольку повалил в цирюльню охочий до умелых рук брадобрея окрестный да проезжий люд среднего, старшего и очень даже страшного школьного возраста, давно, честно сказать, позабывший таблицы умножения, Брадиса и периодических элементов Менделеева, то... То настоящие школьники оказались на задворках, с завистью поглядывая на зрелых мужиков, один за другим уютно умащивающихся под свежими до синевы простынками, чтобы побыть четверть часика в неге чистоты и ароматов, наслаждаясь неиссякаемыми анекдотами Пантелеича. А мы, до ушей заросшие копнами дикого волоса, отверженные пацаны, угрюмо сопели, потели и давились в тесном душном коридорчике предбанника, с ненавистью разглядывая единственную вывешенную там лубочную картинку из какого-то журнала под издевательским названием «Опять двойка»...

— Позвольте, позвольте, молодой человек, разве сейчас ваша очередь? — поглядывал недоумевающий Пантелеич снизу вверх из-под стёкол больших квадратных очков на жирного борова, в мгновение ока отгёршего меня, замешкавшегося от наглости, а потому опешившего, от заветного кресла.

— Моя, дед, моя, — успокоительно запихивая в порядке предплаты хрустящую купюру в нагрудный карманчик парикмахерского халата Пантелеича, пренебрежительно располагался перед зеркалом... Ряха. — Салажонок этот пусть погуляет, он не торопится, а у меня — во, дед, по горло дел.

Слегка повернувшись в мою сторону и задумчиво поскрёбывая гнусную свою бородёнку, вечный мой обидчик тихо прошипел: «Ты ещё тут? Чё чалишься, придурок? Иди-к, воруй, пока трамваи ходят».

Прицокнув фиксатыми зубами, он зло, по-блатному подмигнул мне налитым кровью зраком. И откинулся в истоме, целиком погрузился в чёрные кожаные сиденья, сцепив на брюхе жирные, как червяки, татуированные пальцы с косо-криво обгрызенными ногтями.

«Чтоб ты сдох, гад!», — прорываются у меня сквозь горловые спазмы проклятия Ряхе, продолжающему преследовать меня и здесь, вдали от шума городского. Но что ему, этой пивявке, этой до безобразия толстой бездушной сосиске мои страдания? Похаркивает,

похрюкивает себе носоглоткой, спит, как дома, покойно сложив на животе арестантские свои грабки, сплошь усеянные рыжим клочкастым пухом. Чтоб ты не проснулся, падлюка чахоточная!

Пантелеич, сердито хмурясь, пощёлкивает длинными ножницами по такой же длинной алюминиевой расчёске, на меня не смотрит. В конце-концов, не его это дело очередь регулировать. Кто обижен, пусть зовёт милиционера, пусть вызывает к совести обидчика, к толпе — народное вече лучше любого суда всё рассудит. А он, Макар Пантелеевич, мастер стрижки и бритья, цирюльник, парикмахер, но не сторожевой пёс, не вышибала и не инспектор ГАИ, движение тут регулировать.

А очередь, это гомонящее скопление вечно недовольного народа, суд свой вершит легко и просто, вынося приговор незамедлительно. «Уступил место? А кто тебе виноват? Не-е, малый, теперь чеши отсюда к дверям, занимай череду с хвоста, по новой, нам тоже некогда».

«Любимый город, можешь спать спокойно и видеть сны, златые сны, и зеленеть среди весны», — всё такой же мрачный, подпекает звучащему из динамика голосу Леонида Утёсова устало переминающийся с ноги на ногу дедушка Мисевра. И отвратительно осклабясь, насмешливо щерится мне из зеркала рыжебородый бегемот, всласть покемаривший под гипнотические пасы Пантелеича и популярные песни по заявкам радиослушателей. Проснулся? Ну, ладно. Будет и на нашей улице праздник.

* * *

Получасом позже, зажатый в клинч с трёх сторон в проходном дворе нашей школы Ряха по полной программе получил, наконец, то, что давно ему полагалось. Икая и квакая, он только и успевал прикрывать усатую свою физиономию, каждый раз грузно плюхаясь в лужу и жалко уползая от свингов и хуков по корпусу руками, ногами, оторванной от забора штакетиной, сорванной с его же пуза бляхой с морским якорем. А ему продолжали и продолжали щедро вваливать гонорар примчавшийся в спецодежде прямо из пожарного депо — в брезентовой робе, каске и сапогах — брат мой, начальник караула, Мишки Гриднева тренер по боксу, полутяжеловес, и Алинкин папа, для конспирации сменивший майорский свой мундир на цивильное партикулярное платье и занавесивший пол-лица солнцезащитными, похожими на сварочную маску, очками.

Ряха, не пытаясь вырваться, хрипел, сипел, пускал красные сопли и надсадно кашлял, отоваренный до ушей могучими кулаками народных умельцев.

— Олег, иди, вмажь и ты ему, дай хоть пинчище, — звал меня разгорячённый боем Мишка (забыл я сказать, он ведь тоже принимал самое живое участие в экзекуции). — Пусть знает, как Пролетарку трогать!

Я бы Ряхе вмазал. Я бы ух, как наподдал ему, этому губастому кретину, нигде не дающему прохода нашим пацанам. Так вмазал, что мало не показалось бы. Знать бы только, как это делается...

Поверженного наземь, как освежёванную тушу барана Ряху безжалостно оседлали с двух сторон мой брат и Мишкин тренер. По очереди передавая друг другу здоровенные охотничьи ножницы, они простригают на крупной, шишковатой башке Ряхи две дорожки, крест-накрест. И брат приговаривает, приставив к жирной, налитой глотке нашего мучителя кинжально острые пики ножниц: «Ну, свиной потрох, ты ещё будешь на улице права свои качать? Или тебе тут прямо харакири сделать?»

— Хана, сдаюсь, не буду больше, — выдавливает из себя обещание Сенька Ряховский, весь обмякший, понурившийся, сдутый, как резиновая груша пульверизатора в руках Пантелеича после полного её опустошения.

— Смотри! — заметно сдавливает податливый котлетный бок Ряхи мой брат. — Хочешь без кок остаться — сделаем. Ишь, Трезор, поганец, нашёл над кем силу свою показывать, изгаляться. Ты вон к боксёрам в секцию с дружками своими приходи. Они тебе живо ответ дадут, в двух руках не донесёшь.

* * *

Тяжёлая ты штука, разочарование, как и чистосердечное признание. Каторжно тяжёлая, но необходимая. Чтобы трепачом и брехуном не слыть.

Никакой драки, никакого возмездия в глухой подворотне действительно стоящего напротив школы дома, где жила Алинка, не было. Не состоялось. Всю эту живописную картину с низвержением Ряхи, овечьими ножницами в руках брата и бронированными боксёрскими кулаками друга моего Мишки и его тренера я придумал. Выдумал дома ночью под лоскутным одеялом, в своём воспалённом воображении, глодаемый горькими воспоминаниями о том,

как в очередной раз ни за что, ни про что был сегодня унижен, оплётан, оскорблён в парикмахерской при всём честном народе. Остался я тогда так и не подстриженным. А потому вдвойне испепеляемый жаждой мести к своему врагу.

* * *

Ну, а на самом деле, в тот последний августовский день всё было по-другому. Мой старший брат, Вадим, украдкой от сослуживцев целовался-миловался в комнатке диспетчерской с дежурившей на пульте невестой своей, мешая ей бдительно следить за сигналами об очагах возгорания в городе Сулимске и его окрестностях.

Отмечали с друзьями в любимом баре спортсменов — «Аллигатор» — свой день рождения оба Мишкины тренера, правда сильные боксёры, братья-близнецы Юрий и Виктор Калякины, чьи имена уже достаточно хорошо узнала спортивная Европа.

Мурлыча под нос песню про замерзающего в степи ямщика, оформлял в дежурке протоколы задержания и обыска местного карманного воришки дежуривший по горрайотделу милиции майор Мисевра, папа Алины.

А дочь его мило мурлыкала по телефону в эти же самые минуты с новым дружком своим, Мишкой, отвлекая его от порученных родителями обязанностей кормораздатчика специальной рыбьей еды — дафния, и обрекая тем самым аквариумных обитателей в квартире Гридневых на неминуемую гибель.

* * *

Мой самолёт ТУ-154, согласно указанному в авиабилете рейсу №2-371, выполнял левый разворот над Махачкалой. Оставались под крылом знаменитый Родопский бульвар с шикарным рестораном «Барон», улица Горького с её чудным музеем искусств и богатейшей коллекцией художественного серебра и ковроткачества, колоритный райончик Санта-Барбара, уютная гостиница «Журавлик», где все свои командировочные вечера я писал эти строки...

Прощай, прекрасный Дагестан, страна великого Расула Гамзатова, прощайте, мои славные коллеги-историки, музейщики Салихат Расуловна и Аншат Исалиевна, помогавшие мне в архивных изысканиях. Мира и благоденствия вам, улицы Буйнакского, Чайковского, Энгельса, не воюй больше, злосчастная Библиотечная, где в одном из домов двое последних суток напролёт отстреливались

от спецназа несколько террористов...

Так, прошли мы уже, судя по миниатюрному табло с подсветкой, укрепленному над входом в пилотскую кабину, Хасавюрт, Каспийск, Буйнакск, Избербаш... Экипажу Дагестанских авиалиний отводилось на полёт из столицы Дагестана в столицу России ровно сто пятьдесят минут. Два с половиной часа.

И я уже чётко знал, что успею рассказать за это время своей очаровательной соседке по креслу — черноокой красавице с неправдоподобно гибким станом, обтянутым широким наборным поясом. Которая, самыми уголками губ чуть заметно улыбаясь, наверняка ждала от меня, первого, нужных слов для знакомства.

Как по-чеченски будет «добрый день»? У нас, в Сулимске, говорили одним словом: «Добрыдень!» Вам это название, Сулимск, речка Сумка ничего не говорят? Нет? О! Ну, тогда слушайте...

Макуха

В начале 1960-х годов вышло в свет грандиозное партийно-правительственное постановление, подписанное Первым секретарём ЦК, Героем Советского Союза и трижды Героем Социалистического труда Никитой Сергеевичем Хрущёвым. Называлось оно длинно и нескладно, а суть сводилась к тому, чтобы теснее крепить связь высшей школы с производством, науки — с практикой, теории — с конкретной материей. Единственная на весь 250-миллионный Советский Союз партия коммунистов, трогательно заботившаяся обо всём на свете — от умонастроения советских людей до строительства для них же, родимых, малогабаритных панельных домов, в двери которых детский горшок можно было пронести, если только он сделан ручкой внутрь (так шутило тогда знаменитое Армянское радио), озаботилось в тот раз действительно заслуживающим внимания делом. Правда, с неистребимым хрущёвским колоритом.

— Как это получается? — брызгал слюной в микрофоны со всех трибун партийных съездов, собраний активов и пленумов бородавчатый генсек. — Наши доблестные учёные годами безвылазно сидят в тёплых московских кабинетах, одно место греют, а кукурузоводы Кубани, Рязани, Юрюзани без научной помощи, без консультантов, референтов, аспирантов, на свой страх и риск, понимаешь, зёрнышки в поле квадратно-гнездовым методом закладывают. Важнейшую сельскохозяйственную культуру, на которую в Америке молятся, в нашей стране пустили на самотёк, а? Анастас Иванович, я к вам, товарищ Микоян, обращаюсь, скажите, вы у нас старейший нарком, разве это нормально? Вот! И я говорю не нормально. Товарищ Булганин? Товарищ Подгорный, как ваше мнение? Принимается? Тогда есть единственно правильное решение: всех бездельников — в поле, в колхозы, совхозы, я им покажу Кузькину мать! Кукурузу можно и в Якутии, в районах вечной мерзлоты высаживать, это же сами доктора наук наши пишут. Вот пусть кабинетные специалисты со всеми своими исследовательскими институтами туда едут да эксперь... эксперт... экспертиминтируют! И доложат партии, что у них получается. Перестройку мы проведём на всех фронтах строительства социализма, товарищи члены и товарищи кандидаты в члены ЦК, иначе сэшэа нам ни догнать, ни перегнать. Спасибо за поддержку, товарищи! За работу, товарищи!

Вузы, техникумы, даже, кажется, ремесленные училища необъятной советской страны в срочном порядке по велению взбалмошного Никиты и (по Маяковскому) — «партии миллионнопалой, сжатой в один, громящий кулак» — аврально переводили на очно-заочную форму обучения и преподавания. То есть, студент полную рабочую неделю вкалывал на производстве — в поле, на ферме, на стройке, у станка, чтобы там воочию увидеть и понять, чему его по учебникам учат, а четыре вечера, после работы, сидел в аудитории, конспектировал то, что узрел на практике. Так закалялась сталь.

В эту просорушку воленс-неволенс угодил и Олег Муратов, студент третьего курса Весьегонского инженерно-строительного института. Маме Олега — женщине глубоко интеллигентной, начитанной — а как иначе, если вся жизнь отдана заведованию библиотекой, после обнародования безжалостной хрущёвской доктрины, три дня было просто плохо.

— Что будем делать? — тормошила она вайлуватого своего, флегматичного мужа. — Олежек ведь у нас совершенно не приспособлен

соблен к суровостям окружающего мира. А его загонят куда-то на стройку, туда час только автобусом ехать, да в какую рань вставать... Поговори с Мирзоянцем, пусть возьмёт его к себе в проектировщики, Олежек отлично чертит...

Всегда обычно сговорчивый и послушный муж в этот раз упёрся, как баран.

— Никому я звонить не буду. Хватит ему тепличного воспитания. У парня ещё и армия впереди, нам что, всю жизнь над ним зонтик держать? Я с детства без родителей остался, рядовым наборщиком десять лет нюхал в типографии гарт, вот и он пусть понюхает жизнь. Стройка — не каторга, самое то для будущего мужчины...

Заплаканная мама, уютно уютившись в уголке старого родового дивана, слушала тем воскресным вечером вместе с сыном только-только входившую в моду радиолу «Латвия», откуда лились любимые их песни — француза Ива Монтана, югославки Ратмиры Караклаич, полунашей-полупольки Эдиты Пьехи, и молчала, придумывая изощрённую женскую месть вздумавшему своевольничать подкаблучнику-супругу. Олег, застелив одеялом обеденный стол, старательно выглаживал стрелочки на брюках-дудочках, торопясь в институт на танцевальный вечер — отрываться в танго и твисте с высокогрудой гимнасткой Любочкой, соседкой и подружкой школьных лет. С которой уже не раз и не два оставался — оба без нижнего белья — на этом же их диване, когда предки уезжали в отпуск.

«Прощай, милый сердцу ВИСИ, я сапоги со скрипом...», — искал подходящую рифму Олег, готовясь похохмить, посмешить публику на прощальном перед производственной практикой вечере... Искал — и не находил. Спросить мамулю? Но она такая сейчас грустная, задумчивая, отрешённая. Эх, добрый мой диванчик! Завалиться бы, как в школьные годы, на твои продавленные бока, отгородившись от всего и вся, держа лишь под рукой большую тарелку мелко нарезанных, вкусно зажаренных мамой ржаных сухариков, и читать, читать, читать запоем детективы Агаты Кристи, рассказы Виля Липатова или перечитывать в сотый раз с детства обожаемую книгу Тихона Сёмушкина «Алитет уходит в горы»...

Но вместо этой идиллии, тихой, уютной домашней гавани, очутился Олег — в самый разгар зимы, в лютом январе — на самом дне трёхметрового котлована. Где земляные стенки промёрзли насмерть и поседели от вечного инея, напоминая слюдяные блёстки солончаков, выступивших в степной почве Поволжья. Где под но-

гами противно чавкала истоптанная громадными сапогами работяг чёрная жижа. И где, в довершение индустриального пейзажа, сыпала и сыпала на голову, на шею, за ворот матерящимся трудящимся взявшаяся с утра мелкая снежная крупка, противная, шрапнельная, едкая, мерзким видом своим напоминающая грязную поваренную соль.

Оставалось только недоумевать и теряться в догадках, почему именно зимой, в таких мало радостных погодных условиях, трест «Промжилстрой», куда направили на практическое обучение всю группу Олега, ведёт закладку «пятак» — мощных бетонных оснований под металлические нефтяные резервуары. Преподаватель курса железобетонных и стальных конструкций, живо заинтересовавшийся у Олега применяемым у них на стройке методом непрерывного бетонирования с одновременной закладкой армированных металлических каркасов, на встречный вопрос Олега, почему зимой, а не летом, понимающе усмехнулся.

— Вы о таком термине — зимнее удорожание — слышали?, — поднял он мудрые профессорские глаза поверх очков, рассматривая обожжённое стужей лицо наивного юноши. — Это когда те же июльские работы, что выполняют в январе, стоят в три раза больше? Ну, вот вам и ответ, коллега. Кстати, в пору моей молодости, когда я учился месить раствор, стройка была сезонной — весной и летом, но на полный световой день, в три смены. А зимой — если только отделка стен внутри тёплого здания. Иначе, считалось, выброшенные на ветер деньги: ни темпов, ни качества...

Олег, устало поклёвывая носом, бездумно перерисовывал с доски вечерней аудитории в тетрадь схемы предварительного напряжения стальных стержней, тех самых, которые завтра увидит прихваченными точечной сваркой в сетки на проклятом днище котлована. Слушал преподавательские наставления о правилах укладки бетонной смеси в деревянную и металлическую опалубку, снисходительно при этом улыбаясь про себя, как бывалый матрос при виде новобранца-салаги — и... И мечтательно обводил карандашом последние страницы обложки конспекта, воссоздавая по памяти миндалевидные глаза и маленькие ушки, обливные плечики и наливные коленки художественной гимнастки Любочки, её выставленные из чёрного, с узкими бретельками, лифчика, как пара дуэльных пистолетов, перси, курчавые подмышечки любимой, которые влекут такой сладкой негой, пахнут такой неизъяснимой прелестью... В от-

личие от грубого солдатского амбре кислой сапожной ваксы, смрадной моршанской махры и рвотного самогонного перегара, которые окружают Олега уже наутро. Стоит лишь спуститься по шаткой, с недостающими ступенями лестнице-трапу в преисподнюю, к этим бетонным пятам... Для закрепления связи высшей школы с жизнью.

Подгоняя по размеру сучковатые обрезки горбыля, планки поперечин и с тоской узника посматривая из глубины сибирских руд на хмурое небо, Олег по-детски загадывал желание: если сейчас склонится над кратером женское лицо, допустим, рябой табельщицы из отдела кадров, значит, его переведут отсюда к ребятам-лицовщикам, у которых так весело и задорно идёт работа в административном корпусе стройбазы. Если мужское — эх, быть по сему! Вон она, пожалуйста, нависла над кратером вулкана тяжёлая, будто плеть надсмотрщика, физиономия бригадира, «освобождённого бригадира комплексной бригады», как он подчёркнуто представился при первой встрече, Филимончика. Сейчас последует обязательная шуточка. Куда же ему без неё, освобождённому?

— Ну, шо, студент прохладной жизни? Дела идут, контора пишет?

И нужно как можно шире, насколько позволяют лиловые губы искреннее, улыбнуться в ответ, бодро прокричав на пароль отзыв: «Рубль дадут, а два запишут».

И разбежались. Филимончик в натопленный вагон-бытовку, якобы изучать якобы чертежи, в которых он много чего смыслит, поскольку для форса таскает за собой в планшетке целую папку синек, не замечая коварного штампа архтехнадзора в уголке: «Аннулировано». Олег — в дальний уголок холодильника-котлована, куда все работяги ходят «отливать», экономя не столько время, сколько силы, чтобы не топать до туалета, преодолевая на пути туда и обратно инвалидную лестницу, которую даже два века назад и суворовские чудо-богатыри не взяли бы с собой для штурма альпийских высот. А тут, видишь, она живёт, используется, вся корявая, скособоченная, обледенелая и ждёт, пока кто-то не грохнет с неё, или последняя ступенька не отвалится. Тогда все очнутся, встрепенутся, заметят непорядок и за каких-то пару часов отладят новый шторм-трап. Но это — «если». А пока — «не». Такая вот немножко странная производственная логика.

Олег ни в склад, ни в лад машет топором, надышав перед этим

жарким чахоточным дыханием на скрюченные пальцы. И отвлекает себя от грустных дум — зачем только он пошёл в этот чумовой ВИСИ, кому нужна его профессия строителя, если в роду Муратовых испокон веку водились только печатники-полиграфисты, библиотекари да переплётчики — отвлекает мыслями о рдеющей чугунке-буржуйке в бытовке, широкой полочке близ неё, куда можно будет через пару часиков повесить на просушку отсыревшие носки и байковые портянки. Вспоминает об алюминиевом чайнике, пузатом толстячке с выщербленной деревянной ручкой, дочерна, до сажи задымлённом на стенках и в поду, но не прогретом. По-матерински участливо шепчущем там же, на круглой печке, слова утешения всем, к нему приходящим, и без устали отогревая крутым кипятком сырых, убогих, замёрзших. В первую очередь закончивших на морозе плотников, которым шут гороховый Филимончик, страсть какой весельчак, с порога обычно кричит: «Ну, шо, хлопцы; скажи на мого коня “тпру”, бо в мене губы змэрзлы?» И первый смеётся над своей невероятно смешной псевдо казацкой шуточкой. Остряк-самоучка без диплома.

До заветного обеда остаётся уже (не надо говорить «ещё», так холоднее, лучше сказать «уже») — остаётся всего два часа. Два часика. Сто двадцать минут. Если умножить на шестьдесят? Да считать потом секунды в уме? Быстрее время пробежит? А сегодня среда, вечером занятий нет. Ура! Можно с Любушкой сходить в кино. Точно! В «Спартаке» идёт итальянский «Рокки и его братья». Фильм — класс, а они до сих пор не посмотрели, хотя весь город только про эту картину и гудит. А потом? Потом суп с котом, сощурится на извечный его дурашливый вопрос Любушка-голубушка. А сама уже точно что-то придумает; прошлый раз вроде как нечаянно, по пути, забрели в гости к её подслеповатой бабушке...

— Слышь, студент, подвинься, отдохни, давай я тут сам пока пошурю, — деликатно отгирает Олега в стороночку от жерла опалубки низкорослый, коренастый его напарник и наставник Иван Макушенцев, по бригадирскому прозвищу Макуха. Не парень — ему слегка за тридцать, но и не заматеревший мужик. Скорее, так, удачный полуфабрикат, готовый к полному и окончательному мужицкому формированию. В родном пригородном селе на разбитом тракторе зарабатывал он копейки, потому и подался в строители. Сочувственно поглядывая на Олега, обдающего прерывистым дыханием тонкие интеллигентские пальчики, Макуха — брезентовые

рукавицы отбросил в сторону, ворот короткого кожушка распахнут, ноги в кирзовых сапогах упёрты в снежный наст, как сваи, солдатская шапка сбита на затылок — быстро, споро, ладно, складно орудует то неподъёмным для студента топором, то неудобной для начинающего строителя остро заточенной пилой-ножовкой. Сотворяет из досок-тёса, колышков, распорок овальную фигуру резервуара. И первым же, едва только пошла по лотку в котлован выгруженная из самосвала бетонная смесь, устремляется с широкой совковой лопатой заполнять ею технологические проёмы. Наказав Олегу самое понятное и простое — лёгким штырём утрамбовывать бетон в опалубке, следить, чтобы не образовались пустоты, по-строительному — «раковины», брак.

Вот так Иван всегда, — теплеет на душе студента; остальные работяги в бригаде кто полностью равнодушен к Олегу, кто злится — прислали практиканта на нашу голову, учи, обрабатывай его, а он ещё ж и гроши получать будет... А Иван молчком, «мовчки», как говорит Филимончик, помогает, поддерживает новичка. Никогда не ругает, разве что иногда досадливо крикнет, когда что-то у будущего инженера уж чересчур получается не так («мыло в борщ летит...»).

Чем может отблагодарить его Олег? Любезно протянутой за обеденным столом половинкой городского бутерброда — маминой булкой со сливочным маслом и щедрыми кружочками варёной колбасы поверху? В хрущёвские времена, когда вместо страшного слова «голод» разгулялось по городам и весям словечко «дефицит», такое угощение для сельского строителя, приносившего с собой в «тормозке» сваренное вкрутую яйцо, шматочек сала с чесночком, солёный огурец да краюху сыроватого, крошащегося хлеба, было настоящим деликатесом. Вызывающим кое у кого открытую неприязнь. Впору с такими «бациллами» было и не показываться на людях, дабы не прослыть буржуем. Студенту по молодости лет колбасный демарш ещё прощался...

Ваня ухмёгивал угощение «мовчки», без церемоний, но и без благодарности, будто так и положено. Порой Олег думал, что протяни он ему и вторую половинку бутерброда, Макуха сметёт и её в мгновение ока, даже не поразмыслив, а что останется напарнику. Ему какое дело? Дают — бери, бьют — беги... Пусть тот, кто угощает, сам о себе и своей судьбе думает.

Да, людей, состоящих из одних добродетелей, не бывает, — учила

матёрая, суровая, реальная жизнь рафинированную высшую школу.

Олег, присев поближе к огню, время от времени подбрасывал в топку наворованные Филимончиком с подъездного топливного склада (это входило в обязанности бригадира) брикеттики жирного, лоснящегося антрацита, и вполглаза наблюдал за тем, как ведёт себя наставник его и вождь, Иван Макушенцев. А Макуха, скинув на лавку спецодежду, оставшись только в надетой на фланелевую сорочку гимнастёрке навывпуск, сыто поикивал, видимо, переваривал торопливо пропущенный в желудок свой, сельский харч, и городского друга угощение. Попивал, громко прополаскивая горло, подслащенный чаёк. И с интересом следил за шахматной стычкой вечных соперников — бригадира и автокрановщика, двоюродного брата Филимончика. Ух, как же рубятся они всегда! До визга, чуть ли не до рукопашной.

Начинают тихо-мирно, беззлобно пошучивая, когда загадывают в кулаках на пешках цвет, кому достанутся беленькие, а кому чёрненькие. И никто из болельщиков, сидящих, стоящих рядом никому из двоих гладиаторов в эти минуты ничуть не мешает. Напротив! «Как говорит Ботвинник, шахматы — игра миллионов!» — щеголяет эрудицией бугор, гостеприимно приглашая поклонников его таланта к себе ещё поближе. Особенно человеколюбивый после того, как умудрился подцепить на коневую «вилку» такого жирного караса, как ладья соперника.

— Ну, чего тебе, трёшься тут? — тут же зло ощеривается проигрывающий партию бугай крановщик на субтильного Ваню Макушенцева, стоящего рядом с доской ближе других.

— Ничего. Просто застучал следующим, — пожимает плечами Иван. — Нельзя, что ли?

— Можно, Ванюша, всё можно, не слушай ты никого! — потечески расположен к подчинённому млеющий от осознания своего шахматного превосходства бригадир.

— «Застучал он», — бурчит тем временем раздражённый крановщик. — Бабе своей застучи по мозгам, пусть она тебя играть сперва научит...

Спортивная злость, этот сильный допинг, неожиданно придаёт совсем уж было тонущему брату Филимончика неожиданное озарение, вспышку мысли. И он вдруг чётко видит мат в три хода рано празднующему победу «Ботвиннику». Меняются тут же у бугая и тембр голоса, и в целом отношение к людям. «Слышь, Ваньчок, не

обижайся, шутковую я», — сделав сопернику предсмертный шах ферзём, примирительно хлопает Макушенцева по плечу почуявший сладкий вкус победы крановщик. Но Иван красноречиво отстраняется и молчит.

Теперь наступает очередь психовать видящему свой неизбежный да ещё такой позорный крах бригадиру, не знающему, как достойно выпутаться из матовой сети. И опять крайним оказывается Иван Макушенцев. Минутой только назад «Ванюша-дорогуша».

— Ты шо, завтра опять в отгул за прогул? — скосив глаза на погибающую позицию, а голову повернув в сторону Ивана, постукивает деревянной пешечкой по столешнице бригадир.

— Почему за «прогул»? — виновато прочищает заложенное горло Макушенцев. — У меня ж и вызов медпункта есть, и справка ж вот, с печатью, я же ж вам показывал.

По-казарменному сострив что-то насчёт Иванова оправдания («Ванька-купец за три копейки тоже показывал»), но вызвав тем самым не смех, а смущение бригады, Филимончик смешивает на доске пленённые фигуры, фыркнув партнёру: «Продул». И, обращаясь к болельщикам, криво улыбается: «Садись, кто следующий». Но уже отважен от доски Иван. Расходятся по уголкам и остальные шахматисты. Умудрились братья всем испортить настроение. Пусть теперь сами и играют!

Глубокую занозу засадил, видимо, Филимончик в Иванову душу. Всегда молчаливый, не шибко-то общительный Макуха по пути из бытовки впервые вдруг с Олегом разговорился. Подспудно, наверное, ощущая, что в эти минуты лучшего собеседника, чем студент, ему не найти: и доверительный разговор никому не передаст, и боль поймёт...

Размахивая дешёвенькой папироской перед лицом не курящего Олега, Макушенцев прижимал свободную руку к груди, словно приносил присягу на искренность. «Мне как жить прикажешь? Сама после третьих родов уже год как болеет по-женски, а раньше она тут же, на стройбазе, штукатуром трудилась. Считай, на всю семью осталась одна моя зарплата. А сколько там её? Смех. Нет, ну, там, куры, гуси, боровок на мясо, это понятно, я не говорю, хорошую коровёнку недавно от её родителей взяли — без молочка как же ж — в селе живём, сама за скотиной ходит. Моё дело: сено заготовить, назём выгрести. Ещё ж стал я опять донором, в армии начал ещё ж кровь сдавать, когда кореш мой крепко погорел в танке... И

что же? Видел сам: бугру моё донорство, как серпом по пальцам. Заикнусь про отгул — сразу скандал: зачем, почему? Да положено по закону, вот почему! Да и я ж только на донорский талон, мы его на медпункте так и зовём «хрущёвским», могу в городе взять масла две пачечки, по килограмму макарон, риса, гречки. В сельском магазине — пусть Филимон приедет, полюбуется — одни хомуты и вилы. А у меня трое детей. Я их что, гольной картошкой кормить должен? Хрущёв, блин горелый, и так всех крестьян своими налогами придушил — каждую морковочку, каждый кустик смородины пересчитали его писаки, налогами во как обложили...»

Провожая вечером Любу домой, Олег пересказывал ей то, что услышал днём от Ивана. И видел: не производят на одноклассницу впечатления полные горечи его слова, звучат они невнятно, ложатся не к месту, невпопад в такой снежный мягкий вечерок. А потому, хотя и прислушивается, но нисколько не разделяет Любушка сочувствие дружка своего к загнанному жизнью в угол работяге. Плохо убеждает? А, может, это сидит в гимнастке спортивное: каждый за себя и один Бог за всех! Как бы там ни было, а к Любиной бабушке в гости, хотя подруженька дважды, вроде как не нарочно, выписывала, взяв его плотнее под ручку, вензеля вокруг заветного дворика, они в тот вечер не попали. Олег дал понять, что очень устал и хорошо бы ему сегодня, как следует, выспаться. Люба тут же надула сочные губки, вскинула чемпионскую головку повыше, ангельским голоском съязвила; давай, соня, давай, топай к мамочке, дрыхни. Ты же у неё теперь вон какой — настоящий строитель социализма...

* * *

Чтобы болезненно мнительный, опасющийся подвохов и заговоров бригадир, не принимавший и на дух дружеские отношения своих подчинённых, не заподозрил их в чём-то нехорошем, Олег и Иван придумали нехитрую уловку. Склонялись полегоньку над досками, держа наготове топоры в руках, чтобы затюкать ими в первый же момент, а сами потихоньку переговаривались о своём, о том о сём, не забывая о бдительности. В один такой прекрасный день Макушенцев и оглушил Олега Муратова неожиданным вопросом:

— Слышь, студент, — подталкивая локтем своего дублёного кожушка синий ватник практиканта пробасил Иван, — ты такой город Какен-Какен знаешь?

Олег вздрогнул. Оглянулся. Да нет, никто, вроде за ними не сле-

дил. И он затрясся над досками, зажимая маминой варежкой рвущийся смех. Какой, какой город?

— Ка-кен-Ка-кен, — членораздельно, по слогам, как фармацевт неграмотному пациенту, ещё раз продиктовал странное название города не разделяющий веселье студента Иван. — Дания, есть же ж такая страна? Ну? Так вроде как там...

— А зачем он тебе сдался, вообще, этот Какен? — всё ещё склоняясь к шутке, допытывался Олег. — Богатый родич там отыскался? Или завербоваться на золотые прииски хочешь? Так тебя Филимончик непустит...

— Пока не скажу, — отвергал любопытство студента немногословный Иван Макушенцев. — И ты никому не звони. Можешь помочь — помоги, нет — не надо, перебьёмся.

В конце дня, запихивая под тряпку в багажник всепогодного друга-велосипеда четыре традиционно украденных со стройки красных кирпича, Иван всё же ещё раз напомнил свою просьбу — пошукать этот немного смущающий названием и его самого загадочный город Какен-Какен. Но то, что есть такой город, это точно, гарантия! Не может не быть.

— Слушаю! — шуливо вскинул руку к козырьку Олег.

И, действительно, поднял дома все свои школьных лет ещё залежи, честно пытаясь помочь Ивану. Расстилал карты, рылся в справочниках и уцелевших на антресолях учебниках по географии, искал на полу стёртом глобусе город с таким или близким к такому названием. Безуспешно. Разные мелькали города и страны, параллели и меридианы путешествующему по глобусу и картам Олегу, но никакой Какен там и близко не стоял. Но утром, торопясь и обжигаясь горячим чаем, он вдруг допёр: коль Макушенцев что-то в названии связывал с Данией, это, неминусемо, Копенгаген! Её столица. Вот тебе и Какен-Какен...

Восторгу Ивана не было предела.

— Ну, студент, ну, архитектор, ну, голова! — чуть ли не отплясывал он вокруг польщённого Олега. Копенгаген, да, конечно, Копенгаген. А я как говорил? Да ты что?..

— Ладно, что было, то сплыло, зачем тебе Копенгаген понадобился?

— Понимаешь, Олег, — кажется впервые назвал Муратова по имени Макушенцев (а то всё «студент» да «студент»), — тут такое дело...

Под страшным секретом поведал Иван, что он давний и стара-

тельный ночной слушатель «Голоса Америки». Могучей зарубежной радиостанции, которую наши международные обозреватели, лекторы, агитаторы и политинформаторы клеймили на чём свет стоит, как идеологического диверсанта, злобного врага, изыгающего грязные потоки лжи и клеветы, ведущего провокационную пропаганду, преследующего подрывные цели, козни, идеологические диверсии против стойкого и сплочённого содружества советских людей. И для этого денно и нощно рассказывающей таким любознательным радиослушателям, как Иван, о действительных событиях, которые проистекают в СССР. Вот же интересно!

В Америке — стране, расположенной более чем за десять тысяч километров от России, отгороженной от Европы и Азии огромным Атлантическим валом, о техногенных катастрофах на шахтах и рудниках, о падении самолётов, взрывах, пожарах, авариях, убийствах, происходящих в СССР, янки узнавали в тот же день. А коренные жители Советской страны — трудно поверить — о чрезвычайных происшествиях, наподобие того, как под Саратовом, на Волге, протаранил мост мачтой теплоход, узнавали только через год. Или через три года. А то и двадцать лет спустя. Кое-кто так и вообще жизнь мог прожить, а ничего такого не узнать... Откуда? Если молчат газеты и безмолвствует радио вкупе с телевидением. Слушайте вон лучше концерт Сергея Лемешева по заявкам радиослушателей и смотрите КВН с Мотей Левинтоном, партия позаботится о вашем благополучном умонастроении, дорогие товарищи!

«Голос Америки» и предложил своим поклонникам необычный конкурс, причём, конкурс беспроигрышный: отправить им на радио письмо с рассказом о том, как сегодня простым советским людям живётся в СССР. Рассказать о своём житье-бытье бесхитростно, без прикрас и всяких там литературных ухищрений. Ну, как бы письмом другу. Призы получают авторы всех писем, а наиболее проявивших себя одарят японскими магнитофонами! Представляешь, студент?

Прекрасно понимая, что отправить из Урюпинска или Весьегонска письмо в преступную Америку означает обречь себя на муки допросов в прокуратуре, а то и у Карповой Галины Борисовны, «Голос» предложил адресовать весточки в нейтральный Копенгаген, на выдуманную фамилию. Такую корреспонденцию по законам Страны Советов вскрывать и проверять не должны. Не станут. А риск оправдан: в награду дают не бумажный диплом ВДНХ, а магнито-

фон «Сони»! Никель, пластмасса, звук, компакт-кассета...

— Дочка спит и бредит эти магом, — делился семейным Иван. — В руках его не держала, а всё знает, где ленты заправляются, как склеиваются. У богатой подружки в школе такой видела. Я-то в этих делах ни бум-бум. Мне топориком... — смущённо улыбался Иван. — А Маришка все уши прожужжала: давай, пап, пошлём письмо, давай пошлём. Сама уж на полтетрадки чего-то там накатала. Всё! Копенгаген. Ну, надо же! Теперь пошлём! Авось не тридцать седьмой год, не посадят.

В утреннем рабочем автобусе, следующем рейсом «Автовокзал — Стройбаза», автобусе переполненном, как сельдями бочка, битком набитом трудовым людом, какого-то незадачливого доходягу припёрли к дверцам на корме так, что он только и смог напоследок выпустить из сморщенного от постоянного недоедания кишечника зловонного шептуна, быстро поплывшего по салону. Мамочки, что творилось!

Умолкли и стали подозрительно принохиваться друг к другу самые бдительные. Перестала толкаться, «обилечивая» пассажиров, горластая девка-кондукторша. А усатый шофёр, по кличке Эльбрус, получивший в кабине самый сильный — тепловой — удар, вообще вынужден был остановить свой громоздкий львовского производства автобус на обочине трассы. И распахнуть двери в поле, в мороз, тщательно проветривая отравленное газами похлеще метана, бесовестно скомпрометированное транспортное средство.

— Убил бы сейчас гада своими руками! — заставлял поверить в искренность обещания вытянутыми в простор огромными мохнатыми лапищами бригадир Филимончик, ночевавший накануне у вдовой табельщицы.

И шофёр, сочувственно кивая, стыдливо прятал глаза, опасаясь, как бы самостоятельный следователь не начал казнь именно с него, человека хорошо воспитанного, а потому не в меру робкого.

А у проходной стройбазы странное царило оживание. Бестолково бегали вдоль и поперёк площадки то ли захопотаанные сверх меры, то ли чем-то расстроенные тётки-строительницы в неуклюжих ватных штанах, мрачных платках и грязноватых «куфайках», как называл телогрейки бригадир. Угрюмо помалкивали сбившиеся в тесный клубок мужчины-курильщики, односложно отвечающие на какие-то вопросы обращавшихся к ним сотрудников ГАИ, прикативших на стройбазу в чьём-то личном автомобиле. И отпу-

гивала истошной сиреной зевая разворачивающаяся у проходной кремового цвета карета «скорой помощи», в окошке которой рядом с фельдшером в белом халате можно было различить испуганное и заплаканное, в мелких оспинках, лицо конторской женщины-табельщицы. Отправленной на «скорой», по всей видимости, для сопровождения... Кого?

— Да Макуху вашего щас только автокран сбил, — заставил растеряться и на глазах начать бледнеть бригадира — Филимончика — шустрый пацанёнок, инженер по технике безопасности стройки, уже успевший чуть ли не на коленке написать и заполнить три экземпляра актов о несчастном случае. — Видите, велосипед он свой у проходной ремонтировал, а кран задом сдавал, в потёмках что увидишь?..

— Как сбил? Да ты что?! — судорожно глотал морозный воздух Филимончик. — Братуха мой двадцать лет за рулём, всю целину отпахал... Что ж теперь будет-то, а?..

Валялось у забора безобразно отломанное заднее колесо велосипеда. Рядом с ним змеилось звено разорванной цепи, из которой Иван, видимо, выковыривал отвёрткой набившийся сырой снег, чтобы ехать дальше... Доехал... «Жена! Жене сообщили?», — кричала инженеру по технике безопасности женщина-штукатур в сбившемся на ухо платке. Но не было слышно, что он ей отвечал.

* * *

Три с половиной года колонии общего режима получил крановщик. Плотники и бетонщики из бригады — свидетели на суде — после оглашения приговора негромко переговаривалась: хорошо ещё отделался. Счастье его, что Макушенцева хотя и помяло крепенько, но выжил, уцелел. Теперь оклемается...

Иван, действительно, помаленьку оклемался. Вначале с костылями и палочкой, а потом только с палочкой приезжал с попуткой на стройку, где его перевели в сторожа. А потом совсем стройку бросил, из деревни своей не выезжал. Принялся разводиться с женой кроликов, на пух и на мясо. «Сама» сидела за чесальной машиной, вязала и сбывала перекупщикам детские и взрослые шапочки, шарфики, варежки, носочки — самодельные товары, пользовавшиеся спросом покупателей вплоть до Мурманска, Норильска, Ханты-Мансийска и буровых установок на Кольском полуострове, где тоже живут и трудятся люди, мёрзнувшие в условиях бесчеловечных хо-

лодов, арктических льдов и пронизывающих северных ветров. Тёплые пуховые вещи их просто спасают.

Ещё Иван забивал в сараюшке мясистых специальной породы кроликов. Шкуры выдeldывал и продавал скорнякам на шапки, мясо шло на еду в свою семью, а частью — на продажу.

Отправилось ли тогда в путь то его письмо для «Голоса Америки»? Олег Муратов, совершенно случайно встретив через тройку лет Ивана Макушенцева на осеннем рынке, где продавец стоял за мясным прилавком, а покупатель вместе с молодой, по-спортивно-му стройной женой присматривал вырезку для дачного шашлыка, спрашивать ничего не стал. Не потому что для новоиспечённого инженера-строителя была уже просто не интересна судьба некогда бывшего ему добрым другом человека, а... Видимо, сработали первые полученные на той же стройке уроки — не лезь со своими расспросами человеку в душу. Тебе и так всё, что нужно, скажет молниеносный сполох его зрачков, отблеск в самых уголках, дальних зарницах растерянных глаз. И не нужно будоражить глубоко захороненное в курганах памяти, ворошить прочно забытое. Больно!

«Не ворошите старые могилы, они чреватy новою бедой», — прозорлив был поэт из поэтов Александр Твардовский.

Лучше просто было пожать покрепче Ивану руку, как вроде виделся ты с ним не далее, как вчера. Поулыбаться. Обменяться парой ничего не значащих фраз. Да на том и распрощаться до лучшей до поры до времени.

И — всё.





Александр ЗОТОВ

ЗАПИСКИ ГРИНЬКОВА

Из дневника конкретного человека

Предисловие

Александра Гринькова, светло-русого, подтянутого офицера, я знаю давно, солдатами мы подружились, потом вместе учились в военном училище и в институте. И, что ещё нас роднит, — мы с детства пишем рассказы. На какой-то период судьба развела нас в разные стороны, но с недавних пор мы снова служим в одной воинской части. Александр — тактичный и волевой офицер. Он способен спросить и тонко понять человека.

Я был намерен писать повесть. В Гринькове нашёл прототипа. Я знал, что он издавна ведёт свой дневник, но видеть его — я никогда не видел. Однажды застал Гринькова с раскрытой тетрадью. Александр перехватил мой взгляд.

- Хочешь посмотреть?
- Да ну... — я смутился.
- Вижу — хочешь, да приличье не позволяет. Но... ты — друг!

Александр Зотов родился 23 февраля 1953 года в Тамбове.

После окончания Культурно-просветительного училища был призван в ряды Вооружённых Сил, где и прослужил более 25 лет. Окончил Ленинградское военное училище и Тамбовский институт культуры.

Майор запаса.

Прозу пишет с юных лет. Публикуется с 1992 года в газетах, коллективных сборниках, автор нескольких книг прозы, вышедших в Тамбове.

Член Союза писателей России с 2008 года.

Я заметил, как охотно он даёт мне дневник. Не скрывая интереса, я прочёл сей дневник и — удивился! Уверовав в то, что Гриньков передо мной, как на ладони, я с изумленьем подумал: «Как всё ж мало я знаю его и о нём!» Нет-нет, моё мнение не изменилось. Наоборот! Мне всегда казалось, что, несмотря на определённые сложности (а у кого их не бывает?), его жизнь протекала несколько глаже. «Значит, не всё хотел говорить», — подумалось мне. Я загорелся! Теперь я настойчиво просил, чтобы он позволил мне писать повесть, взяв за основу его дневник. Гриньков колебался:

— А надо?

— Конечно! — убеждал я его. — Ты описываешь хороших людей! Это будет интересно...

— Что ж, ладно.

Гриньков попросил изменить в повествовании его фамилию (что я уже сделал), но, по возможности, оставить как есть имена других людей. Я обещал. Выбрал из дневника самое существенное, придал записям беллетристическую форму. И вот что получилось...

1. Детство

1

В жизни мне повезло сразу, а верней, в первые дни, месяцы, годы. Родившись на свет, я был обласкан, увидел небо и солнце.

Но вскоре, в детстве раннем, мне сильно не повезло. Я получил травму позвоночника и в шесть лет оказался в больничной постели. Меня готовили к операции. Я ждал.

— ...После той девочки, что в соседней палате, — будто заучив, поясняли мне мать и отец, дедушки, бабушки, крёстная, крёстный.
— Она постарше и ей нужней...

Попозже, уже потом, они признаются мне, что очень боялись: выдержу ли?

— А это страшно?.. — спрашивал я, глядя на них.

— Не страшно совсем! — бодрясь, мне они отвечали. — Будет наркоз. Уснёшь... Проснёшься, несколько дней и — домой!

— А можно будет играть?

— А то!..

— Поскорей бы!

Но операция девочке, с тем же диагнозом, что и у меня, прошла неудачно, у неё отнялись ноги, и мне операцию делать не стали.

— Держись, родной, — сказал мне врач.

И я держался. Держался, обвешанный гирьками и с маской на лице, которую снимали мне только на ночь и на время еды. И так всё лето почти: я смотрел на солнце сквозь оконные стёкла, представляя себе наш маленький домик, как соседские мальчишки играют в песочнице, и видел в этом пик простого человеческого счастья.

В августе, когда по словам дедушки, в нашем саду, возле нашего дома созрели и груши, мне позволили встать. Я пошатнулся. В шесть лет я должен был снова учиться ходить, как с колыбели. И учил меня этому, никогда не забуду, коренастый мужик дядя Митяй. В больничную палату, спустя полтора десятка лет после войны его привели раны, полученные им на Днестре и в Берлине.

— Не переживай, — говорил он мне добродушно, — какие твои годы. Да ты, дружок, ещё и батальоном командовать будешь!

Смущённый, я улыбался, не зная тогда, что эти его слова станут предсказаньем.

Прежде чем выписать меня из больницы, мне наложили гипс, периодически меняя потом. Через год, тоже в августе, гипс окончательно сняли, и я пошёл в первый класс.

2

На какой-то период моя болезнь сплотила моих родителей, и лечение моё стало для них главной заботой. Но спустя год, а может, и больше, они опять начали ссориться... Молодые, приятные люди, когда-то милы и любимы друг другу, теперь они вновь не находили общий язык, расходились, сходились... Продолжаться всё время так не могло, и наконец они решили подать на развод. Мы с братом переживали, очень и очень... Пожилая соседка, знавшая всё, с сожаленьем взглянув уходящим им в след, тихим и грустным в тот тягостный день, тяжело покачала седой головой и, вздохнув, проронила, слезу задержав:

— Не родись красивым, а родись счастливым.

Случайно услышав эти слова, которые касались родных мне людей, я сразу же вспомнил, как недавно совсем, сквозь позёмку, ходил в магазин. У прилавка тогда, передо мной, стояли молодые

муж и жена. Он — высокий атлет. Она ж — тонка и кротка, и неброская вовсе. Контраст был нагляден, и женщины, что стояли в очередь змейкой от кассы, начали говор как бы негромкий:

— Он!.. А она... Какого орла смогла окрутить!

Услышав такое, та оглянулась и, улыбкой своей магазин озарив, совершенно спокойно заговорила:

— Удивлены? И напрасно... Уж так получилось, что в час, когда Бог наделял красотой, я опоздала, что жаль безусловно, но счастьем когда наделял — тут была первой.

Я мало тогда что понимал, но в мгновение то был очарован: лучезарной улыбкой и взглядом нежнейшим, тоном спокойным и снисхождением. Муж её тоже не прятал улыбки, он смотрел на неё, он держал её за руку.

«Не родись красивым, а родись счастливым», — вдруг подумал тогда и я, вспомнив невольно о своих родителях.

3

Родители мои развелись, мне требовалось лечение и, по рекомендации врача, мать отправила меня, по окончании четвёртого класса, в детский санаторий, в село Ново-Томниково, что в Тамбовской области. Кроме того, что место оказалось там живописным, красивым, был и сам санаторий: белое здание в два этажа старинной постройки.

На втором этаже — место малышей и ребят младших классов. А на первом — кто повзрослей. В правом крыле нижнего этажа, теперь и моего, размещались мальчишки, в левом — девчата. Ходячих и лежачих — так их здесь называли — на летнее время размещали отдельно.

В просторном холе правого крыла, схожего с залом, проводились мероприятия — просмотр кинофильмов, концерты... И тогда лежачих привозили сюда на их же кроватях, под монотонные звуки скрипучих колёс.

В летний солнечный день, когда культурных мероприятий не проводилось, мальчиков вывозили на широкий балкон, что выходил к величавому саду, где гуляли все, кто мог и хотел.

— Эй, новенький! — крикнул мне лежачий старшеклассник. — Как тебя зовут? Санёк? Слышь, Санёк, яблочек принеси!

— Так они зелёные!

— Да ладно, давай, пока воспиталка не видит! А я тебя на гармошке играть научу!

— А не обманешь?

— Да ты что, Семёнычу не веришь?!

Старшеклассника звали «Семёнычем» по его фамилии — Семёнов. В санатории он давно, можно сказать, сторожил. Я принёс ему яблок. Он поблагодарил меня, смешно щурясь, надкусил фрукт, поправил за спиной подушку и взял гармонь.

— Иди сюда, шкедёнок, — сказал он.

Я не обиделся на Семёныча за это слово, потому что сказал он его беззлобно, с улыбкой и ещё потому, что я уже знал, что Семёныч никогда не будет ходить, с чем сам он давным-давно свыкся и духом не падал.

— Нажимай-ка сюда! — весело продолжал он, раздвигая меха. — А теперь вот сюда... Молоток, пацан! А теперь по кругу, по клавишам, давай, шуруй!.. Молоток!..

Вечером того же дня я подошёл к Вите Порошину, кареглазому пареньку, тоже лежачему, с которым успел познакомиться.

— В пятом — здесь будешь учиться? — спросил он меня.

— Да... А ты здесь давно? — я поправил на нём одеяло.

— С полгода, — ответил мне Виктор, вздохнув и положив под голову руку. — Одолела болезнь.

— И что такое с тобой?

— С шеста прыгнул. Поменьше был, а высота большая. Авось, думаю... Да не получилось. В нашей деревне многие на «авось» делают: авось промчу, авось проскачу... Ты не поверишь, но вижу как-то, до болезни ещё, мужик от соседей выходит, пьянющий, аж жуть! В калитке упал. Ему говорят: «Проспись...» А он: «Марьяночка ждёт». Жена его, значит. И стремится к машине своей легковой. Его под руки. Помогли — довели. Я соседям: «Как он поедет?». А соседи, не трезвые тоже: «Не бойся, Витёк, он ездит лучше, чем ходит. Авось домчит!». Я ночь не спал. Утром спросил, и мне сказали: «Доехал!». А у меня вот на «авось» — не получилось...

В глазах у Виктора тихая грусть.

— А с яблоками мы как? — продолжает он, чуть помолчав. — Врачи нам говорят: «Не рвите зелёными, не надо». Да только всегда ли мы слушаем их?.. Сань, ты больше не рви эту зелень. А на гармошке я тебя и так научу играть. Ты не знаешь ещё, как я играю на ней!

Его глаза загорелись.

— Точно научишь?

— Научу! Точно!

Потом, немного попозже, я понял, что «санаторские» ребята были разного склада, не прочь и пошалить в меру — детство брало своё. Однако я понял ещё и то, что люди там крепко становились друзьями. Там многим ребятам казалось, что думают и размышляют они гораздо больше, чем их сверстники дома. И основание было... Ведь кто-то в санаторий приезжал на лето, чтобы отдохнуть и набраться сил, а кто-то лечился и учился в его стенах годами; кто-то ходил, а кто-то лежал в «лангетке», а ведь кому-то и сидеть-то было нельзя...

Медики и педагоги детского санатория творили чудеса! Скольким ж ребятам они вернули здоровье и веру в себя! Скольких ребят они поставили на ноги и дали путёвку в жизнь! И теперь, спустя многие годы, вновь, я говорю им:

— Большое спасибо!

4

...А что касается Вити Порошина, то он сдержал своё слово — он оказался настойчивым и терпеливым. Я, будучи дома, уже шестиклассником, благодаря во многом ему, был приглашён на свадьбу как музыкант!.. До этого я никогда не видел свадьбы так, откровенно. Меня хвалили. Пришедшие посмотреть на свадьбу бабульки с теплом смотрели на меня, а одна даже всплакнула и погладила меня по голове. А я играл!.. Играл и играл, сменив баяниста дядю Вадима. Свадьба плясала! Морозные узоры, казалось, дрожали на окнах просторного коридора вместе с печкой, люстрой и дощатым потолком под белой штукатуркой, и через открытую форточку, в метель, неслись, совсем не зимние, удалые частушки:

*Я по речке плаваю
С незнакомой дамою.
А причалить не могу —
С палкой муж на берегу! Эээх!..*

Разбитная девица, в такт громкой гармошке, играла всем своим телом, не жалея в азарте ни голоса, ни каблуков.

*Ты куда меня повёл,
Такую молодую?..*

В ответ аккорд и — нескладушки, голос мужской:

*На тот берег реки!
Иди, не разговаривай!*

Свадьба была в разгаре — стучали каблуки, перед глазами мелькали весёлые лица. От столов с шикарной сервировкой, от водки и сервелата, всё подходили и подходили новые удалыцы, чтобы помолодецки ещё и ещё раз притопнуть по крашеному полу. На секунду я приблизил голову к гармошке, а когда опять взглянул на румяные лица, то не нашёл дядьки, который только что вошёл в круг. Я попытался отыскать его взглядом, но пляска, независимо от меня, как по команде дирижёрской палочки вдруг дружно остановилась. Исчезновение дядьки заметили все. А причина была уж больно забавной: люк погребка не выдержал накала! Брус надломился, и дядька рухнул в узкий проём. Благо, погреб оказался неглубоким, а дядька поджарым. Мужчины и женщины общими усилиями, под запоздалый хохот, достали его на поверхность, где улыбаясь, смущённо, дядька зачистил:

— Ах, чёрт! Ах, незадача! Ну заставь дурака плясать!..

5

Со свадьбы домой я пожаловал поздно... Приятно устал. Сразу разделся и сразу лёг спать. А затем, целую неделю, был полон воспоминаний: танцы, веселье... Меня, уже совсем сытого, угощали там всем сладким, мной восхищались, я как-то стеснялся, но вместе с тем ясно почувствовал, что не только люди для меня, но и я для людей, к тому ж сразу для многих, могу делать то, что радует их...

В один из мартовских дней за парту со мной посадили прибывшую в класс новую девочку: светлую, нежную, с волнистыми волосами, вздёрнутым носиком и желанным мне именем — Дина. Родители Дины купили дом, как и наш, окнами в сад, только побольше и подальше от школы. Район города был новым для Дины, и теперь, минув свою улицу, я часто провожал её — по белому снегу, тополиному пуху. Мы стали друзьями.

Прошло больше года, и она однажды спросила:

— Скажи, а кем ты хочешь стать после школы?

— Хотел бы военным... — несмело, покрываясь румянцем, признался я.

— И ты им станешь! Обязательно станешь!

— Правда?!

— А почему бы и нет. В тебе есть сила, душа!.. Да ты ещё и сам не знаешь, сколько в тебе этой силы!

Она сказала это с такой уверенностью, что я и сам, пусть и робко, но всё ж поверил в то, в чём всегда сомневался.

6

Уж так получалось, что после развода родителей достаток семьи никак не способствовал длительной учёбе, а мечта стать лейтенантом пока мне казалась далёкой, а может, и несбыточной вовсе. Поэтому, окончив восьмой класс, я решил не идти в девятый, а поступить в культурно-просветительное училище, чтобы получить сразу и среднее образование, и специальность. Ведь к тому времени я владел такими музыкальными инструментами, как баян, гармонь и даже духовые.

Я успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен на первый курс оркестрового отделения.

В дальнейшем я никогда не пожалел о принятом мною решении: в стенах училища я продолжал образование, а музыка со временем стала играть в моей жизни всё большую роль...

На этом моё детство кончилось.

2. Юность

1

Чего с малолетства я боялся всегда, то это того, что не буду в строю, не буду служить, не надену шинель, и поэтому, поступив в культпросветучилище, я спешно пошёл к лечащему врачу, пошёл раньше, чем он назначал.

Посмотрев, прощупав мою спину, врач улыбнулся и тепло, как

родному, душевно сказал:

— Можно сказать, ты здоров.

— А на службу меня призовут?

— Вижу, желаешь... Думаю, да.

Ответ мне был в радость, и я подумал: «Эти слова — это надежда! А значит — старайся! А значит — стремись!» Мне показалось в эти секунды, что я вижу блеск в своих же глазах. Я ещё спросил врача:

— А боксом мне можно будет заняться?

— Боксом?! — доктор удивился и помолчал. — А почему не теннис, не волейбол?

— Боксом хочу, — подтвердил я.

— Боксом?.. Гм... Что ж, занимайся, уж если твёрдо решил.

2

Немало воды утекло с тех пор. Для меня и сегодня, бокс — главный вид спорта. Однако тогда, всерьёз занимаясь музыкой, я признался себе, что заниматься ею и заниматься боксом мне будет сложно, из-за чего изначально не ставил перед собой естественной цели — достичь в нём высоких результатов. В итоге бокс стал для меня просто средством, что укрепляет дух. Я ещё больше убедился в том, что бокс — это не драка, это искусство; а бой на ринге — своего рода спектакль.

Боксом занимался сравнительно недолго, с сожаленьем покинул ринг, но спорт, который сделал меня сильнее, полюбил всей душой. По сей день я занимаюсь им самостоятельно, пользуясь специальным пособием, и долго это делал под наблюдением врача. Гантели, боксёрские перчатки, турник... К девятнадцати годам я подтягивался на турнике около пятидесяти раз, легко делал подъём переворотом... Я не любитель спиртного, никогда не курил. Здоровый образ жизни, спорт помогли мне держать отличную физическую форму. Мои друзья и знакомые видели это, многие брали пример.

К драке как таковой я отношусь отрицательно, считая, что ударить человека — это низость. Однако, откровенно скажу, как ни старался я уходить от уличных проблем, порой по юности избегать их не удавалось.

Однажды, поссорившись на Набережной, уличные авторитеты

собрали ребят и поставили их друг против друга. Чтобы конфликт не так привлекал к себе внимание, договорились сойтись трое на трое. Сами того не ожидая, по стечению обстоятельств, в это число попали и мы с Анатолием, с моим братом, который всерьёз уже увлекался боксом. Благо, проходил мимо милицейский патруль, и страсти быстренько улеглись...

Вспомню и ещё один случай, коль затеял такой разговор... На летние каникулы мы с Анатолием поехали в гости, к отцу за Урал, в рабочий посёлок, где он проживал. Ребят в посёлке мы встретили разных: гостеприимных и не очень, степенных и забияк. Буквально через день после нашего приезда, возвращаясь из клуба, Анатолий получил синяк под глазом лишь за то, что будто бы «не так» посмотрел на парней. Произошло это так быстро, что от неожиданности брат и слова сказать не успел.

Посёлок не город и вскоре главный виновник — бесноватый рыжий паренёк — попался нам на дороге. Я хотел его пристыдить: мол, как же так — впятером на одного — и на этом закончить наш разговор. Да не тут-то было! Парень повёл себя дерзко! Обычно спокойный, Анатолий возмутился:

— Ты что, так ничего и не понял?!

Анатолий годком моложе меня, но внушительней был он уже и тогда. Думаю, несмотря на его откровенность, именно по этой причине незнакомец всё ж остановил выбор на мне, при этом в надежде, как потом оказалось, на помощь друзей, навстречу к которым он и спешил.

— А ты что, хочешь того же? — спрашивал он, подступая ко мне.

— Ну попробуй.

— Легко.

Не думая, парень махнул кулаком, заставив меня защищаться. Я увернулся, удар просвистел возле самого уха. Затем нырок, назад, вперёд и дальше: закрывшись руками, парень прильнул к выступу дома; я не вкладывал силу в удары, но работал быстро... Такая серия продолжалась несколько секунд. Её прервал нарастающий шум. Из темноты появились ребята!

Анатолий сказал:

— Давай-ка, брат, к Владу!

Предложение было разумно. И мы поспешили к знакомой калитке. Та, точно ждала нас, открытая ветром. Мы вбежали во двор и закрыли засов.

После нелёгкого трудового дня родственники спали. Свет не горел. Влад, встретивший нас, встал у окна и смотрел в спины уходивших сельчан. Жилистый, он был постарше и повыше нас с Анатолием. Луна осветила его брови, темновато-густые, что сошлись к переносью.

— Я понимаю вас, — степенно, в доверительном тоне заговорил он. — С некоторыми умниками и сам завтра поговорю, как из тайги приеду... И всё ровно, вы аккуратней... Ведь пройдёт месяц и вы уедете, а мне-то здесь жить.

Днём, к дому Влада пришёл местный авторитет, среднего роста, крепкий блондин, чтобы послушать и нас с Анатолием: из-за чего спор?

— А если на твоего брата руку поднимут, тогда как? — ответил я вопросом на вопрос.

— На моего?.. Гм... Ты убедил. Ладно, проблем больше не будет. Только скажи, Влад вам правда двоюродный брат?

— Ну да...

— Значит тем боле! На бережок?!

— На бережок!

Мы все улыгнулись и шагнули на берег.

3

По моему мнению, взрослел я быстрее, чем многие мои одноклассники. Я много думал о жизни, думал о будущем. А начал думать и размышлять, опережая годы свои, ещё в больнице. Участь в школе, рано завёл личный дневник, читал книгу за книгой и не вижу ничего удивительного в том, что, будучи школьником, написал свой рассказ, который долго никому не показывал.

Первым моим читателем, когда мне сравнялось уже семнадцать, стал близкий мне человек — Дина. Ей нравились все мои начинания, устремлявшие меня вперёд. Внимательно прочитав небольшие рассказы, что были в обычной школьной тетради, она дёрнула тоненькой бровкой и, улыгнувшись, сказала:

— А ты талант! Дерзай!

Я ей, доверяясь, ответил:

— Прозу писать очень непросто... Пишу рассказ — и всегда недоволен им! Отодвину в сторонку, закрыв тетрадь... А тема со мной! Зацепился за мысль и рука — к авторучке!.. И твёрже перо бежит по листу...

4

И вот культпросвет позади. Потом работа. А потом...

Тёплый осенний день. С неопишуемым чувством радости, даже восторга, переступил я порог военкомата. Прошёл медкомиссию.

— И где б вы хотели служить? — спросил немолодой бравый полковник.

— Куда пошлётё! — не скрывая радости, ответил я.

— Похвально! Верю, выйдет из вас толк! Ну что ж, тогда в Военно-Морской флот?

Однако судьба распорядилась иначе. Как специалиста меня призвали служить в оркестр, в воинскую часть, что дислоцировалась в родном городе.

Служить в армии и заниматься делом, которое знаешь и которое тебе по душе, оказалось вдвойне интересно.

На этом моя юность закончилась.

3. Взрослая жизнь

1

Служба в армии мне нравилась. Порядок, дисциплина, строй... Дружный коллектив... Я восхищался отлаженным механизмом воинской части, где люди, не считаясь со временем, не жалея сил и здоровья, выполняли поставленные перед ними задачи. Видел я и нерадивых, но с ними работали, и они исправлялись... Особенно мне нравились офицеры, их особая выправка...

Когда мне исполнилось двадцать два и я служил уже сверхсрочно, я сделал предложение Дине, и она его приняла. Но тут возникло препятствие: невеста моя поначалу не понравилась моей матери и она даже отказалась участвовать в свадебном торжестве. Нет слов, как я переживал, не меньше переживала и Дина.

— Бывает и так, — с кроткой улыбкой сказала она.

Однако наша с Диной любовь растопила сердце матери, и она вскоре, смягчив характер, присоединилась к свадебной подготовке. И свадьба — состоялась! Жаль отец не приехал, здоровье его

подвело, однако, среди многих, было и его поздравление, и ничего, что телеграммой, главное — было!

Надо сказать, что впоследствии за многие годы нашей с Диной совместной жизни, моя жена и моя мать никогда не поспорили между собой, не поссорились и даже голоса не повысили друг на друга, но, жаль, что роднёй они так и не стали.

2

...А тогда, после свадьбы, мы в первое время пожили у родителей Дины. Но у Дины был брат, и его свадьба тоже была не за горами. Стали думать: где жить?

— А вы к бабе Клаве, — посоветовали нам. — Может, и возьмёт вас на квартиру.

Так мы и сделали. Баба Клава жила одна, недалеко, в большом ухоженном доме. Семьдесят пять за плечами, дочь чуть ли ни каждый день навещала её, и чего бабусе хотелось в старости, так это покоя. О постояльцах она и не думала, но нам всё же не отказала:

— Приходите, коль негде жить, что ж тут поделывать.

Сжалилась, значит. А позже сказала:

— А с вами мне как-то и веселей, и спокойнее даже.

И тут же нам случай рассказала, что недавно нагнал сильный страх на неё:

— Лежу ночью, слышу — всплеск в темноте, опять и опять... Что такое? Перекрестилась. А всплески сильнее! Ну, думаю была ни была: пойду на смерть! Поднялась я с постели и на кухню! Свет зажигаю, глядь: а в ведёрке под умывальником мышонок барахтается. Смешно мне стало. Отнесла я мышонка в этом ведёрке и легонько пустила к себе в огород. Пусть, думаю, живёт!

Нам с Диной тоже весело стало. Дина смеялась, а потом, иногда, и шутила над этим с бабушкой Клавой.

* * *

Почти год, пока нам не дали квартиру от части, мы жили в том, чужом для нас, доме, но с теплом вспоминаем наш тот период, бабушку Клаву и соседей её, похожих на наших соседей с удивительных улиц нашего детства. Работая, занимаясь хозяйством, воспитывая двоих, четверых ребятишек, они успевали ходить друг к другу в гости, общаться, помочь, если надо. А как были рады успехам соседа! Свадьбе соседской!..

3

А между тем жизнь бежала своим чередом. В семье всё ладилось. На службе — тоже. Я гордился тем, что играю в военном оркестре, однако в мечтах хотел идти дальше — стать офицером.

Да, я согласен, в основном, каждый человек делает свою судьбу сам, но считаю — это великое дело, когда на пути, в жизни твоей, встречаются люди или человек, который подставит плечо в нужный момент, поможет советом, поймёт и поддержит тебя, поможет приблизить мечту.

И — мне вновь повезло.

— Учиться желаете? — однажды спросил меня командир.

Я ответил:

— Желая!

— Тогда — в военное училище!

В лице командира воинской части, его заместителя, офицеров-сослуживцев я встретил людей, которые поняли и поддержали меня. Для них я не был ни сватом, ни братом — я стремился, служил, а они, старшие, видели это и помогали мне. Я сумел окончить военное училище...

4

...Конечно, болезнь детства создала мне когда-то серьёзные неудобства (о чём не всегда хочется говорить), и утверждаться в жизни, даже на улице, мне порой приходилось сложнее, нежели другим ребятам. Скажем, в начальных классах меня освобождали от школьной физкультуры, заменяя лечебной, чего я не мог не стесняться. Появились комплексы... Однако я вовремя понял, что утверждаться надо не крепким словцом, не обижая других, а силой духа. Я рано заметил, что малейшей оплошности своей не ищу оправданий, вижу личный промах и сам себе мысленно говорю: «Возможно, за неверное действие своё я смогу оправдаться перед тем или иным человеком, а вот перед собою — нет». Чтоб подкорректировать своё поведение, я издавна выработал для себя правила, которые с возрастом дополнял и совершенствовал, которым следую и некоторые из которых готов назвать прямо сейчас, уверенный в их пользе не только для себя:

- Людей нужно очень любить.
- Человека нужно — понимать. Я никогда не хотел чтобы меня кто-то жалел, но всегда хотел и хочу, чтобы меня понимали, и уверен, что этого хочет каждый из нас и в том числе тот, кто находится рядом.
- Есть ситуации, в которых, прежде чем упрекнуть человека, поставь себя на его место.
- Старайся! Одно дело, когда старался, стремился и что-то не получилось, и другое — когда не старался, не стремился и не получилось.
- Дорожи дружбой.
- Ладь с совестью.
- Знай меру.
- Знай такт.
- Служи по Уставу.
- Обеспечь примерность.
- Будь — собой!

5

...В делах и заботах жизнь идёт быстро. Иногда мне кажется, что жизнь — это река, и я плыву на лодке: то по тиши, то по волнам... А бывает, вижу бурный поток и тогда сам себя спрашиваю: — Устою?

И сам себе отвечаю:
— Устою!

Вроде недавно был командиром взвода, потом возглавлял роту, теперь — заместитель командира батальона, майор. И возраст ещё только за сорок немного.

Посмотришь: рождаются люди, растут, мужают... В часть приходит молодёжь, как и прежде, — в основном добросовестные парни. Однако есть и такие, у которых дисциплина не блещет. Но тут же вопрос: «А откуда приходят они?». А значит, всем, от кого зависит это — надо бы прилагать побольше усилий...

А сколько ж людей встречается добрых, хороших! Наверное, мир не идеален и зла в нём хватает, но я не устану повторять: людей на Земле значительно больше хороших, нежели плохих...

Мне очень хочется увидеть своих друзей, друзей детства и юности, отличных ребят, которых по разным причинам давненько не

видел: Витю Порошина, Николая Кругова и других, чьи имена не называю сейчас, но которых уважаю и помню всегда.

Мне от души вновь и вновь хочется благодарить дядю Митяя, всех родственников и друзей, сослуживцев, командиров — всех тех людей, которые в разное время помогли мне, поняли и поддержали меня. Отдельное спасибо я говорю родителям, которые дали мне жизнь, родителям родителей, рановато ушедшим из жизни, моей крёстной. Отдельное спасибо я говорю жене, подарившей мне троих сыновей.

...Идёт строй — волнуется сердце: наша армия защитить своё Отечество умела всегда. Выходит моя новая книга — волнуется сердце: пусть в ней есть недостатки (правы критики!), но она о военнослужащих, о нравственности и патриотизме, значит это нужная книга.

6

Если б меня спросили: «А что бы ты сделал, если б у тебя появились большие деньги?», — я бы не задумываясь ответил: «Перво-наперво восстановил бы детский санаторий в селе Ново-Томниково, построил бы храм или красивую церковь, а рядом — дома для бедных прихожан...»

Я с трепетом читаю слова: «Красота спасёт мир!». Но я бы переиначил так: «Доброта спасёт мир!»

Мир спасёт — доброта!





ЛЮБОВЬ АСЕЕВА

В КРАЮ СКАЗОК

Рассказ

Всё началось с того, что перед самым Новым годом и зимними каникулами папа вдруг неожиданно выпалил:

— Решено! Едем встречать Новый год туда, где рождаются сказки!

Папа всегда так выражается. Я называю это — красиво. Мама — образно. А сестрёнка моя Уля (она маленькая, ей всего три года) считает — непонятно. На этот раз она очень удивилась и спросила:

— Сказки рождаются? Как дети?

Мы все засмеялись, а папа неожиданно согласился:

— Да, как дети! Нет ничего и вдруг — сказка!

Я, хотя большой девятилетний мальчик и давно привык думать сам, всё же крепко озадачился. Оказалось, всё очень просто: наши родители решили удивить папиных дедушку с бабушкой и поехать к ним в гости.

Чем же удивить? Конечно же, Улей. Во-первых, они её ещё ни разу не видели. Во-вторых, посмотреть было на что. Уля — необыкновенная девочка. Вот взрослые говорят о тех, кого любят: свет в окне! А мы Улю так любим, что без преувеличения можем сказать: солнышко в оконце! Она и красавица, с белокурыми шёлковыми кудрями, с яркими синими глазами, и умница-забавница, о чём я, конечно же, ещё расскажу. И, надеюсь, вы со мною согласитесь.

Любовь Прокопьевна Асеева родилась в 1934 году в Алтайском крае. Окончила Томский государственный университет. Работала учительницей в школах, методистом.

Автор нескольких книг прозы, вышедших в издательствах Томска, Новосибирска, Москвы и Тамбова.

Член Союза писателей с 1974 года.

Папа стал вспоминать, как нравилось ему в детстве бывать у дедушки с бабушкой. Нам с сестрёнкой они прадедушка и прабабушка. Живут они недалеко от Москвы, но всё же не близко. Дом их стоит возле самого леса, так как дедушка до самой старости работал лесником. Там есть глубокая река, в которой летом хорошо купаться, а зимой мчаться на санках с её крутых берегов. Сейчас река скована льдом и засыпана снегом, и местные жители берут воду из проруби, пробитой во льду.

Мне невыносимо захотелось скорее отправиться в дорогу, а Уля спросила:

— А волки и медведи к ним заходят? Ведь страшно: возле самого леса?

Я подумал и успокоил её:

— Если дедушка — лесник, у него должно быть ружьё. В лесу без ружья нельзя!..

Я стал поторапливать родителей, и все мы спешно засобирались. Накупили всякой всячины: подарки дедушке и бабушке, сладостей, игрушек для украшения ёлки. Всё хорошенько упаковали, чтобы ничто не сломалось и не искрошилось, и погрузили в багажник. Уютно устроились в машине каждый на своём месте, раненько поутру, чтобы во второй половине дня быть у старичков, отправились в счастливую неизвестность. В том, что в счастливую, я ни чуточки не сомневался. Что-то мне это предсказывало.

Погода, под стать моему настроению, стояла чудесная, можно сказать, весёлая — солнечно, тихо. Машина плавно и ровненько катила по гладкой дороге. Мелькали нетронутые снежные поляны, деревья то в снегу, то в кружевном инее; по голубоватому снегу скользили какие-то непонятные тени.

Мы с сестрёнкой поболтали о том, о сём, делясь впечатлениями от дороги, но вскоре её укачало, и мама попросила, чтобы я её не беспокоил: пусть поспит! А я, если честно, и не настаивал, потому что спокойно беседовать с Улей не пришлось бы. Почему? Да потому, что такой у неё характер: она любит спорить и доказывать своё и не соглашаться даже с очевидным. Прошлым летом мы всей семьёй ездили отдыхать на Чёрное море. Всю дорогу, пока ехали в поезде, я рассказывал ей о море, расхваливал его: и тёплое, и огромное, и красивое, и синее, одним словом, замечательное, неповторимое...

Увидев море впервые, Уля ничуть не удивилась. Окунув спокой-

но ножки в морскую ласковую глубину, спрашивает:

— Это море?

— А что же? Конечно, море, — отвечаю.

— Нет, это не море!

— Как не море? А что же?

— Вода!

— Да, вода! — соглашаюсь. — Но какая! И сколько много — целое море!

Подумала и заключила:

— Значит, водоморье!

Вот такая она, Уля, моя недоверчивая сестрёнка! Потому я и послушался маму: пусть поспит. Да и самому мне захотелось подумать. И помечтать.

Я стал представлять себе прадедушку и прабабушку, так как помнил их очень даже смутно. Какие они? Весёлые, строгие?.. Пусть лучше весёлые: люблю я повеселиться и поохотаться. И какой у них дом, что стоит у самого леса, — большой или маленький? И мне всё почему-то казалось, что избушка на курьих ножках. Как в сказке про Бабу Ягу. Но я гнал от себя это воображение, уж больно мрачные воспоминания у меня от этой сказки. Я думал о том, что, конечно, у дедушки есть ружьё; обязательно есть собака, может, лайка, а может, и другая охотничья, например, сеттер или спаниель. Да мало ли каких собак нет на свете, но только, конечно, охотничья... Обо всём этом можно было расспросить папу, но он был занят дорогой, и я опять стал думать.

Вспомнил, что едем на праздник, что обязательно будет ёлка. Наверно, дедушка принесёт нам из лесу самую лучшую, какой у нас никогда ещё не было. И пушистую, и свежую, и с шишечками, пахнущую зимним лесом и смолкой, как пишут в книжках. Но самое главное, что занимало меня, — это папины загадочные слова: там рождаются сказки!

* * *

Очнулся я (кажется, я тоже заснул) от испуганного Улиного крика:

— Волк! Волк!

И только сейчас заметил, что машина остановилась, а через стекло смотрела на нас смешная собачья морда.

— Собака! — засмеялся я. — Смотри, какая она смешная!

Собака, в самом деле, была забавная. Она любопытствовала: что же такое произошло? Кто такие? Зачем пожаловали? — вот что прочитал я на её морде, прислонённой к самому стеклу, запотевшему от её дыхания.

Уля, словно поняв её, сказала:

— Мы гости... Мы к вам приехали, собака...

Всем стало весело. Тем более, что на крыльце показались дедушка с бабушкой. Мы же с Улей вывалились из машины прямо на чистый пушистый снег — и началось столпотворение. Собака весело и звонко лаяла, бегая вокруг нас; папа обнимал стариков, что-то им говоря, а мама смеялась, глядя на собаку и на нас... Словом, встреча была радостная.

Наконец, маме надоела наша возня — она подняла нас, отряхнув от снега, взяла за руки и подвела к крыльцу. Бабушка расцеловала, дедушка обнял нас — лица у них были счастливо-добрые.

...Дом удивил меня простором, светом, которого было так много от больших окон с белыми занавесками. Полы сплошь были застелены пёстро-полосатыми дорожками-половичками, каких я никогда в жизни не видывал. Было тепло, вкусно пахло свежеспечёнными пирогами... Вот тебе и избушка на курьих ножках!

Я остановился, поражённый увиденным, а ко мне в это время подошёл огромный, очень красивый чёрный котяра с жёлтыми глазами, хитрыми и загадочными. Он обошёл вокруг моих ног, мурлыкая так громко, что понятно было: в доме он далеко не последнее существо. Я согласился с этим и осторожно погладил его тёплую блестящую шкурку, подавляя в себе желание сейчас же устроить с ним беготню.

Но Уля вдруг закричала:

— Емелина печка! Смотрите, печка!..

Она изо всей силы шлёпала ладошками по широкому белому боку печки, точь-в-точь такой, какая была у нас в книжке сказок. Словно художник побывал именно в этой избе и срисовал именно эту печь.

В самом деле, Емелина печка! Я так в это поверил, что, встав на приступок, заглянул за весёлую голубенькую занавеску, словно там, на лежанке, ожидал встретить самого Емелю. Но там было пусто... А Уля тем временем вопила:

— А где же Емеля? Где?

Она побежала по избе в большую комнату — горницу, как я уз-

нал после, — выискивать Емелю, словно он прятался от неё где-нибудь за шкапом или в большом ящике, обитом железными полосками, — сундуке. Она даже постучала по этому сундучку и прислушалась: не отзовется ли кто?.. Я хотел подыграть ей и помочь в поисках, но бабушка позвала нас к столу. Я почувствовал, что изрядно проголодался, и стал с любопытством оглядывать Емелину печку: а где же тут готовится еда?

Бабушка, словно угадав мои мысли, хитро улыбнулась, велела мне вместе со всеми садиться за стол и всё видеть и слышать. В одном месте она откинула железную заслонку, и открылось просторное печное нутро, тесно заставленное всякой разной посудой, как я понял, с едой. Бабушка взяла стоявшую в углу смешную рогающую палку, которую назвала ухватом, и ловко так посадила на него посудину, похожую на огромную чёрную грушу.

— Чугунок со щами, — сказала она и поставила его на шесток.

«Всякий сверчок знай свой шесток», — вспомнил я где-то услышанное. Шесток, оказалось, — площадка перед входом в печь.

Затем бабушка взяла другую палку, на конце которой была насадка в виде лягушачьей открытой пасти — сковородник, и подцепила им огромную сковороду. Потом ещё кочергой подтянула с чем-то глиняный горшочек. И щи, и жаркое были удивительно вкусны и душисты! Это потому, объяснила бабушка, что они не варились, а томились. Они могут целый день стоять в печи и быть горячими, потому что печка долго не остывает.

— Хороша русская печь! — похвалил дедушка.

— Почему русская? — возразила, как всегда, Уля. — Емелина же!

— Согласен! — дедушка не спорил с Улей. — Но Емеля русский человек — и печь у него русская.

Слушая бабушкины рассказы про чудесную печку и не забывая про вкусную еду, я тем временем поглядывал на ружьё, висевшее на противоположной чисто выбеленной стене. Меня донимал вопрос: ходит ли дедушка на охоту? Собака Волчок, что так приветливо и радостно встречала нас во дворе, на охотничью совсем не походила, скорее всего, она была самая настоящая дворняга... Откуда я знаю? Да из всяких разных книжек: люблю читать и узнавать что-нибудь новое. Может, и ружьё давно не стреляет, а висит на стене для украшения.

Наконец, я уловил момент и всё-таки спросил дедушку о ружьё и ходит ли он на охоту. Дедушка как-то непонятно вздохнул, глядя

то на меня, то на ружьё, и, грустно улыбнувшись, сказал:

— Ружьё-то, хоть и старинное, но стреляет как надо. А на охоту, внучок, давно не хожу. Одно дело — устарел, другое — думать стал иначе. Вот убью, думаю, лису, а она, может, не простая, а та самая, что ошмётку в быка преобразила. Помните, сказку? То-то, лес он, словно волшебный, там своя жизнь... Свои чудеса.

— А ружьё зачем?

— Зачем? Это — память. Ну и для остратки. Бывает, голодный волк зимой забредёт... Бывает, да!.. Вот и вспугну...

Ответ мне очень понравился. Да, если честно, то вопрос мой был не хуже. Я даже почувствовал себя гораздо взрослее, чем был в действительности.

Но всё испортила мама. Она совсем некстати вспомнила, что, когда я был таким маленьким, как Уля, то на вопрос: как ты спал ночью? — я отвечал: «Я ночью не спал!» — «А что же ты делал?» — «Ходил на охоту!» Всем было смешно. Смеялись тогда — засмеялись и сейчас. А я почувствовал знакомое: защекотало в глазах, подступили предательские слёзы. В этом смысле я слабый человек: обижаясь, плачу.

Но, к счастью, моих слёз никто не заметил, а может, просто сделали вид, да и Уля меня выручила. Перебивая маму, она спросила, округлив и без того круглые свои глаза:

— А волк-то настоящий?

— А то как же, — серьёзно ответил ей дедушка. — Самый что ни на есть настоящий! И настоящего телка однажды чуть не уволок.

Заметив, что Уля испугалась ещё больше, он её успокоил:

— Да ты не бойся, внученька! И ружьё у нас стреляет, и заступников у тебя много! А главный — вот он!

И дедушка, к моему удовольствию, показал на меня.

Уля успокоилась, и все сообща стали решать, как распорядиться остатками короткого зимнего дня.

* * *

Папа с дедушкой и собакой Волчок ушли в лес, в специальный питомник, где выращивают ёлки для новогодних праздников. Бабушка осталась дома, а мы с мамой, одевшись потеплее, отправились знакомиться с окрестностями. Уля обрадовалась такому решению: она надеялась встретить Емелю. Раз уж его не оказалось в доме, значит, отправился за водой и, возможно, уже договаривается со щукой.

Усадив Улю в салазки, мы с мамой бегом помчали её по тропинке, протоптанной, как мы догадались, к реке. Уля визжала от восторга, крепко держась за края санок, чтобы не свалиться в снег.

Вид с высокого берега был замечательный. Вдали густел лес; низкое зимнее солнце то пряталось, то появлялось над верхушками деревьев, и снег, освещаемый им, то внезапно синел, как Улины глазки, то яблочно розовел. И краски эти были настолько яркими и неправдоподобными, что я невольно залюбовался этой игрой света. Так залюбовался, что мне стало казаться, что это не привычное солнце прячется за лесом, а сама Жар-птица разыгралась, развеселилась, раскрашивая снежный белый мир волшебными красками...

Моё воображение тоже разыгралось бы, если бы не крики и смех ребят, катающихся с крутого берега реки, — кто на санках, кто на лыжах, а кто на каких-то смешных не то табуретках, не то лавках. Шум этот возвращал меня к действительности. Я бы и сам не прочь скатиться с этой крутизны, да что-то страшновато стало: человек я осторожный, но некоторые меня не понимают и считают трусоватым.

Пологой тропинкой спустились мы вниз и подошли к проруби. Возле неё скользко — мама крепко держала нас за руки. Вода была чёрной и страшновато загадочной — это от глубины. В ней кружились тоненькие льдинки, сталкиваясь друг с дружкой, и если стоять тихо, то можно было расслышать их какое-то грустное шуршание. Под это шуршание я вдруг вспомнил глупого несчастного Волка, обманутого хитрой Лисой; уж не в этой ли проруби ловил он хвостом рыбу и приговаривал по наущению той же пройдохи: ловись, рыбка, большая и маленькая, ловись, ловись... Рыбка не поймалась, а хвост примёрз... Жалко волка!..

А что думала Уля? Об этом догадаться нетрудно. Ей, наверно, представлялось: где-то там, в таинственной глубине, плавала, еле шевеля плавниками от задумчивости, старая-престарая щука, которую когда-то поймал Емеля, и ждала теперь его распоряжений.

Подошла деревенская тётя с вёдрами на коромысле. Приветливо поздоровавшись, она бросила коромысло на снег, а вёдрами ловко зачерпнула из проруби — вода в вёдрах оказалась прозрачной. Они были полными, вода колыхалась, и льдинки весело кружились.

Я уже где-то видел, как носят воду в вёдрах на коромысле, может быть, в книжке, может, в кино. Но Уля удивлённо тарасила свои синие глаза на тётю, на вёдра, на коромысло. Не утерпев, она

заглянула в вёдра и неожиданно для всех спросила:

— А щука вам не попалась?

— Щука? Какая щука? — тётя от удивления даже брови подняла.

— Как какая? Емелина...

— Ах, Емелина! — тётя засмеялась. — Нет, Емелина щука — для Емели. Нам она не попадается.

Словно сожалея об этом, тётя вздохнула, подняла коромысло, подцепив вёдра одним и другим концом, и неторопливо пошла в гору. Вёдра покачивались, вода плескалась в снег, образуя маленькие лунки.

Постояв ещё немного у проруби и полюбовавшись на резвящихся ребятишек, мы прошли по тропинке в лес. Заблудиться не боялись, так как тропинка была единственная.

В лесу было по-зимнему тихо и печально. Тишину нарушал только скрип снега под нашими ногами, да где-то дятел долбил дерево.

Снег лежал нетронутый, белый, чистый, кое-где засыпанный сухими сучками, сбитыми ветром с деревьев. Местами видны были чьи-то следы — кажется, птичьи и собачьи. А может, и звериные, я в этом плохо разбираюсь...

Уля чего-то взгрустнула и присмирела: мне кажется, оттого, что не встретила Емелю и даже ни одного следочка, оставленного им.

* * *

Возвращались усталые. Навстречу нам бежал Волчок — значит, ёлка была уже дома. Мы с Улей бросились наперегонки с собакой, но что-то заставило меня оглянуться. Сзади меня по тропинке не спеша шла не мама, как я ожидал, а Снегурка! Честное слово! Щёки румяные, глаза голубые, ласковые, золотистые прядки выбились из-под шапочки. Улыбка широкая, добрая... И вся она была какая-то воздушная, невесомая. Словом, нереальная... Но это была мама!

Словно чтобы убедиться в том, я остановился, ожидая её, прижался к ней нежно. Мама поцеловала меня и спросила:

— Что с тобой?

Не знаю, чтобы я мог ответить. Просто мне было очень хорошо. Как никогда.

* * *

Ёлка возвышалась посреди горницы — самой большой комнаты, ставшей теперь намного теснее, чем была. А под ёлкой, рядом с игрушечным Дедом Морозом, сидел чёрный котяра — жёлтые гла-

за его светились в ёлочной сумеречи. «Ну, ни дать ни взять, — пушкинский Кот учёный, цепи только недостаёт», — подумалось мне.

Папа, смеясь, рассказал, как этот любопытный котяра уколол себе нос ёлочными иголками, но всё равно не убежал, несмотря на боль.

Ёлка была — загляденье. Всем ёлкам — ёлка. Зелёная-презелёная, пушистая-препушистая, с шишечками, ароматная; на густых ветвях, словно звёздочки, поблёскивали капли от растаявшего снега.

Я вдохнул эту душистую свежесть, — и опять предчувствие чего-то радостного наполнило мою душу. «Как хорошо, что мы приехали сюда, — подумал я. — Как хорошо, что папа так решил...»

А Уля бегала вокруг этого волшебного дерева, совала нос в колючую дремучесть ёлки и смеялась, смеялась...

Появились коробки, пакеты, напичканные ёлочными игрушками, мишурой, гирляндами. Ёлку украшали всей семьёй. Даже дедушка... В лесу он насобирает крупных сосновых шишек, обернув их цветной фольгой, развесил по веткам, и они пришлись очень даже кстати.

Всё было сказочно и празднично, кроме одного: Уля не могла забыть Емелю и всё искала его. Мне даже казалось, что она высматривает его среди ветвей.

Во дворе темнело. Сумерки постепенно заполняли дом. В окно заглядывала какая-то в этот вечер особенная луна, свет её отражался на ёлочном украшении.

После ужина Уля уснула. А мы с мамой посоветовались и что-то придумали. Не без помощи бабушки отыскали в доме старинную шляпу, красный кушак — такой пояс — разрисовали фломастером мою белую рубашку всякими узорами, примерно такими, какие могли быть на рубахе Емели. Дедушка принёс свою любимую балалайку. Нарядили меня Емелей. Я подошёл к зеркалу, и мне показалось, что я вполне могу сойти за этого сказочного героя. Чем не Емеля!.. Вот завтра Улька обрадуется!

Спрятав подалше наряд, я тоже отправился спать. Всю ночь снилась мне щука, а я стоял у проруби, как настоящий Емеля, и о чём-то разговаривал с ней.

А о чём — не помню...

* * *

Проснулся я рано. Быстро оделся и выглянул в окно. Снаружи чуть-чуть светлело. Ещё и звёзды не все погасли. И деревья в снегу

стояли сонные. Но в доме уже ощущалась жизнь: где-то звякнула посуда, слышался тихий говор. Ничего особенного, но было отчего-то тревожно.

Взглянув на спящую Улю, вспомнил: Емеля! «Поверит, не поверит?» — подумал я.

Весь день был хлопотливым и шумным. Тем более, что бабушка пригласила в гости всех соседских ребятишек, чтобы всем было хорошо и весело. А для этого надо было заранее позаботиться обо всех и приготовить подарки.

Чтобы Уля не мешала нам поисками Емели, о котором она ну никак не могла забыть, мама придумала хитрость: сообщила, что по большому секрету ей стало известно: на праздник придёт Емеля. Уля обрадовалась и тут же переделась в наряд Красной Шапочки, который мы привезли с собой. К слову, я должен быть Волком, мы с сестрой даже сценку разучили из этой сказки для праздника. Но как я уже рассказал, всё пришлось переиграть.

...Солнце, наконец, спряталось за лесом, быстро, по-зимнему темнело. На небе одна за другой стали зажигаться звёздочки и заглядывать в окна нашего просторного дома.

Зажгли ёлку — горница стала цветной, пёстренькой и весёлой. И тут постучали в дверь — пришли девочки и мальчики, стало шумно от голосов и смеха. Гости сначала осмотрели ёлку, игрушки на ней — она им понравилась. А потом они чинно так расселись под ёлкой на домотканые в полосочку половички. Папа включил весёлую музыку — стало совсем празднично и легко. Некоторые девочки умели хорошо танцевать, а я пожалел, что танцы у меня не получаются. Да, танцевать я не умею, зато умею любоваться на других. И я любовался, особенно Улей: у неё, хотя она и маленькая, получалось красиво — и танцевать, и даже петь.

Наконец, по маминому знаку я шмыгнул в спальню и спрятался за ширму. Мама мне помогала. Нарядился не хуже Емели. Даже в лапти обулся (бабушка у соседей взяла, какие-то сувенирные), даже усики мне мама приклеила. Неприятно от них было, конечно, от этих усов, но ради Ули я готов был всё вытерпеть.

Волновался я так, что даже руки мои стали непослушными. Как чужие. Вцепившись в балалайку, словно это был не музыкальный инструмент, а простое полено, тренькая что попало и кое-как, неожиданно для всех я выскочил на середину горницы, поближе к ёлке.

Что тут было! Все захлопали в ладошки, прямо, как в театре,

засмеялись, закричали, плотно обступив меня, стали притоптывать вместе со мной под мою нелепую музыку. Все, кроме Ули! А ведь всё это было ради неё... Она же, раздвинув руками ребят, окруживших меня, подошла ко мне совсем близко, оглядела со всех сторон, потрогала зачем-то шляпу (я испугался: а вдруг снимет!) заглянула мне в лицо, огляделась кругом, ища что-то глазами, и вдруг спросила:

– А где Тёма?

Пытаясь спасти меня, мама сказала:

– Тёма сейчас придёт! — и для убедительности даже позвала меня: — Тёма!

– Где Тёма? — с обычным своим упорством потребовала ответа Уля. Голосок у неё дрожал — вот-вот заплачет.

Брякнув ещё раз по струнам несчастной балалайки, я быстренько юркнул в спальнку.

Превратившись в самого себя, я снова предстал перед Улей.

– Вот он я!

Слёзы покатались по щекам Ули.

– А где Емеля?

Этого я не ожидал и не знал, что мне делать. Я снова скрылся — и явился Емелей.

– А Тёма... Где он? — был всё тот же Улин вопрос.

Не один раз повторял я это переодевание, но слышал попеременно то: «Где Тёма?», то: «А где Емеля?».

И, наконец, устав и совсем запутавшись, я вышел в горницу самим собой, забыв, однако, снять усы. Вид у меня, конечно, был уморительный — все хохотали надо мной, я же не понимал, почему. Тогда Уля подошла ко мне и, прикоснувшись одним пальчиком к моим губам, спросила: «Емелины?».

...Я сидел на полу в спальнке, уткнувшись лицом в кровать, и плакал, плакал... Слёзы лились водопадом, рукава рубашки были так мокры, что их можно было выжимать. Умный котяра успокаивал меня громким мурлыканьем. Наверно, испугавшись потопы, я и сам начал себя успокаивать. Емеля, Емеля... Зачем я всё это придумал?.. Зачем мне Емеля? Я — Артём, обыкновенный современный мальчик. Люблю читать, в том числе и сказки. Не чураюсь компьютерных игр, смотрю мультики. Почему мне вдруг захотелось быть Емелей? Для Ули? Да!

Но, если честно, я и сам, увидев русскую печку, чуть-чуть не

поверил, что в доме, где есть такая печь, непременно должен был обитать Емеля...

В дверях слышались знакомые Улины шажки. Увидев меня в моём горестном состоянии, она крепко стиснула мою шею и спросила: «А где Емеля?».

Я промолчал, пряча своё горе. А она вдруг ласково так попросила:

— Покажи Емелю...

Всё ещё не веря, я спросил:

— Правда?

— Правда! — крикнула Уля. — Покажи, пожалуйста!

Кто сказал, что я плакал? Слёзы высохли мгновенно. Забыв все свои огорчения, до самого конца этого замечательного весёлого вечера я был Емелей: с балалайкой, в лаптях, разрисованной рубашке, подпоясанной красным кушаком, и даже с усами. На радость Уле, да и себе тоже.

А дедушка удивил нас развесёлой игрой на балалайке, он играл с таким воодушевлением плясовую, что даже бабушка не утерпела и показала нам, как надо танцевать под русскую музыку.

Время пролетело незаметно. За праздничным столом бабушке не пришлось никого уговаривать отведать её кушаний. А потом мы с Улей одарили новых своих друзей игрушками и сладостями, и они, усталые, попрощавшись, вышли гурьбой из дома, впуслав целый клуб холодного свежего воздуха...

Нам взгрустнулось на минутку, и мы попросили папу, чтобы он вышел с нами на простор.

Всё вокруг было иным, не таким, как днём. И дом при свете луны явился мне не старым, а старинным и живым. Он глядел на мир широко открытыми глазами, украшенными, словно ресницами, замысловатыми деревянными кружевами, и всем своим видом, как мне казалось, говорил: «Заходи, добрый человек, здесь тебя спасут от лютого зверя и недруга, обогреют, накормят, оживят твою душу мудрой беседой. Заходи, не пожалеешь!»

«Я и не пожалел!», — мысленно ответил я, уверенный, что слова эти были обращены и ко мне.

Деревья возле дома — ели, сосны, пихты — стояли неподвижно, храня какую-то вечно не разгаданную тайну. Я слышал, как они в тишине, тоже, словно живые, перешёптывались между собой...

А звёзды небесные, падая с высоты, разбившись о земную твердь,

рассыпались на миллиарды мелких звёздочек, украсивших снежное полотно так ярко, что больно было глазам.

Вспомнил я, что совсем рядом по своему трудному пути течёт река, стремясь к далёкому, далёкому морю. А в речке — бесчисленные косяки и стаи рыб, и среди них — Емелина щука...

И вдруг меня осенило: где же ещё рождаться сказкам, как не здесь! И так в это поверил, что в какой-то миг мне почудилось: мимо меня стрелой промчался Емеля... Промчался на санях — не на печке, мне почему-то показалось именно так. И исчез. Словно растворился в вечности.

Я наклонился к Уле и, не желая нарушать эту глубокую волшебную тишину, шепнул в ушко:

— Ты видела?

И недоверчивая моя сестрёнка согласно кивнула головой.

Подойдя к папе, я благодарно, как взрослый, пожал ему руку и сказал:

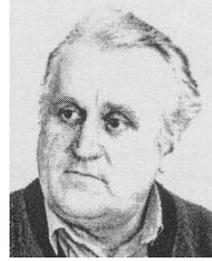
— Спасибо, я всё понял!

А понял ли папа, за что я его благодарил, не знаю. Не спрашивал. Но обязательно спрошу!



Виктор КОСТРИКИН

МОЯ ПУШКИНИАНА



Бессмертие поэта

«...Вы можете не поверить, но я скажу, что я для самого себя желаю такого конца, какой он имел».

(Из воспоминаний о. Петра Песоцкого, исповедовавшего Александра Пушкина 28 января 1837 года в самые мучительные минуты предсмертной агонии.)

«...Что выразалось на лице его, я сказать не умею, – что-то похожее на видение, на какое-то полное, удовлетворённое знание».

(Из воспоминаний В. А. Жуковского о последних часах жизни поэта.)

*Страданьем смертных мук томим,
Он вещим сном на миг забылся,
И шестикрылый серафим,
На этот раз – за ним, явился.*

*Он успокоился лицом,
Чертами ясен стал и светел,*

Виктор Константинович Кострикин родился в 1935 году в селе Заворонежском Мичуринского района Тамбовской области.

Окончил Мичуринский педагогический институт. Практически вся его трудовая биография связана с журналистикой.

Но он также активно занимается краеведением, прозой и поэзией. Публиковался в коллективных сборниках, альманахах; автор нескольких книг.

Член Союза российских писателей.

Живёт в Мичуринске.

*Как будто говорил с Отцом.
Господь спросил, и он ответил.*

*Был их безмолвен диалог
Меж небесами и землёю.
– На грешной на земле ты смог
Свершить ниспосланное Мною?*

*Тут ясный искажился лик,
Вернувшейся внезапно болью:
– Остался грешным мой язык,
Я пренебрёг Твоею волей.*

*– Но в храме духа средь менял
Не стал ты моде дня согласен.
Ты у народа перенял
Язык. Народ российский внял
Твоей поэзии прекрасной.*

*– Не стал Твоим веленьям мудр,
Той, с жалом, мудростью змеиной:
Чреда в России страшных смут
Стихами мечена моими...*

*И слышит Пушкин: – Круг забот
Не твой, поэт земли былинной –
Руси. Её величье ждёт.
Без Бога разве упадёт,
Хоть волосок, с главы невинной?*

*Средь пошлости, безверья дней,
Россия мир за ней влекомый
Сподобит праведностью всей
Заблудших Господа детей,
Ты не напрасно жёг глаголом
Сердца грядущих лет людей.*

*И мир тогда не будет пуст:
Посланец с Божьего порога*

*Придёт, немых коснётся уст
Десницей нового пророка,
Внушит душе великий дар,
Прекрасному служить воскресшей,
И в ней зажжёт священный дар
От пламени, в тебе горевшем.*

Дар

Из Козлова, где в конце 70-х – начале
80-х годов XIX века жили дети
Пушкина, генерал А. А. Пушкин и его
сестра М. А. Гартунг, к открытию
памятника великому поэту в Москве
Румянцевскому музею был передан в дар
сундук с бесценными рукописями отца.

*В июле месяце Козлов ещё терпим
И улица Московская чиста.
Денщик сдирает цепкие репы
С лошажьего дрожащего хвоста.*

*...Он десять вёрст за утро проскакал.
Игумен Троицкого монастыря
Благословил, хоть он и не искал
Совета ни у Бога, ни царя.*

*И вот теперь под липой на скамье
Присел, в листве синели облака,
А за оградой холили коней
Его гусары Нарвского полка.*

*Велел позвать сестру. Пришла Мари.
Огонь в глазах, порывиста в отца.
Спросила:
– Что решил ты, говори...
– Начала не бывает без конца, –*

*Ответил Александр. – И мы вольны
Распорядиться. Есть всему цена.
Как в сказочном дворце, душа страны
Таинственно в строках заключена,*

*Стучащихся на белый свет страниц,
Что под замками мы с тобой храним,
И едут к нам гонцы из двух столиц,
Но нам давать ответ не только им.*

*Тот петербургский господин был прав:
Не сундуков таких, подвалов нет,
Чтоб запереть не бриллиантов прах, –
Мгновенья жизни, что воспел поэт.*

*Подобным вправе мы одни владеть?
Не пьянице, что песнь, как вещь, пропьёт,
А то, за что не грех и умереть,
Вручим владельцу с именем Народ...*

*Пора в дорогу. – Молча обнялись...
...И вот – Москва, и монастырь Страстной,
Народ, народ – куда ни оглянись,
И шепот:
– Пушкин!.. Глянь-ка, как живой!..*

*...Мы здесь, отец! Исполнили завет.
Ключ передан. Открыт волшебный клад.
Скажи хоть слово! – Но молчит поэт,
Загадочен в тяжёлой бронзе взгляд,*

*Как будто прозревает впереди
Всё то, что недоступно никому.
Пред ним встают народы и вожди,
То тьма сквозь свет, то луч пронзает тьму.*

*И, может, этот маленький Козлов,
Где не был он, и всё ж, всесущ, объял*

*Божественною музыкою слов
И смыслами – началом всех начал,*

*Где на исходе века, у межи,
У ближнего Тамбовского угла,
Двух пушкинских кровинок малых жизнь
Однажды благотно протекла.*

Нам бы Пушкина глоток...

«Два года назад Госдума узаконила единый экзамен, отодвинув его повсеместное введение до 2009 года... Эксперимент провалился. На мнение граждан депутатам и чиновникам наплевать. ЕГЭ так и не отменён, а литературу поставили наравне с пением и трудом... Образованные и высоконравственные граждане стране, вероятно, больше не нужны. Не принимается ничего, что могло бы возродить духовность. Уходит последний бастион – литература».

«Литературная газета», 2009, № 2.

*Простившись и простив, из бездны мук скользя
В забвение, промолвил Пушкин тихо:
«Прощайте... (слышишь ли, наш XXI-й век?) ... друзья!»,
Последний взгляд свой отдавая книгам.*

*Последний взгляд, последний вздох... Долга
Агония была, а в ней тоски отвага,
Но не по благам жизни! Весь в долгах,
Какие там оплакать мог он блага?*

*Он – бедный рыцарь века своего,
Богатыря Алексича потомок
Из князя Невского дружины боевой,
Что от Ордынских Русь спасла потёмок, –*

*Оставил Родине, что ей нужней всего
В години те безумно не хватало:*

*И ум, и сердце гения, язык,
Великих книг... Да, да – великих книг.
Кому же это ныне помешало?*

*«Друзья, прощайте...». Ещё б он столько смог.
Чужие и свои остановили шкуры.
И что теперь? Ужель последний вздох
Великой русской литературы?*

*А Пушкин с книгою в Лицее узнавал
Мир чувств людских, их стыд, восторг и ужас...
Как хорошо, что мальчик не сдавал
Экзамены по наушеньям вчуже.*

*...На воздух бы. Нам Пушкина б глоток,
Нам свет его в дорогу мёртвым лесом...
Не ставит ли чиновник на поток
Рожденье доморощенных дантесов?*

*Я – школа старая, и с новой не знаком,
Стревоженный о ней дурною вестью,
Я старческим нетвёрдым голоском
Пою как гимн «Вакхическую песню».*

Пушкинский октябрь

*Октябрь... Венок ещё не свит
И золотой наряд лишь скроен.
Октябрь! Ты Пушкинской любви,
Его последней, удостоен.*

*Неслышно в воздухе звеня,
Летит листва, в венок сплетаясь.
Охватит робость вдруг меня,
Что я, как многие, пытаюсь*

*Словам и звукам новизну
Придать тому, что совершенно...
Наш Пушкин не любил весну –
Пору незрелых искушений.*

*Октябрь... Твои цвета просты:
Пока не бросит шапку оземь
Мороз, – везде, где золото листвы,
В России – Болдинская осень.*

*Октябрь... По небу облака
Несут курчавый профиль,
И ветер звучен, как строка,
Услышанная не издалека,
А в токах нашей крови.*

*Октябрь... Венок тобою свит
Поре ушедшей летней.
О первой память ты любви.
Ты светлый миг – последней.*

Как двести лет назад...

*(19 октября 1811 года – день открытия
Лицея в Царском Селе.
19 ноября 1990 года открылся лицей в
Мичуринске.)*

*...Роняет лес багряный свой убор...
Александр Пушкин.*

*И снова лес багряный свой убор,
Как двести лет назад тому роняет.
Простор земли и красоты простор,
Ах, осень Пушкина, ты и для нас родная!*

*Пора звенящей золотой игры
Пространств, как будто дремлющих, хлада,*

*Под ритм стихов, немолчных с той поры,
Как Пушкина пленила власть Лицея*

*Лицей!.. Магический в звучанье смысл:
Произнесешь, и вот уже маячит
(Вглядись в окрестности, иль оглянись)
Курчавый, смуглый, полногубый мальчик...*

*А в наш лицей, что двести лет спустя,
Родством своим с надменным тем смутил нас,
Явилось в нём похожее дитя
И на него, и тех, кто с ним учился?*

*Лицей! Чем был ты в Пушкинском веку?
Родительским чадолюбивым призом
Самим себе и баловню сынку,
Аристократическим капризом?*

*А, может, он – талантливый ответ
На времени, судьбы России вызов?
Какое благо – в тьме внезапный свет,
Тем более, державный проблеск мысли.*

*Как часто мы превознести хотим,
Что не достойно этого нимало.
Век, век минувший, назван «золотым»,
И Пушкинский Лицей – его начало.*

*Плоды высокой красоты вкусив,
Нельзя не оскорбиться нам уродством.
Какая жажда ныне на Руси
Достоинства, таланта, благородства!*

*Волнуясь, я вдоль шумных этажей
Иду, иллюзий добровольный пленник,
Гляжу с надеждой в лица малышей:
Кто Пушкин среди них?*

Кто Кюхельбекер?

Дельвиг?

*Не может быть, чтоб в новой смуты дни
Служить Руси Бог не призвал их снова!..
Позорища Афгана и Чечни
Не допустил бы гений Горчакова!*

*Есть силы у двухвековых дрожжей.
В предвиденье времён глухих и мгlistых
Растить бы государственных мужей,
Как некогда растили лицеистов.*

*Тоска по свету истины в лице!..
Да сгинет дух бандитский и лакейский!
Не быть стране, чтоб вся – сплошной Лицей,
Но кровоток взбодрит её лицейский.*

*Народ российский, Боже, сохрани.
В кромешной тьме он не гасил надежды...
...А лес убор багряный обронил,
Что облачиться в белые одежды.*

Февраль

*Ах, февраль, какая пытка
Меж зимою и весной!..
Зыбким призраком кибитка
По метели по сплошной.*

*С Чёрной речки – чёрный выстрел
Грянул зимнею грозой.
За тобой, весна, укрыться б,
Ускакать за горизонт.*

*Там стихи, и там надежда.
Там февраль теряет власть.
Доскакать до лета!.. Летом
На Руси под пистолетом
Будет Лермонтов стоять...*



Нина ЦУРИКОВА

Катастрофа

*Тишина. Блещет золотом рожь.
Ощущенье свободы и воли
Прерывается скрежетом в поле,
Будто кто-то вонзил в него нож,
И оно закричало от боли!*

*Оглушительный взрыв и пожар.
Вопль кончины отчаянно-громкий
Разлетаются с треском осколки.
Обожжённые крылья разжав,
Вырывается смерть из воронки!*

*Так всё чаще в небесном плену
Погибают железные птицы.
С пострадавшими чем расплатиться?
Как загладить большую вину?
В рамках траура – новые лица.*

Небо нам объявило войну.

Нина Петровна Цурикова родилась в 1945 году. Живёт в райцентре Староюрьево Тамбовской области. Работает преподавателем в музыкальной школе.

Стихи Н. Цуриковой публиковались в районных и областных газетах, коллективных сборниках. Автор нескольких сборников стихов и песен, вышедших в издательствах Тамбова.

Сочиняет не только стихи, но и музыку. Ею созданы песни на стихи В. Дорожкиной, В. Маркова, Е. Начаса и других тамбовских поэтов

1. ПАМЯТЬ ПОДВИГА

Морская память

*Будут новые дожди,
Будут новые метели.
Будут в вечность уходить
Те, кто быть в строю хотели.*

*Те, кто выправкой своей
Взоры женицин покоряли.
На тельняшках – синь морей
Бескозырки – с якорями.*

*Лишь останется одна
Песня ветра на просторе,
Дальней памяти волна
Всколыхнёт, как душу, море.*

*Будут штормы море злить,
Корабли сажать на мели...
Будут в вечность уходить
Те, кто быть в строю хотели.*

Памятник медсестре

*На видном месте, где заря в тумане,
Раскинув руки, обнимает степь,
Там, где войны и мира стёрты грани,
Там памятник поставьте медсестре!*

*Из мрамора, гранита иль металла
И с надписью: «Военной медсестре»
Той, что солдат из-под огня спасала,
В полях сражений, страх и смерть призрев.*

*Той, что от боли раны исцеляла
Своим терпеньем, лаской, добротой,
Той, что глаза умершим закрывала
Своею нежной девичьей рукой...*

*Катюши, Вали, Тани, Оли, Веры –
Шагали рядом тропами войны.
Их неприметный подвиг каждодневный
Живёт в победной памяти весны.*

*...Порою майской расцветают вишни,
Вновь оживает в памяти война,
И в День Победы помянуть не лишне
Сестру, что долг исполнила сполна.*

*Шепни: «Спасибо» в светлый день весенний
Букет к подножью скромный положи,
Пусть светлый образ памятью нетленной
В святых молитвах продолжает жить.*

Поют ветераны

*Красивое, стройное пенье,
Взлетает мелодия ввысь –
Поют ветераны на сцене,
Продляется песнею жизнь.*

*Под взмахом руки дирижёра
(Вся грудь в орденах, без ноги!)
Крепнёт внезапное хора
Пронзает сердца: «Помоги!»*

*Кричат отголоски мелодий
Нетлеющих памятных дат,
И память сияет, как орден,
На лицах хористов-солдат.*

*Поют ветераны о бедах
И горе великой войны,
Чтоб поняли те, кто не ведал
Прошли испытанья они.*

*Зал хор с содроганием слушал.
И, словно волной по реке,
Война прокатилась по душам,
Скатившись слезой по щеке.*

*Как дороги эти мгновенья!
Волнуя людские сердца,
Поют ветераны на сцене.
Пусть песне не будет конца!*

2. ВЕСНА ЗАДУМЧИВОГО СЧАСТЬЯ

Пробуждение

*Светла, чиста и безмятежна
Лазурь небес с лицом весны.
И ветер лёгкой дрожью нежной
Кольшет голые кусты.*

*Ещё не применившись к моде,
Стоят раздеты на ветрах,
Но сок уже весенний бродит
В дрожащих трепетно ветвях.*

*Наряды им к лицу любые:
Из шёлка зелени, в цвету.
Уж первоцветы голубые
Глаза раскрыли поутру.*

*Блестит река под жарким светом
Вверх опрокинутой зари.
С тоскливо-радостным приветом
Домой вернулись журавли.*

*И пробудился берег сонный,
Вновь ожил брошенный залив.
Неповторимо-возвращённый
Земных часов весенний миг.*

Весна задумчивого счастья

*И сердце радует, и глаз
Твоё в моей судьбе участие.*

*Люблю тебя, как в первый раз,
Весна задумчивого счастья,*

*Надежд, несбывшейся мечты...
Весна – к горению стремленье,*

*И зелень нежная листвы,
И чувств, и мыслей обновленье.*

* * *

*Строка – тропинка из души на волю,
Из тесной клетки – на земной простор.
Спешат дождевики босиком по полю,
И птица звонкой песенкой простой*

*Разбудит окон сонное дыханье,
И день проснётся. Из-под хмурых штор
Проглянет солнце. Ветер быстрой ланью
Встревожит леса лиственный шатёр.*

*Сады под белой дымкою воскреснут,
Вмиг превратившись в хоровод невест.
И жизни нить строкою впишет в песню
Любовь земную в синеве небес.*

3. ПРОШЛОЕ

Пока ещё мне снится сон

*Опустошённостью лесов
Пронзает дрожь осенних снов.*

*Сквозь век прикрытых забытьё
Вновь вижу прошлое своё.*

*Где я – как лёд, а ты – как луч,
Где – гололёд из хмурых туч.*

*Спеши – пиши, звони – кляни!
Прости, вернись и обними.*

*Пока еще мне снится сон,
И след ещё не занесён*

*Седою заметью судьбы –
Прошу, молю тебя: приди!*

*Пускай тебе приснится сон,
Что ты по осени влюблён.*

*А я увижу в том же сне,
Как полюбила по весне...*

* * *

*Нас разлучили пожары зари,
Осени мрак – ноябри, декабри.
Нас разлучила худая молва,
Справиться с этим любовь не смогла.*

*Сквозь многоточья пропущенных лет
Вести неслись, что тебя уже нет.
Кто-то твердил мне: он счастлив с другой
Сделался быта покорным слугой.*

*Может, и правда все это? Но вот
Сердце моё ожиданьем живёт.
Ты разорви этот замкнутый круг,
Не поддаваясь причинам разлук.*

*Крылья расправь. Пусть душа запоёт,
И отправляйся в свободный полёт.
У горизонта меня подожди –
Сквозь снегопад, камнепад и дожди.*

*Через завалы смещённых дорог
Путь проложу. Да поможет мне Бог
В бурях и штормах сердитых морей
Не утону. Подбери и согрей.*

*Телом укрой и огонь разведи.
Сердца гореньем и жаром любви
Отгороди от земных катаклизм,
Радость вдохни в измождённую жизнь.*

*Круг очерти неприступности злу,
Стены – заслонами ветру разлук,
Чтоб никогда разлучить не смогли
Нас холода, январь, февраль...*

Прошлое

*Тропой, по траве некошеной,
У речки глухих излук,
Неслышно бродило прошлое,
Молчаньем тревожа слух.*

*Безмолвные, безответные,
Чуть вздрагивали камыши.
И падали звёзды светлые
С небес в темноту души.*

*И прошлое оживало вновь,
Согревшись любви огнём,
Желаньями из далёких снов
Костёр разжигался в нём.*

*И, как наяву, в прекрасном сне
Манили к себе огни:
«Прости, позабудь обиды все
И руки мне протяни».*

*Но травы, поникнув, росные
Шептали: «Не верь, не верь...»
Ко мне постучалось прошлое,
Но я не открыла дверь...*





Геннадий БЫЛКИН

* * *

*Как стихотворение учить расписание,
Голос диктора в чём-то похож на камлание
Одного и того же шамана, по всей стране
Отправляющего поезда, от тебя ко мне.*

*Людей на перронах всегда, как в пустыне песка,
Предо мной, как слова незнакомого языка,
Опускаются в пасть подземного перехода,
Чтоб не стать ошибками вольного перевода.*

*Но тебя снова нет. Победившая немота
Зашивает в улыбку разверзнутые уста,
Как последняя пуля, ушедшая из ствола,
То волшебное слово, которым ты и была.*

Геннадий Былкин родился в 1963 году на станции Кочетовка Мичуринского района Тамбовской области, где и проживает в настоящее время. Окончил Ленинградское мореходное училище, работал и жил в городах Находка, Кемерово.

Печатал стихи в газетах Москвы, Мичуринска, Воронежа.

Автор сборника стихов «Штрихи к портрету времени» (2006 г.).

* * *

Прожитое за плечами
 Скручивается в домик улитки.
 Я вползаю в него ночами
 И прошу новой попытки
 Утром продолжить атаки
 На зарифмованный замок,
 Как повелитель Итаки,
 Проклятый горем троянок.

* * *

В этой комнате лопались стёкла:
 Трещины – пятернёй
 Уменьшая, как линзой бинокля,
 Мир, оставшийся за стеной.

Они что-то кричали нам – молча,
 Харакири, как некий протест
 И тоска в этой комнате – волчья,
 Навалилась на раму, как крест.

Эти стёкла, впитавшие звуки
 Прежней жизни, её голоса,
 Пропускали условные стуки,
 Прикрывая гардиной глаза.

Они плакали в зимнюю стужу.
 А весной, наведя марафет,
 Открывали сей комнаты душу
 И впускали к нам солнечный свет.

А в тот день, когда солнце, как свёкла,
 Истекало, спасая любовь,
 Отрезвляя нас, лопались стёкла,
 Рассыпая осколки, как кровь...

* * *

*Это сырость разносит грипп и калечит обувь.
Достаёт из укромных мест зонты и плащи.
По утрам, выходящий, вдыхает её на пробу,
И хозяйки меняют крошку на кислые щи.*

*Это сырость срывает набухшие листья до срока.
Отзывается в рощах на брошенное: «Эй, гей-гей!»,
А сама по себе до того одинока,
Что невольно стремится проникнуть в души людей.*

*Мы и так состоим из воды да умища,
А в такую погоду – хоть жабры надень.
Вон, троллейбус, как сом, поразвесил усища
И кружит по фарватеру улиц весь день.*

*Слякоть, сырость, промозглость российской глубинки.
Здесь не всякий до дому дойдёт без литых сапогов.
И туман на ветвях – то ли слёзы, а то ли грустинки
Одиноких прохожих, считающих сумму шагов.*

* * *

*Плохо дело, если даже не думая о ней,
Забываешь не только причину, но цель похода
И, вернувшись в прихожую, в поисках ключей,
Натыкаешься на себя, замершего у входа.
И поворачиваешь в спальню, не скинув сланцы...
Что это было со мною? Сегодня или вчера?
Голова, словно шар, испускающий протуберанцы.
Просто жара в этом городе, просто жара...*

* * *

*Чёрные на белом буквы – знак траура.
Это время плачет о нас,
Обволакивает, словно аура
И сжимает в культурный пласт.*

*Чёрные на белом буквы – пехота,
Слуги мыслей, иллюзий, идей.
Но чаще – душевная рвота
Совсем незнакомых людей.*

*Чёрные на белом буквы – тропинки,
Уводящие души из тел.
Слезинки, а то и кровинки,
Расставленные через пробел.*

*Чёрные на белом буквы – истерика,
Когда некому сказать: «Моя».
Но бумага всё стерпит – эврика!
И простит, если надо меня.*

*Чёрные на белом буквы – зёрна,
Набухающие во мгле,
Растущие там, где истина спорна,
Как и жизнь на этой земле*

* * *

*Блуждая, словно в городе вечернем,
В её глазах, без мысли согрешить,
Я любовался, сквозь преграды терний,
Таинственной эклектикой души.
О, Женица! Богиня и исчадьё,
Одним движеньем сказочных ресниц
Ты заменяешь неземное счастье,
Проклятием разграбленных гробниц...*

* * *

*Вот-вот пробьётся первый, опоздавший луч.
Ночь не торопится (в июне сна так мало),
Натягивая плотную лавину туч,
Себе на голову, как в детстве одеяло.*

*Проснувшись, ветер потревожил лес,
Дал певчим птицам новое задание:
Возможно, отменил ночной диез
И подчеркнул мажорное звучанье...*

* * *

*Хочешь – философствуй, хочешь – плачь,
Но и эта ночь увязла в свете.
Солнце, как безжалостный палач
Приговор исполнит на рассвете.*

*Хочется задать вопрос: за что?
Но ответ не вызовет тревогу:
Самое великое ничто,
Уступает Божеству дорогу.*

* * *

*Города, которым нет дела до живых,
Тем более до мёртвых,
С их автостадом, жующим асфальта жмых
И домами, построившимися в когорты,
Повторяют истории сгинувших цивилизаций
С тем же богатством, весельем, развратом,
Мечтая стать руинами в тени акаций
И служить ориентирами к доисторическим датам.*

* * *

*Заснувшие на чёрно-белом сеансе зимы,
Глаза увидели на голубом экране солнце.
Оно смеялось из-под ослепительной чалмы
Облака и выглядело на миллион червонцев.
Апрель! И в мозгу замкнулись фотоэлементы.
«Опустите веки во избежание ожога»!
Но живые лучи, как космические интервенты,
Разбудили любовь поцелуями Бога.*

* * *

*Темнота наступает фалангой из чёрного леса,
На открытом пространстве построившись в каре,
Она давит на запад в виду явного перевеса,
И день отступает, чтобы взять реванши на заре.*

*Темнота привела за собою прохладу, и росы
Заискрились на травах в лучах припоздавшей луны,
Что из облака вышла, разлив свои белые косы
На вспотевшие крыши и выбритые валуны.*

*Темнота очертила пейзаж неживою сурьюю,
Закрываясь от света листвою, углами домов,
Чтобы мир до рассвета казался уснувшей тюрьюю,
Почерневшей от времени и застарелых грехов.*

*Ибо, если молить о прощении – света не надо,
Если каяться небу – то шёпотом, наедине.
Для того и горит в тёмном небе звезда, как лампада,
И притих буйный мир, как на исповеди, в тишине.*



Игорь ЯКОВЛЕВ

* * *

*Как в этом мире всё хитро:
Одним – гроши, другим – короны.
Бывает: ставя на «зеро»,
Вдруг получают миллионы.*

*Иной впрягается, как конь,
Другой – легонечко, вполсилы,
Однако первым – рвань да вонь,
Вторым – и женщины, и виллы.*

*Да, жизнь – не лёгкий карамболь,
Мы все из шахмат знаем с детства,
Что цель для женщины – король,
А конь – лишь транспортное средство.*

Игорь Владимирович Яковлев родился в 1966 году в городе Арсеньеве Приморского края. Окончил Астраханский медицинский институт. По распределению приехал в Тамбов. Работал во многих лечебных учреждениях города по специальности врач-анестезиолог-реаниматолог.

На стихи Игоря Яковлева написано несколько песен. Некоторые из них звучали в передачах астраханского и пензенского телевидения, а песня «Доктора» стала гимном Астраханской государственной медицинской академии.

В 2005 году в Тамбове вышел первый сборник стихов Игоря Яковлева «Прикосновения любви».

Заповедь

– В жизни немало станется, –
 Мать говорила порой. –
 Всё, что тебе достанется,
 Терпи, сынок, терпи, родной...

Люди, хоть Богом созданы,
 Злыми бывают порой,
 Словом хлестнут, что розгами, –
 Терпи, сынок, терпи, родной...

Станет невыносимо, –
 Ты не стони, ты пой!
 Встань, найди в себе силы, –
 Терпи, сынок, терпи, родной...

Если уйдёт любимая,
 Помни, что Бог с тобой!
 Вытерпишь – станешь сильным,
 Терпи, сынок, терпи, родной...

Может быть, жизнь снова
 Бросит в неравный бой,
 Помни мамино слово:
 Терпи, сынок, терпи, родной...

Будешь рукой переломанной
 Друга тащить за собой,
 Будешь к постели прикованный, –
 Терпи, сынок, терпи, родной...

Вынесешь горе с честью,
 После придёшь домой,
 А поделиться не с кем, –
 Терпи, сынок, терпи, родной...

*Будешь, когда взгрустнётся,
Памятник гладить мой,
Мама тебе улыбнётся:
Терпи, сыночек, терпи, родной...*

Работа над ошибками

*Да, память человека – штука зыбкая...
Ты в этом мире – только ученик,
Но в школе есть «работа над ошибками»,
А в жизни пишут все на «беловик».*

*Не зачеркнуть, не скрыть, замазав «контуром»,
Досадных слов, поступков и идей:
Ведь Богу слышно даже то, что «шёпотом»,
И видно то, что прячешь от людей!*

*Всплывут твои ошибки, став бессонницей,
Уродливыми шрамами в душе,
Коленями, что вдруг в молитве склонятся,
Слезами тех, кто не придёт уже.*

*Они источат совесть угрызеньями,
Став сединой на голове твоей,
Проверят болью до изнеможения
От смерти близких, гибели детей.*

*Мучительной болезнью изуродуют
Или к петле подставят головой,
Одних тюремной свяжут несвободою,
Другим свободу сделают тюрьмой...*

*Нас на ошибках жизнь учить не брежет,
Шаблонов нет, чтобы от них сберечь,*

*Их не стереть ни ластиком, ни лезвием,
Не вырвать лист с ошибками, не сжечь...*

*Как бы ошибок бремя ни давило,
Заполни так судьбы своей тетрадь,
Чтоб и читать её не стыдно было,
И в Судный День без сожаленья взять!*

Ни о чём

*Шаг за шагом, год за годом,
За часами дни.
Ни огня, ни пешехода,
Только мы одни.*

*Было грустно и не грустно –
Позвонил, пришёл...
Было, что не скажешь устно...
В общем, хорошо!*

*Только «было» – это мало,
Мысль морицинит лоб.
Нужно, чтобы это «стало» –
«Любит». «Верит». «Ждёт».*

*Если станет – затуманит,
Опьянит, зажжёт...
Никогда не будет грустно,
Хоть пиши про то, хоть устно...
И безоблачное чувство
Сердце обовьёт.*

Если туго...

*Если чёрной полосой
Вдруг тебя накрыло,
С жизнью споришь, как с женой,
Что к тебе остыла.
Тут, браток, одна подмога:
Если вправду туго,
Чти друзей своих, как Бога,
Господа – как друга!*

* * *

*Не стану вслух произносить
Того, что мне заря шептала,
Я просто так хочу любить,
Чтоб этой жизни было мало!*

*Чтобы всерьёз, а не шутя,
Чтоб каждой клеткой, каждым вдохом
Дышать тем чувством, а уйдя,
Не помнить, что бывает плохо!*

*Чтоб встречи ждать, как ждёт весны
Уже стареющая ива,
Чтоб после крикнуть с высоты:
«Я знал любовь! Я жил красиво!»*

Памятка

*Если вам давно не восемнадцать,
А судьба бросает в круговерть,
Значит, ей нелепо оставаться
Проводницей поезда «Жизнь – Смерть».*

*И она заявит вам об этом,
Все надежды разом сокрушив,
Если вдруг зайдёт отнять билеты,
Ни постель, ни чай не предложив...*

*Где-то на забытом полустанке
Руку вам лизнёт бродячий пёс.
Вместе вы взгрустнёте о недостатке,
Коего лишиться вдруг пришлось.*

*Но на этом бросьте огорчаться
И воздайте почести судьбе,
Что дала вам не в купе качаться,
А брести по скошенной траве.*

*Слившись с нею, легче догадаться:
«Смерть» – конечный пункт отрезка «Жизнь».
И пешком к ней дольше добираться,
Чем в комфортном поезде нестись.*





Наталья РОМАНОВА

* * *

*Как трудно напиться глоточком воды!
Я падала вновь на колени
И жадно ловила губами следы
Твоей ускользающей тени.*

*Когда без отказа живая волна
Дарила желанную влагу,
Наивно хотела до самого дна
Наполнить бездонную флягу.*

*Жалела. Желала оставить воды
От пьяного влагой романа.
Но молча твои засыхали следы
У сердца пустого стакана.*

Наталья Романова родилась в 1982 году в Тамбове. Вскоре вместе с родителями переехала в Луганск. Там окончила школу, университет, аспирантуру.

В настоящее время преподаёт русскую и зарубежную литературу в Луганском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Член редколлегии литературных альманахов «Крылья» и «Далевская муза».

Член Межрегионального Союза писателей Украины.

Недавно Наталья побывала на малой родине и предложила для публикации в «Тамбовском альманахе» свои стихи.

* * *

Н. Н.

*Растёт фальшивая словесная трава
В открытом сумраке разбросанного века.
Но, не прослушивая лишние слова,
Узнаю я в прохожих Человека.*

*Я подойду. И просто, не спеша,
Подам ему распластанную руку.
Идёт к душе открытая душа –
Спешу забыть ненужную разлуку!*

*Пойдём с тобой. И вместе улетим
По лестнице на облачную крышу.
Мой друг, давай с тобой поговорим,
Пока хоть что-нибудь я в этом мире слышу.*

* * *

*Я хочу называть тебя мужем,
По утрам поцелуем встречать,
Приготовить затейливый ужин,
Застелить на рассвете кровать.*

*Я хочу по весенней капели
Раствориться с тобою в ручьях.
Я хочу из недели в неделю
Засыпать у тебя на руках.*

*Я хочу называть тебя мужем.
Не грусти. Только дай полетать.
Завтра крылья, намокшие в луже,
Нас не смогут на небо поднять...*

* * *

*Словно перешагивая лето,
Август оставляет свято место.
Вдаль везёт в невидимой карете
Летнюю зелёную невесту.*

*Вьцвела фата, видать, от срока,
Ветер всё быстрее её уносит.
Жалобно, без лишнего упрёка
Сердце хоть кусочек лета просит.*

*В жизни осень. Как, уже? Неужто?
Лист упал – и дерево без крова.
Но грустить не нужно, потому что
Лето всё равно приедет снова.*

Танец

*В нашем замке чарующий бал
Начинала волшебница осень.
Ветер вдруг на колени упал
И перчатку к ногам моим бросил.*

*Я её подняла. И на ней
Мы увидели карту-ладонь.
В нашем замке из сотен огней
В белом танце кружился огонь.*

*Вместе с ним я лечу за тобой.
Так и быть! Из кареты – в такси.
В эту полночь, танцую с судьбой,
И меня танцевать пригласи.*

* * *

*Беременна стихом. А может, только словом,
Которое не раз болело по утрам.
Ловила, как рыбак. Но, хвастаясь уловом,
Не знала, что я сеть поставила не там.*

*Я столько раз себя отчаянно бросала,
Рвала свою тетрадь не выношенных слов.
И то, что в животе душа моя писала,
Рожал другой поэт в роддоме вещей снов.*

*Я всех своих детей в куплет зарифмовала.
И вылила себя в последний свой рассвет.
«Увы, её стихов (рождённых!) слишком мало!» –
Пусть скажет обо мне какой-нибудь поэт.*

* * *

*За свободой гонюсь, а потом оглянусь: мы – рабы.
Не хочу умирать, а в стихах кричу: вышла бы!
Не снимая креста, говорю, что пуста. Вру опять.
Не пуста. Неспроста не молчу. Мне б кричать!*

*Я со списком имён на церковный звон поспешу.
Как ребёнка, стихи от них или стих выношу.
Буду всех собирать и листочки хранить с лицами,
Буду строки вязать, буду судьбы вязать спицами.*

*Если будет темно, и ворвётся в окно мыслей рой,
Я опять закричу и стремглав полечу в новый бой.*

Маме

*Я тебя на руках понесу далеко,
Покажу тебя солнышку ясному.
Ты не думай, нести тебя будет легко,
Моя милая мама прекрасная.*

*Я не дам ни за что хулиганам ветрам
Развевать твои волосы нежные.
Я тебе подарю, я навеки отдам
Океаны и реки безбрежные.*

*За один поцелуй, за улыбку твою
Никогда я тебя не брошу.
Свою песню из роз я тебе пропою,
Моя мама, моя хорошая!*

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Похищение

*Большое несчастье! Мышиного папу
Вчера утащили котята за лапу.
У норки мышинной висит объявление:
Готовьте за вашего папу соленья
И баночку шпротов. Нет, лучше четыре!
Четыре селёдки и ключ от квартиры.*

*Мышонок заплакал: мой бедный папаша!
Когда же увидим тебя мы, когда же?!*

*И мама Мышиха на кухне рыдала,
Платочком в горошек свой нос вытирала.
– Мышонок, Мышуля, мои вы сиротки!
Ну, где же найти хоть кусочек селёдки?*

*– Я знаю, что делать. – сказала Мышуля. –
Котятам отдам я букварь за папулю!
Но мама упряма: тебе же учиться!
Придётся нам, дети, с утратой смириться.*

*И вечером грустным мальчика Мышуля
Пошла посмотреть на страданья папули.
Увидела в спальне котят возле кресла
И в вазу на тумбочке старой залезла.
Вдруг видит: поправила Кошечка платье
И гладит мышинный костюм на кровати.
А папа Мышули на крошечном кресле...
Сидит и смеётся с котятами вместе!
Смеётся Котёнок, и Кошка хохочет:
– Умора! умора! смеяться нет мочи!
Доволен Мышинный папаша работой:
Он мастер рассказывать всем анекдоты!*

*Отправили мышек домой с угощеньем:
Селёдкой, соленьями, банкой варенья.
Вареников дали и хлебушка корку.*

*Залезли Мышуля с папашею в норку.
– Кормилец вернулся из плена с наградой!
От счастья все стали плясать до упада.*

*С тех пор поменялись порядки в квартире:
Живут в ней котята с мышатами в мире.*

Ёжик

*Проводила до ворот
Маму с папой на работу.
И весёлою походкой
Я пошла на огород.
А у нас на огороде
Ёжик маленький живёт.
Ёжик носит имя Лёша,
Ходит в розовых калошах.
– Здравствуй, ёжик!
Где ты, Лёш?
Нет нигде его калош.
Поискала я в картошке –
Не нашла ежонка Лёшку.
Может, ёж меня боится?
Или болен он немножко?
Может, ёж попал в больницу?
Мне ответила картошка:
– Ну, чего тебе не спится?
Ёж уехал за границу!..
Он отправился в поход
На соседний огород.*

* * *

*Два часа просила Машу:
Слушай, съешь немного каши!
Но не носом, не руками,
Не причёской, не глазами,
Не ушами и не ножкой...
Просто ложкой!*

Петуховина жена

*Выбежав на улицу,
Я увидел курицу.
Курица на улице
Просо ест и жмурится.*

*А петух на улице
Охраняет курицу.
Потому что она –
Петуховина жена.*

Алёнка и крокодил

*По речке плавал крокодил,
Огромный и зелёный.
Он просто в ужас приводил
Мою сестру Алёну.*

*А как-то раз меня всего
Измазали зелёной.
И я не смог идти гулять
С моей сестрой Алёнкой.*

*Алёнка мирно вдоль реки
Туда-сюда ходила.
И вдруг... вылезит из воды
Латица крокодила!*

*Ой, что случилось?!
Крокодил, огромный и зелёный...
Букет сирени подарил
Моей сестре Алёне.*



Михаил БРЫТКИН

РАНЕНОЕ ДЕТСТВО

Детям блокадного Ленинграда посвящается

1

Летят годы, но они не властны перед памятью, которая осталась в блокадном Ленинграде.

А началось всё с того страшного утра 22 июня 1941 года, когда раздался вой вражеских самолетов, пролетавших над родной землёй, первые разрывы бомб.

Как всякое большое несчастье, произошло это неожиданно.

Люди в колхозе имени Ворошилова, который находился в 100 с лишним километрах от Ленинграда, не знали, что всё то, о чём они думали и хлопотали, чему радовались и о чём бедовали в это чистое июньское утро, было не таким важным, как им казалось. Пришло известие, что началась война с фашистской Германией.

Вскоре жителей села стали поспешно эвакуировать. Самые маленькие дети, старики и больные были размещены на немногочисленных телегах.

Колонна стариков и женщин с детьми сопровождалась военными и направлялась из Выборгского района в Парголово той же Ленинградской области. Тревожные, заплаканные лица женщин были покрыты дорожной пылью. Отдыхали мало, торопились.

Брыткин Михаил Фёдорович (1935–2009) родился в Белоруссии. С первых дней войны отец ушёл на фронт, а мать с детьми была эвакуирована под Ленинград. Ужасы блокады остались в памяти навсегда.

Повзрослев, М. Брыткин связал свою жизнь с армией, дослужился до майора. Последние годы жизни жил в Тамбове.

В воспоминаниях он изменил имена и фамилии, но это – воспоминания о лично пережитом.

Сидевшие на телеге дети Бурлаковых, а их было шестеро, жались к матери. Павел мог видеть лишь небо, и потому он сразу увидел то, что всех держало в оцепенении — вражеский самолёт неотвратно и грозно плыл с западной стороны. В небе раздался грозный, леденящий душу звук; что-то затрещало — как рвущаяся клеёнка (да это же пулемёт!), всё стало страшной правдой. Павел подумал: «Вот она — война, смерть!»

Вдруг загрохотало, забушевало, точно прорвало плотину. Взрывы какие-то проламывающие, а короткие пулемётные очереди очень похожи на звук, будто отрывают доску с большим ржавым гвоздём.

— Воздух! Всем на обочину дороги, ложись! — раздалась команда.

Все бросились кто куда. Матери прикрывали своих детей и падали на землю. Слышался свист пуль: вражеский самолёт расстреливал колонну, пикируя, делая новый и новый заход.

Всё смешалось: гул самолёта, свист пуль, ржание лошадей, плач детей и стоны раненых...

Через двадцать минут самолёт улетел. Тишина свалилась неведомо откуда. Всё захлебнулось ею — ни звука.

Мама Павлика, Ольга Сергеевна, с грудной десятимесячной дочкой Валею на руках собрала своих остальных детей. Среди них не оказалось трёхлетней Светы. Брат Витя побежал вдоль дороги и неожиданно увидел — за камнем, распластавшись на животе «лягушкой», лежала сестрёнка. Ужас и страх светились в её глазах.

— Мамочка! Я её нашёл за камнем!

Витя из рук в руки передал Свету, дрожащую от страха, маме. Похоронили убитых, и колонна тронулась дальше...

2

Обоз. Тяжёлая и опасная дорога: жара, кончается питание. Мама перенервничала. Пропала грудное молоко.

— Мои милые детки, потерпите: приедем, всё уладится.

— Мама, мама! — крикнул Павлик. — Валечка умирает!

Девочку спасти не удалось.

Хоронить? А как? Глаза у мамы стали тоскливыми, тоскливыми. Павлик отметил машинально, что у мёртвой Валечки нижняя губка вспухла, а на побелевшем подбородке — ямочка, которую у живой сестрёнки он, кажется, никогда не видел. И сразу тень легла

на его лице, складка над бровями глубже прорезалась.

В каком-то доме мама нашла тазик из-под белья. В этом тазике мама обмыла мёртвое тельце. Похоронили Валу в поселке Южки.

Чем ближе колонна приближалась к Ленинграду, тем чаще были налёты вражеских самолётов. Колонна редела на глазах, но военные, как могли, поддерживали дух и силы беженцев.

Лошади пугались взрывов, выворачивали оглобли, телега, казалось, вот-вот и опрокинется. Павлик как-то оступел, думал лишь о том, чтобы поскорее всё кончилось. Никогда он не видел мать такой подавленной. Она держалась на одних нервах. Лицо без кровинки, под глазами морщины, вся тёмная — больно смотреть.

Наконец, беженцев определили в огромное старое здание в посёлке Токсово вблизи от Ленинграда.

«Ленинград! Здесь наша защита, спасение!» — размышлял Павлик.

Ан нет! Вскоре объявили, что фашисты окружили Ленинград.

После сентябрьского наступления 1941 года немцев Ленинград окончательно оказался окружённым и отрезан от страны. Кольцо замкнулось и с севера.

Теснота в доме, где остановилась Павликова семья, была страшная, людьми были забиты все углы, но женщине с пятью детьми всё же нашлось местечко: осознали её положение случайные попутчики, так же, как она, несчастьем спугнутые из родных мест. Добрая, бескорыстная душа у русского человека. Потому ли, что в своей жизни многое вынес он, по всякому жил — знал лихолетье. С душевным участием обошлись и с Ольгой Сергеевной незнакомые ей люди.

Уже было съедено содержимое узелка, захваченного в дорогу. Был потерян счёт дням. Павлик молчал, лишь тревожно поглядывал в окно. Занималось ранее утро. Солнце, чуть поднявшись над горизонтом, ещё не грело. Вдали виднелся Ленинград с заводскими трубами. Шли дни, недели, месяцы первого блокадного года. Невесёлые думы захлёстывали неуёмным половодьем неокрепшую голову Павлика.

Ленинград обстреливали, обрушивали на него смерть — снаряды, бомбы. Его истребляли голодом. Наступали холодные осенние ночи.

3

Массовость смерти, обыденность её рождали чувство брэнности, ничтожества человеческой жизни, разрушали смысл любой вещи, любого желания.

Павлик с братьями бегал на колхозные поля собирать мороженую картошку и капустные листья. Но скоро и этого не стало. Стали ловить собак и кошек. Пришлось искать выход. Овчинный, старый полушубок, которым накрывались, был разрезан на мелкие лоскутки, их очищали от шерсти над плитой, клали в котелок и долго варили. Посыпая сверху солью, кусочки долго жевали, запивая «наваром». Братья на глазах худели, вокруг глаз появились тёмные круги. Слово «кушать» — было магическим словом в то время.

Смерть никого не пугала, умирали на ходу.

У соседки Елизаветы умерло пять сыновей от 7 до 16 лет. Она осталась со свекровью. Однажды, вернувшись с улицы, свекровь поставила ей суп с кусочком мяса. Голодная Елизавета не заметила, как проглотила суп, а потом спросила:

— Мама, а где ты мясо взяла?

Бесцветные глаза свекрови не смотрели на нее. А соседка прошептала:

— Это она от умершей женщины отрезала.

Елизавета побелела, закричала на свекровь; началась рвота, тяжёлая, изнуряющая, с кровью. Она потеряла сознание. Когда пришла в себя, молча встала и ушла. Больше её никто не видел. Свекровь, тронувшись умом, вскоре умерла.

Люди, потерявшие волю, пытались как-то сохранить свою жизнь. Но трупов становилось всё больше и больше.

Не обошло несчастье и семью Павлика. Заболела Света. Всё лицо ее покрылось коростами и язвами, глаза не открывались. Шатаясь, Ольга Сергеевна вышла на улицу и стала звать о помощи, но царило безмолвие. Вдруг к ней подошла женщина.

— По разговору вы белоруска? — спросила она.

— Да, — ответила Ольга Сергеевна.

— Я тоже белоруска, врач военного госпиталя. Хотя гражданских не принято брать, думаю, я девочку смогу спрятать.

Так была спасена жизнь Светы, хотя после болезни она осталась полуслепой. Благодаря мужеству, выдержке и мудрости Ольге

Сергеевне удалось из шести детей сохранить к весне 1942 года — пятерых. Но впереди ожидали ещё немалые трудности и опасности...

4

Ольга Сергеевна ради спасения детей решила сходить в воинскую часть, которая располагалась недалеко от их дома.

У входа в землянку, её остановил часовой.

— Вам кого, гражданочка?

— Мне к командиру, по важному делу.

— Пройдите...

Чувство опасности отступило куда-то. Пересечённое морщинами лицо окаменело, глаза спрятались в глубоких тёмных впадинах. И хотя воины тоже пухли от голода, перед Ольгой Сергеевной предстал высокий, стройный офицер лет сорока, с ухоженной бородкой и усами на большом розоватом лице. Ольга Сергеевна подняла на него свои затуманенные глаза.

— Здравствуйте, — прошептала она.

Офицер пододвинул ей табуретку и предложил сесть.

— Что случилось? — спросил он вежливо, — Как вас зовут?

— Ольга Сергеевна.

— Анатолий, — представился он, протягивая ей руку с длинными опухшими пальцами.

Ольга Сергеевна внимательно смотрела на офицера; этот человек с бородкой и усами, вызывал у неё и симпатию и доверие.

— Разрешите обратиться за помощью?

— Чем могу служить?

Он тактично и мягко расспросил про её жизнь и сочувственно выслушал её.

— Погодите, погодите! Говорите, четверо сыновей?

— Да.

— Это же будущие защитники Родины! Вы достойны иной жизни... — командир вынул из стола какой-то листок бумаги, заполнил его и протянул Ольге Сергеевне. — Берите, берите Ольга Сергеевна, это вам.

Её побелевшая рука стиснула листок, она заплакала и начала горячо благодарить.

— До свидания, Ольга Сергеевна, я спешу...

Спустя некоторое время она получила «документ» на дополни-

тельный паёк от Красной Армии. Получая хлеб на паёк и по хлебным карточкам, мама делила его на шесть частей, получалось примерно по пятьдесят граммов на каждого.

Павлик полюбил маму больше, чем в мирное время. Сердце его сделалось ещё более отзывчивым. Он это чувствовал.

В комнате, хотя и топилась плита, холод был такой, что у Павлика замерзли ноги и по спине пробегала дрожь. Мама подняла голову и стала молча, со слезами на глазах смотреть в замёршее окно, будто видела что-то сквозь лёд, плечи её вздрагивали. Павлик обнял её сзади и прижался к её спине.

С тех пор, как отец ушёл на фронт, семья о нём ничего не знала. Приведёт ли судьба когда-нибудь свидеться? Никто этого не знал. Война была в полном разгаре...

5

Павлик знал, что мама, охваченная ужасом, думает об отце: он там, где сейчас фронт.

Впрочем, тыла не было: куда ни повернёшься, везде фронт. Оборонный рубеж вокруг Ленинграда стоял неподвижно, глубоко врубившись в зимнюю промёрзшую землю. Фашистам не удалось взять сходу Ленинград, и теперь шла тяжёлая битва за город.

Ночью посёлок встряхивало тяжёлыми взрывами, совсем близкими. Ольга Сергеевна очень тревожилась. А утром всё уже выглядело по-другому. Вместе с темнотой как будто отступала и опасность. И мама повторяла детям:

— Спице дети, скоро утро.

Но Павлик вскочил и начал бегать по комнате, размахивая ручонками, пока не согрелся. Да и как заснуть в таком холоде? А может, не спалось потому, что боялся умереть во сне? Павлик неловко ткнулся лицом в плечо матери, она прижала его к себе его голову, погладила — худющий... Давно не ел...

А утром Павлик вышел на крыльцо и зажмурился. Его ослепила белизна: снега, солнца, неба. Тепло, тепло стало где-то внутри, хотя зубы стучали ещё сильнее. Весь дрожа, он юркнул обратно в комнату и завернулся в дерюжку. Закинув руки за голову, долго лежал с открытыми глазами и представлял, как снег скоро будет таять. Солнце вон уже какое!

Вечером семья Бурлаковых собралась у плиты. После скудного

ужина вели разговор о том, что будет завтра. Они уже потеряли надежду, что их вывезут на большую землю.

И в этот момент раздался стук, в дом вошёл какой-то человек в полувоенной форме и объявил, чтобы срочно готовились к отправке.

— Поедем через Ладожское озеро на машине.

Заметались женщины с узелками, запричитали.

По дороге, в сторону Ладожского озера двигались люди: они шли, плотно прижимаясь друг к другу: казалось, разведи их по одному — упадут.

Шофёр вышел из кабины и заглянул в кузов машины:

— Как дела, все уселись?

— Всё хорошо, — ответила Ольга Сергеевна.

Павлик с братьями и сестрой тесно прижались к матери. Скорее бы ехать! Шофёр быстро направился к кабине, завел мотор. Грузовик тронулся с места. На улице там и здесь лежали люди, уже запорошенные снегом, и возле них тропинки делали обходные петли. Живые научились проходить мимо и не смотреть. Некоторые везут останки своих близких... Еле бредут, шатаются, но тянут страшную поклажу на санках, досках, листах фанеры. Одна женщина везла труп в полированном деревянном футляре от напольных часов, и лицо мужчины, обросшее черными волосами, было видно за стеклом футляра.

Шофёр, видно, знал дорогу хорошо — грузовик довольно скоро вырвался на шоссе. На окраине Ленинграда грузовик свернул с шоссе и подъехал к берегу Ладожского озера, к воротам, над которыми полукругом, накладными буквами по сетке было выведено: «Дорога Жизни». Машина остановилась. Шофёр вышел из кабины и объяснил всем, как вести себя в кузове во время пути по Дороге Жизни.

— Сидеть надо плотнее, прижавшись друг к другу, и лучше всего повернуться вперёд боком. Руки всунуть в рукава. Никаких останков на ледяной трассе не будет; ни по малой, ни по большой нужде — придётся потерпеть. В случае бомбежки или обстрела останавливаться тоже не будем — паники не поднимать.

Павлик с братьями и сестрёнкой слушали молча, как взрослые.

Ледяная дорога уходит вдаль, к противоположному берегу озера, в таинственную тихую жизнь. Ветер не чувствовался, да и дул он в спины, поэтому и мороз пока не очень донимал. Ехали долго и без всяких приключений — удалялись от блокадной смерти. Глаза

у Павлика слезились: то ли от холода, то ли от счастья.

Наконец-то подъехали к станции. Тут не было ничего, только дощатая платформа на сваях да полуразрушенное здание. На платформе лежали люди, тесно прижавшись друг к другу. А новых людей всё подвозили и подвозили: одинаково худых, грязных, но пытающихся улыбаться.

К полудню стало пригревать. Солнце уже согнало снег с лугов и полей. Озеро набухло. Издали кажется — синий лед выше берега. Чуткая тишина кругом. Кто-то из взрослых, глянув в сторону озера, проговорил:

— Скоро тронется, сердешный...

6

Люди сидят плотно. Спина Павлика сама ищет чужую спину, коленки жмутся к самому подбородку — хочется сохранить тепло. Рядом с Павликом всхлипнула Света. Павлик приобнял сестрёнку, прижал крепче к себе.

Прозвучала команда: «Подъём!». Дети, спавшие кучками, прижавшись друг к другу, задвигались, удивлённо оглядываясь. Началась погрузка в товарные вагоны. Семье Бурлаковых достались самые верхние нары. «Хоть высоко, но зато теплее», — подумал Павлик. В вагоне топились «буржуйка».

Медленно-медленно тронулся поезд. Мягко покатались колёса по стальным рельсам. Смерть осталась позади. В вагоне становилось всё более шумно: дети плакали, просили есть. Взрослые ничего не могли сделать, никакие уговоры не помогали. Павлик спросил маму:

— Когда же мы будем есть?

— Хватит тебе! — оборвал обычно молчаливый Толик.

Сил нет, как хотелось есть. У всех сводило желудки. А кормили в пути два раза в сутки — утром и вечером: супом и кашей, иногда давали пюре из сушёной картошки.

Насмотрелись в дороге на многое: сожжённые деревни, разбитые города. Не спаслись от прожорливых печек даже вагоны, забытые на рельсах — от них остались одни железные скелеты на колёсах, заметённые снегом. Окрестности вокруг железной дороги усеяны разбитой вражеской техникой, трупами немцев. Дома стоят без крыш, без окон, а от некоторых деревень остались только пепели-

ща и печные трубы...

Павлик смотрел, как мама с трудом поднималась на нары, и в этот момент на стрелке вагон сильно качнуло. Потеряв равновесие, она упала на пол, потеряв сознание. Она сделала движение, пытаясь подняться, но снова потеряла сознание. Женщины отпоили её водой, помогли ей залезть на нары. Дыхание у неё было прерывистым, лицо белое. Павлик никогда не видел мать такой. Он понял, что действительно произошло что-то страшное.

— Думала, детки, что пришёл мне конец, — шептала мама, сдерживая слёзы.

Через раздвинутые двери вагона вливался поток свежего, прохладного воздуха...

7

Где-то позади остался Ленинград. Поезд мчался навстречу солнцу. Луга и поля нескончаемой каймой тянулись за окном. В вагоне было тесно. Ехали женщины с детьми и без детей — других пассажиров не было.

Всё перемешалось: плач, уговоры, оханья — шумная толчея... Вагон гудел, словно пчелиный улей.

Мама Павлика лишь под утро ненадолго забылась беспокойным сном. Братья и сестра крепко спали. Колёса стучали свою нудную, нескончаемую песню. Но вот эшелон остановился. На соседнем пути прогрохотал и замер воинский состав. Мама сидела у открытой двери вагона и смотрела на выскочивших из вагонов бойцов. Задумчиво как бы про себя прошептала:

— Узнать бы, как там на фронте?..

Павлик слез с нар, примостился около мамы. Она прижалась к нему и горько заплакала. Павлик сквозь слёзы уговаривал её:

— Мама, не надо! Не надо плакать! Не надо!..

Павлику странным казалось, что солдаты весело шумят, поют песни, смеются.

— Как же такое может быть? — вслух сказал он. — Им же в бой скоро, а они поют, веселятся!

— Да, они ещё не знают, не представляют свою завтрашнюю судьбу, что уготовано им испытать под вражескими пулями, бомбёжками по пути на фронт. — ответила мама. — А может, в неравный бой кинутся прямо из вагонов или с марша. Они ещё не знают

и не хотят знать, что многим из них предстоит погибнуть...

Эшелон с блокадниками неожиданно тронулся. Саша спал, подложив обе ладони под правую щеку, а колени ног подтянул почти к самому подбородку. Витя покосился на него и сказал с завистью:

— И сколько же можно спать?

— Витя, пусть он выспится, здоровье-то у него не ахти какое, — прошептала мама.

Поезд вскоре снова остановился.

— Граждане, поезд дальше не пойдёт. Вы прибыли на конечную станцию. Это свободная кубанская земля! С прибытием вас! Добро пожаловать! — торжественно объявил стоящий на перроне мужчина.

8

На станции виднелись маленькие, словно игрушечные, домики и ровные ряды тополей вдоль улицы. Должно быть, летом здесь очень хорошо, спокойно, уютно: около самых окон стояли вишнёвые деревья, на них уже появились почки. Пройдёт ещё немного времени, и они буйно закудрявятся, покроются бело-голубыми цветками.

В двери вагона появилась девушка с улыбающимся лицом:

— Выходите, приехали. Вы что же, милые, из Ленинграда?

— Да, мы из блокадного Ленинграда — ответил за всех Павлик.

— Что задумался, Саша? — спросила мама. — Дети, давайте собираться.

Все оделись, взяли узелки и пошли навстречу новой жизни.

— Проходите, проходите вот на ту повозку, — сказала девушка.

Помогая друг другу, взобрались на высокую повозку.

Ехали долго: всё поля, поля, лесопосадки; встречались подъёмы и спуски. Братьев клонило ко сну, а Света уже спала у мамы на руках.

— Вон уже деревня, скоро приедем, — ободрила девушка-возница.

Подъехали к дому, ограждённому забором из разноцветных досок.

— Тетя Шура, к вам эвакуированная семья из шести человек, принимайте! — звонко крикнула девушка.

Навстречу вышла женщина, с любопытством взглянула на приезжих, и, приветливо улыбаясь, сказала:

— Проходите, проходите в хату. Не стесняйтесь, будьте как дома. С приездом вас!

Жилая квартира, с уютно расставленными вещами, показалась эвакуированным миром чужим, непонятным, возбуждавшим любопытство и недоверие. Но, оглядевшись и осмотрев квартиру, постепенно успокоились.

Дверь квартиры не успевала закрываться: приходили местные колхозники, принося съестное: молоко, творожок, пирожки домашние. Люди пожимали руки ленинградцам и поздравляли с приездом.

От окружающей заботы и внимания у Ольги Сергеевны подступал комок к горлу. «Только бы не расплакаться!» — думала она. Но как ни крепилась, всё же слёзы закапали из глаз.

Вскоре семью Бураковых посетил председатель этого колхоза, сообщил, что им выписано шестнадцать килограммов муки и подсолнечное масло. При этом сказал-напомнил матери семейства, что через месяц ей надо выйти на работу.

— А пока поправляйте здоровье, Ольга Сергеевна, и подымайте детей на ноги, — сказал на прощанье председатель.

9

Блокадники приехали на Кубань очень истощённые — в чём душа держалась. Теперь они начали поправляться. Павлик повеселел, щёки его зарумянились, спина распрямилась.

Зима сменилась весной. Совсем по-летнему грело солнце, дороги просохли, распускались листья на тополях, возле домов желтели акации. Иногда шумели тёплые короткие дожди.

— Вы не получаете от мужа писем?

Ольга Сергеевна быстро повернула голову на голос и встретила глазами с тётёй Шурой.

— Нет.

У Ольги Сергеевны навернулись слёзы. Вот уже четвёртый год от мужа нет никакой весточки...

Письма на родину, в Белоруссию Ольга Сергеевна писала каждый месяц. Каждый день она встречала у крыльца почтальона, который привозил на велосипеде почту. Но на её письма ответа не было, и она поняла, что они не доходили.

Пришло известие, что освободили родную белорусскую землю

от врага! У Ольги Сергеевны, совсем было растерявшейся, вновь появилась надежда получить сведения о муже. Она, не откладывая, написала письмо в Белоруссию своей матери. И наконец-то пришло письмо. Адрес был написан рукой матери. Ольга Сергеевна нетерпеливо вскрыла конверт. Лист из школьной тетради был исписан торопливым, крупным почерком матери. Она сообщала, что получила письмо от Николая, что он жив, был ранен, контужен, находится на Ленинградском фронте. «Адрес я твой сообщила. Жди от него письма. Крепко тебя и внуков обнимаю и целую», — заканчивалось письмо.

Ольга Сергеевна так разволновалась, что с ней едва не случился обморок. Руки похолодели, сердце забилось часто-часто.

— Папка наш жив! — прокричал Павлик.

Он помнил отца весёлым — в полотняной вышитой рубахе с узким наборным «кавказским» ремешком, какие тогда были в моде, с кудрявой шапкой волос на голове. Вспомнил до мельчайших подробностей тот день, когда провожали его на войну. Тогда отец сказал:

— Я ещё надеюсь увидеться с вами...

10

Одной из самых трудных, самых горестных профессий во время войны была профессия почтальона. Хотя и газет тогда было меньше, и подписчиков тоже, и не так уж тяжело весили их сумки. Но велика была их тяжесть — в сумках своих они разносили смерть... Продолговатые бланки, отпечатанные казённым шрифтом и заполненные расплывшимися чернилами. Их приносили в конвертах. Завидев в руках почтальона не треугольник солдатского письма, а квадратный конверт, люди цепенели от ужаса.

Ольга Сергеевна не слыхала, как отворилась входная дверь — в деревне не принято было стучать. Увидела вдруг на пороге почтальонку и испугалась от неожиданности, а потом и от жуткого предчувствия. Но та протянула ей белый треугольник.

— Жив, жив наш папка! — прокричал Павлик.

А вскоре он приехал сам на попутной подводе. Дети отца не узнавали. Его и трудно было узнать в пропылённой шинели, перетянутой коричневым ремнем, худого и бледного. Павлик первым крикнул:

— Папа! Папочка, миленький! Как мы долго тебя ждали!

— Какая пылища на улице, — сказал отец, шагнул, обнял жену, поцеловал по очереди сыновей. — Здравствуй, Оля! Здравствуйте, мои дорогие! Вот я и живой перед вами!

Перепуганные глазёнки Светы блестели из-за маминой юбки.

— Доченька, — присев на корточки, позвал отец, — иди ко мне!

— Светочка, папа приехал! — сказала мама. — Это наш роденький папочка! Иди, не бойся...

— Оставь, Оля, привыкнет, — сказал отец. — А силком не надо, хуже напугаешь.

Отец достал из солдатского вещмешка небольшой кусок голубоватого сахара и опустил на корточки. Глазёнки Светы вспыхнули, ручка протянулась через край материной юбки.

— Возьми, возьми, доченька, — тихо и грустно прошептала мама. — Это же папа!

Вскоре Света уже примостилась на коленях отца, шепча непрерывно:

— Папа! Па-па! Па!

И при этом показывала на стену, где висела его фотография.

11

Ещё месяц Бурлаковы всей семьёй жили на Кубани. Но однажды Павлик услышал, как он говорил матери:

— К чёрту! Тут я жить не могу! Жара, духота! Хочу в те места, где мы жили до войны...

И Николай Петрович уехал в район оформлять выездные документы. Вечером он вернулся, с улыбкой оглядел детей и торжественно объявил:

— Вот, все документы оформил на выезд в Ленинградскую область, Выборгский район. Давайте собирать вещи...

На следующее утро Николай Петрович ушёл просить подводу, а в это время Ольга Сергеевна пошла прощаться с соседями. Тяжело было расставаться ей с людьми, которые в тяжёлое время помогли ей с детьми выжить. Прощалась со слезами на глазах, желая им благополучия, крепкого здоровья и чистого неба. А тем временем подъехала телега. Скучные вещички, которых было совсем немного, уложили. Особенно суетился Павлик — очень уж ему хотелось в родные места.

На станции сели в вагон и поехали. Уже мирные луга и поля

нескончаемо тянулись за окном. Ольга Сергеевна смотрела в окно, но, казалось, ничего не видела — вся погрузилась в думы. К её плечу прижался Павлик. Из глаз Ольги Сергеевны почему-то лились слёзы.

— Не плачь, мама! Всё плохое у нас уже позади... — утешал Павел.

Он чувствовал себя в этот момент уже совсем взрослым.

Но знал, что этой недетской печали, накопленной за годы войны, ему хватит на тысячу лет.





Мария ЗНОБИЩЕВА

КУКУШКА

Поэма

1

*Под горой
В зелёной роще
Белый камень.
Там кукует на суку
Птица-память.
По заре да по весне:
– Коля! Паша! –
Выкликает имена
Павших.*

*И три тени там живут,
Три скитальцы,
И три женщины
Над камнем склоняются.
По весне да по заре –
Беспокойные –
Успокоившегося
Кличут воина.*

Мария Знобищева родилась в Тамбове в 1987 году.
Аспирантка ТГУ им. Г. Р. Державина. Автор шести поэтических сборников. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Подъём», «Российский колокол», «Наша молодёжь», «Детская литература» и др.

Постоянный автор «Тамбовского альманаха».

Участница Всероссийского форума молодых талантов в Липках и слёта «Дети Солнца» в Москве.

Член Союза писателей России с 2006 года.

2

– Сынок, сынок!
Отзовись!
Ты ли это?
Ты вернуться обещал –
Снегом, светом?
Может, звёздной вышиной,
Может, небом?
Может, небом, мой родной,
Может, хлебом?

В землю пальцами вращу –
До тебя дотянуться.
Ветром по полю пойду –
Твои волосы гладить.
Уста криком растворю –
Роженица!
Нового тебя в муке выношу!

Ты ли луч, ты ли ключ,
Ты ли жёлт – песок?
Ты ли в поле золотой колосок?
Над холодной скалой
Ты ли – птенчиком?
... Убран каменный лоб
Росным венчиком.

Я сама – земля.
Вот и вернулся ты.
Поле я –
Вот и встретились.
А под сердцем у меня
Спит мой маленький сынок.
Не отдам его тебе, ветер!

3

– Отзовись, мой недолюбленный!
Где ты?
Мой не встреченный,
Не бывший,
Неспетый?

Дремлет дворик наш с тобой
Белой дремою,
А под окнами твоими
Черёмуха.
Сколько раз цветёт весна,
Мой хорошенький,
Столько жизней я одна –
Одинёшенька.

Всё сижу –
 не отхожу
 от ручья:
Всё мне чудится улыбка твоя.
И смеются, и лучатся
Очи синие!
Всё мне кажется,
Зовёшь меня по имени.

Солнце крутится кольцом
Обручальным.
Ты придёшь ли?
Поведёшь ли
На венчанье?

...То ли ветер меня обнял за плечи,
То ли ты позвал... далече...
далече...

4

– Здравствуй, папа!
Я к тебе.
Только – где же ты?
Папа, помнишь ли меня,
Свою девочку?
Помнишь, рвали васильки –
Звёзды синие?
Помнишь, папа, на руках
Ты носил меня?
Быстро игры я забыла,
Быстро выросла,
На своих уже руках
Брата выносила.
Улыбался мне, крикун,
Ненасытным том...
Ты не знаешь: он родился потом...
Я в любви была горда –
Ты приказывал,
И про детство никогда
Не рассказывала.
Я друзей не предавала,
Птиц – не мучила.
Я во всём старалась быть
Самой лучшей!

Вот пришла к тебе,
Нашла...
Как устала я!
Ты под камнем – молодой,
А я – старая.
Сына именем твоим назвала...
Папа, я тебя всегда
Так ждала!

5

*И цветут у камня девичьи слёзы.
И качаются от ветра берёзы.
Солнце яростное крутится и вертится.
И не верится кукушке, не верится...*

*Сколько лет, сколько зим
Сыновьям твоим,
Женихам твоим,
И отцам твоим?
Сколько здесь, на земле,
Остаётся им?*

*Или скоро белый камень
Обернётся песком?
Или скоро, птица-память,
Не заплачешь ни о ком?*

*...Или скоро, разомлевшие от скуки,
Сумасшедшей
назовут
тебя внуки?*



Галина ВЕСЕЛОВСКАЯ



Последний шаг

(У акварели внука, написанной на тему войны)

*Наверно, это очень страшно,
Вот так шагнуть в небытиё...
Он – поколение вчерашних
Мальчишек, взятых под ружьё.*

*Он – поколение ушедших,
Не ставших старше никогда.
Горят земли седые плечи,
Горит и воздух, и вода.*

*Погибли двое однокашных...
Он встал – короток его путь...
Наверно, это очень страшно –
Вот так в бессмертие шагнуть.*

Веселовская Галина Анатольевна родилась в 1931 году. Живёт в Тамбове. Работала в областной библиотеке имени А. С. Пушкина, возглавляла сектор информации по вопросам литературы и искусства. Поэт, публицист, член Союза российских писателей.

Памятник Лермонтову

*Та улица смотрела в запад,
Закат горел всех ран свежей.
Был перекрёсток грудой заперт
Из рельсов сваренных ежсей,*

*Как будто спекшихся в морозе.
Смотрел на них былой лабаз,
Пустой, голодный (тыла проза!)
Продмаг с названьем местным ТХАЗ.*

*А парни прыгнули с брони,
Легко раздвинули преграду.
Шёл сорок первый, год войны,
Враги прорвались к Ленинграду,*

*И под Москвой пылали дачи,
И запад был не запад – фронт.
Танкист стоял – глаза ребячьи
И волевой безусый рот.*

*Стряхнул мерлушкой рукавицы
Снег с бюста в сквере жидковатом,
И будто поютели лица,
И замолчали вдруг ребята.*

*«М. Лермонтов. К столетью гибели», –
Прочли и по машинам круто.
Невидимое что-то видели
В те мирные свои минуты.*

*Край гордых Мцыри и черкешенок,
И скал лиловых Машука,
И на камнях его рука
В крови и соке от черешен.*

*Ах, как хотелось бы танкистам
Его спасти от пуль Мартынова,*

*Сто лет с тех пор над миром минуло,
Но, «Факт, Мартынов был фашистом!»*

*...Шли танки к фронту. Мерный рокот,
На шлемах иней-седина,
А командир, как на уроке,
Шептал слова «Бородина».*

Свадебная печальная

*Подруге-безмужнице
Антонине Елагиной посвящается*

*Отзвенела юность трелью соловья...
У ровесниц редко полная семья,
Мне же довелось одной встречать седины,
Не пришлось играть мне свадьбу –
Видно, тот единый,
Суженый судьбою, и звездой, и небом
Унесён был водами Волги, Вислы, Немана,
В пропасть пал с Мархота иль на Аю-Даге,
И засыпан стенами Кракова и Праги.
У войны-старухи стали женихами
Юноши-солдаты. Не понять стихами,
Не обнять, обмыть их, женихов сражённых.
Целовались горько с пулями, не с жёнами,
Пулями, осколками, бомбами, снарядами...
Не пришлось надеть нам свадебных нарядов –
Не вернулись с битвы статные красавцы,
Чтобы с нами в загсах кольцами меняться.*

*...Отзвенела юность трелью соловья...
Девочки, послушайте, что скажу вам я:
Ваши свадьбы звонки и столы полны,
Но тихонько вспомните женихов войны.
Вспомним их, помянем и нальём опять!
Было им по двадцать, может, двадцать пять...*



Анна КЛЕЩ

Просто жизнь

*Я путаюсь в словах и мыслях
И в общих планах мироздания,
В хорях, ямбах, рифмах, числах,
В беззвучном шёпоте сознания;*

*В минутах, даже в днях недели,
В толпе прохожих, в Интернете
И в лабиринтах сновидений,
В страницах книг, в сплетенье сплетен,*

*В объятьях, поцелуях, в чувствах,
В одежде, в честности и лжи...
И это полное безумство
Я называю – просто жизнь.*

Родилась в 1986 году в Тамбове. Окончила лицей № 14. В настоящее время учится на факультете иностранных языков университета имени Г. Р. Державина.

Стихи Анны Клещ печатались в тамбовских газетах, в коллективных сборниках «Люблю тебя, Тамбов!» (2007), «...И хочется в полёт» (2008), «Увидеть мир по-новому...» (2009). Подготовила рукопись для отдельного поэтического сборника.

* * *

*Я видела, как бережно в руках
Держал рассвет остатки зимней ночи,
И бешено метались в облаках
Минуты, мысли, чувства, снега клочья.*

*И первый луч, назло полночной стуже,
По горизонту из дырявого ведра
Вновь расплескал оранжевые лужи...
Всё будет лучше – с самого утра.*

* * *

*По небу плывут облака,
И синее небо – река.
Плывут по реке корабли
Так далеко от земли.*

*Вон облако – будто кошка,
А это – огромный слон,
А это – похоже на лошадь,
А то – длиннохвостый дракон...*

*И кажется небо ближе,
И можно достать рукой...
Эх, взять бы небесные лыжи
И с радуги – вниз стрелой...*

*Эх, мне бы небесные сани,
И всей детворой – в облака:
В снежки поиграть с друзьями,
Слепить бы снеговика...*

*Эх, мне бы взобраться на облако
И сверху взглянуть на свет...
Как жаль, что могу я только
Снизу на небо смотреть.*

* * *

*Вновь кленовые лапы
Истоптали дорожки.
Соберу я для папы
Листьев жёлтых немножко.*

*Их собрать очень просто –
Сотни листьев лежат.
Жаль, не видят их взрослые,
На работу спеша...*

*Кружат листья неспешно
Хоровод на ветру...
И для мамы, конечно,
Я букет соберу.*

* * *

*Я играла на скрипке что-то
Очень нежное, светлое, чистое.
Мне казалось – это мои ноты.
Оказалось – это твои мысли.*

*Я играла на скрипке вроде бы
Очень просто и безыскусно.
Мне казалось – это моя мелодия.
Оказалось – это наши чувства.*

Телефонный звонок

*Между мной и тобой –
Километры дорог.
Между нами связной –
Телефонный звонок.*

*Голос, ласку дая,
В сердце радость зажжёт.
Успокоил меня
Телефонный звонок.*

*Делим мы на двоих
Бурной жизни поток.
Нашу дружбу хранит
Телефонный звонок.*

*Между мной и тобой –
Километры дорог.
Между нами связной –
Телефонный звонок.*

Звёздные сказки

*Ночь тиха. Лишь на небесах
Шепчутся звёзды о чудесах.
Шепчутся тихо о том, что где-то
Нет зимы – только вечное лето.*

*Шепчут о том, что живут на свете
Люди, которые вечно – дети.
Шепчут о том, что так бывает:
Люди по небу, как птицы, летают.*

*Шепчут, что на Пути Млечном
Люди живут, счастливые, вечно.
Шепчут о том, что где-то есть
Место, куда не приходит смерть.*

*Шепчут о том, что есть планета,
Где снова рождаются души поэтов.
Шепчутся звёзды о чудесах...
Полночь застыла на старых часах.*

* * *

*Я пишу, как дышу, –
Дерзко, легко и смело,
Заставляя душу
На мгновенье покинуть тело,*

*Чтобы – ветра свист,
Чтобы – сердце вон. Всё равно...
Только белый лист
Снова манит к себе перо.*

Русь моя

*Русь моя – грусть моя...
Даль синеглазая,
Летними лентами
Туч перевязана.*

*Русь моя – суть моя...
Поле бескрайнее
В душу душистую
Намертво впаяно.*

*Русь моя – боль моя...
Биты бесправные
Властью неласковой,
Верой неправедной.*

*Русь моя – жизнь моя...
В сердце бездонном
Только любовь к тебе
Будет законом.*

* * *

*Не пишется и не спится...
И далеко до рассвета.*

*Вяжет на тонких спицах
Ночь кружевное лето,
В тонкую нить вплетая
Бисер далёких звёзд,
Первую зелень мая,
Жемчуг прозрачных рос,
Ласковый ветер с юга,
Дома запах и звук,
Голос близкого друга,
Ласку маминых рук,
Песнь одинокой птицы,
Память прошедших лет...*

*Вот и настал рассвет.
Пишется, но не спится...*



«БОЧКА МЁДА»

В 2003 году я работала на филологическом отделении Тамбовского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского (ныне – бакалавриат ТГУ им. Г. Р. Державина) и обнаружила там большое количество народа, желающего литературу не только изучать, но и создавать. Принимая очередную заветную тетрадку с неизменной просьбой «только чтоб больше никому...», я вдруг подумала: а ведь нам есть чему учиться друг у друга. Так не объединиться ли вместе?

Название литстудии – «Бочка мёда» – родилось сразу. Всем понравился образ рабочей пчёлки, трудолюбивой и весёлой. Как пчела по крупицам накапливает мёд, так и мы – словечко к словечку – собираем свой нектар к общему пиршеству духа. Получалось символично.

Итак, мы стали пчёлами, а «Бочка мёда» – нашей сокровищницей. Надо признать, что, выбирая подобное название для поэтической студии, мы отдавали себе отчёт, что в нём содержится определённая доля провокации, подсказанная известной поговоркой. Речь о пресловутой ложке дёгтя. Редкий поэтический вечер с участием «пчёл» обходился без того, чтобы о ней не вспомнили. Кто-то очень радовался, что мёд из нашего улья не испорчен продуктами сомнительного производства. Другие, напротив, старательно их отыскивали – ну, как же, полная «Бочка», да без ложки вот этого самого...

Глядя на растущую груды рукописей и изрядно припухших «заветных тетрадок», я всерьёз мечтала о том, как мои девчонки станут известными поэтами, лауреатами престижных литературных премий. И победители у нас уже есть. В 2005 году Маша Родина и Юлия Тихонова приняли участие в студенческом поэтическом конкурсе, и их произведения вошли в число лучших, составивших сборник стихотворений (Воронеж, 2005). Члены «Бочки...» – постоянные гости на страницах тамбовской периодической печати. А стихи Юли Агафоновой, Маши Родина, Ирины Муравьевой публиковались в московских изданиях «Дети Ра» и «Футурум-Арт». В 2007 году мы издали три книги: два авторских сборника и один коллективный. Молодые авторы уверенно движутся по выбранному пути. Юлиана Хайбуллова, например, тесно сотрудничает с музыкантами, пишет тексты для песен. Вообще-то «пчёлы» – создания трудолюбивые и скромные, так что все, сказанное выше – не хвастовство, а констатация факта.

Если кому-то их слово сегодня и покажется далеким от идеала, то возможно ли вообще на этом пути достичь абсолютного совершенства?

Елена БОРОДА,

руководитель поэтической студии «Бочка мёда».

«Бочка мёда»

**Мария
РОДИНА**



* * *

*Клёны танцуют свой вальс золотой,
Слышатся взмахи прощальные крыльев
Тех, что цветущею поздней весной
Вдруг улетают в страну изобилья.*

*А паутинки плывут не спеша,
Словно бы ненаступившее лето
Вдаль провожая, и с ними душа
Средь пустоты растворяется где-то.*

*Сердце – гнездо, затерявшись в кустах,
Осиротевшее, пылью покрылось...
Многое было, наверно, не так.
Что же, простите. Иль что-то случилось?*

*Ливни и грозы среди января,
В мае – печально звенящая просинь...
Трудно поверить, но, видно, не зря
Вместо весны наступила вдруг осень.*

* * *

*Освобождение взгляда
Из-под ширмы
Всегда
Сменяется приступом боли,
Что накатывает,
Словно в шторм
Роковая волна...
А потом – воля к жизни зовет –
ВЫШЕ и ДАЛЬШЕ,
ВЫШЕ и ДАЛЬШЕ,
ВЫШЕ и ДАЛЬШЕ! –
Не давая возможности
Вымолвить ДА!
Наконец
И спокойно поставить
Точку...*

* * *

*За тягостное молчанье,
за маски-слова пустые,
за сдавленное рыданье –
за всё, я прошу, прости мне!*

*Я долго жила мечтами
о том, что в своё, мол, время...
Прости на путях окольных
скитанья и преткновенья:*

*твердили мне слишком долго,
что лик ТВОЙ суров и грозен,
что есть лишь одна дорога
к ТЕБЕ – через боль и слёзы.*

*С ТОБОЙ говорить учили
чужим языком громоздким.*

*Да, всё позади – но сил нет.
Прости, что я так... так поздно.*

*А небо радостно-сине,
волшебен покров воздушный.
Родной мой, молю, прости мне,
прости мне – мою душу.*

* * *

*– Видно, что-то всё-таки случилось,
посмотри, – сказала утром ты, –
на снегу – вот чудо! – распустились
за ночь лилий алые цветы.*

*Алые цветы средь зимней стужи...
На снегу горя живым костром
и роняя искры в наши души,
обнимают их родным теплом;*

*с ними и январь – как будто лето!
Назови как хочешь – бред, мечты...
Или это кровь души поэта
превратилась в алые цветы?*

* * *

*Шар земной облететь
на крыльях семи ветров;
слиться с ними в одно,
притяженье земли поборов,
освободиться от предрассудков,
своих и чужих,
в вольной стихии их
вновь научиться жить,
существом обновлённым
пламенно-вещую
песнь воспевая
пророков...*



«Бочка мёда»

**Юлиана
ХАЙБУЛЛОВА**

* * *

*В небесах грозových на рассвете
Умирала чья-то мечта.
В каплях радужных были дети
И рваные облака.
И осколки хранили люди,
Может, я, а быть может, ты.
Ведь все наши дела, по сути,
Отголоски чьей-то мечты.*

* * *

*Изнутри обжигает душу
Понимание чёрствых фраз.
Загляни-ка в глаза мне лучше –
Знаешь ведь, что в последний раз.
Улыбаешься виновато,
Все же жжёт ведь не мне одной.
Ты сейчас улетишь куда-то,
Ну а я, как всегда, домой.
Там – холодный простор квартиры,
Паутиной – страх пустоты.
Глеют угли. Ведь там, в камине,
Догорают мои мечты.*

* * *

*Ну и что, что километры,
дюймы неба,
ярды света,
футы белых облаков,
миллионы берегов,
мили, метры –
миллиметры,
снег, леса, моря и ветры,
океаны и мосты,
жёлтой осени листья,
и циклоны,
и муссоны,
параллели чисел сонных –
часовые пояса,
радуги, поля, роса –
между нами навсегда.
Ну и что, что города –
Я с тобой...*

* * *

*Не разобрать, где грусть, а где страх,
Где пропасть, а где бесконечность,
Не придумать, кто враг, а кто прав,
Я не верю, что время лечит.
Сколько в жизни будет ещё
Прозрений, фатальных ошибок,
Не наших дорог, ненужных надежд
Невыплаканных улыбок?
Сколько пройдёт ещё февралей
И розовых полнолуний?
Я светом оранжевых фонарей, –
Тамбовских, – тебя целую.*



«Бочка мёда»

**Ирина
МУРАВЬЁВА**

* * *

*Наверно, когда-нибудь это случится,
мы солнце поднимем на хрупких руках
и будем гулять в вышине и резвиться,
следы оставляя на облаках.*

*А если чего-то ты сильно захочешь
и свет загорится в усталых глазах,
летаем с тобой над землёй днём и ночью,
следы оставляя на облаках.*

*Не могут понять нас те, кто не летает,
что нас не забудут в далёких веках.*

*Другие, не мы, по небу гуляют,
следы оставляя на облаках.*

Ужасно, наверно, но это случилось.

А люди запомнят на стыд свой и страх.

*Мечта, как хрустальная ваза, разбилась,
как мы наследили на облаках.*

* * *

*Небо вспыхнет огнём на рассвете,
соловей сложит песню о страсти.*

*Мне планета молчаньем ответит
на вопрос, где же ты, моё счастье.*

Розу нежно руками срываю.

соловей сложит песню о смерти,

*а я кровь о цветы вытираю,
ветер мне в волосах вихри вертит.*

*Мне цветы улыбнутся росой,
соловей сложит песнь о разлуке,
он сложил и о нас бы с тобою –
эта песня была бы о муке.*

*Звезды шепчут мне тихо молитву,
соловей захлебнётся от боли.
Как понять ожиданья палитру?
О, как мне ненавистна вся воля!*

* * *

*Небеса, разрываясь от грома,
в страшных муках рождают молнию,
она бьёт по земле, боль знакома –
этот свет и его сила вольная.
Она так хотела запомниться,
она всё мечтала разрушить,
не дала от жара опомниться,
а уже едким дымом душит.
Её жизнь – секунда, мгновение.
Смогла выжечь огнем полгорода,
и сам Зевс потирал в удивлении
опалённую гарью бороду.
Небеса над пожарищем плакали,
и земля не могла не отчаяться.
Память молния всё же оставила.
И с людьми такое случается.*

* * *

*Мой любимый Арес, я пишу из горящего танка,
в мире грозный огонь не найдёт места мне.
Только, знаешь, в России война – иностранка,
значит, долго не выдержат здесь и войне.
Мой наивный Арес, скоро мирное небо заблещет,
на могилах солдат солнце спрячет свой свет.
Там, где ныне ракетный огонь землю хлещет,
на жемчужном ковре зверь оставит свой след.
Мой несчастный Арес, не побрезгуй моим сожаленьем,
ведь нельзя душу мне чёрной кровью залить.
Скоро эта война станет лишь наваждением...
Вот успели бы танк потушить.*

* * *

*Твои губы пахнут рассветом,
на руках твоих нежность спит,
твои волосы – братья ветру,
а в одеждах пламя горит.
С чем согласна – светлая правда,
что отвергнешь – тёмная ложь.
Если ты облакам нынче рада,
то легко их с неба возьмёшь.
Легкий взмах – гроза улетает,
а улыбка – сады зацвели.
Ты одна управляешь раем,
раем неба и раем земли.
Расстилаясь радугой где-то
и бессилье своё кляня,
твои губы пахнут рассветом,
но рассветом вчерашнего дня.*

«Бочка мёда»

**Юлия
АГАФОНОВА**



Колыбельная

*Вечным сном уснули
Короли и принцы.
Спящей королевы
Вряд ли добудиться.*

*Золотые маски.
Имена в картушах.
Кто расскажет сказки
Об уснувших душах?*

*Боги их забыты,
И в руинах храмы.
У погибших в битвах
Затянулись раны.*

*Полусонный камень,
Старый дряхлый сторож,
Безразлично «Атеп»
Сквозь века бормочет.*

*Время пишет наши
Имена в картушах.
Скоро будем также
Мы в числе уснувших.*

* * *

*Пограничные моменты
между былью, сном и сказкой.
Рождество.
Звёздной пёстрой кинолентой
закружит в безумной пляске
вошебство.
Эльфы, гномы, маги, феи
будут плакать и смеяться,
проклинать, благословляя,
и скитаться меж мирами.
Знай, малыши:
все они – пустые тени
на холодной пыльной сцене –
до того, как ты своими
сердцем, словом и руками
сказку сотворишь.*

Скажи...

*Скажи, что в твоём блокноте.
Скажи, что в корнях души.
Какие слова и ноты
Ты слышал в горах больших.
Скажи о молчании эха.
Скажи о пепле в снегах.
Скажи, как крупинку веры
Нести тяжело на руках.
Скажи, что останется после
Растаявшей утром луны,
О чём так по-детски просто
Надгробные лгут валуны.
Скажи, как мёртвые птицы
Срываются с неба муз...
Как странно, на белой странице
Рождается радужный блюз...*

* * *

*Снова полнолуныя тени
вышли мучить Франца Кафку.
Толкотня средь привидений
и автобусная давка.
Приближаясь неотступно,
машинально круг смыкая,
тысячи клещей паучьих
тянут к строкам на бумаге.
Тёмной массой навалитесь,
тело на клочки порвите,
только строки золотые
братъ не смейте,
в строках – вечность.*

* * *

*На щеках твоих лунный загар,
на ресницах – звёздная пыль.
Ты другим был в солнца разгар,
ты другой к другим приходил.*

*Шелест крыльев невидимых,
стирающих тень,
а в зрачках – по огромной луне.
Ты другой, когда вновь
инкубаторный день,
а такой ты – ночью во сне.*

*Расплетаеть лунный клубок –
в пальцах дрожь, тремоло – пульс.
Не сорвёшься. Лети высоко,
спи спокойно.*

*Я помолюсь
за лунатиков...*



Владимир ПОПОВ

ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

Имя русского врача-подвижника Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича, он же архиепископ Лука, долгие годы произносили вполголоса, стараясь как можно меньше упоминать его духовный сан. Редко кто задумывался и о сущности его второго имени. А оно весьма примечательно, так как напрямую связано с Новым Заветом, с автором одного из Евангелий и Книги «Деяния святых апостолов». Евангелист Лука, священный писатель, первый историк Церкви, художник, образованный врач, ради служения Христу отрёкся от всего, что могло бы сулить личную выгоду. В духовном облике архиепископа Луки сходство с древним евангелистом-универсалом легко обнаружить даже невооружённым глазом. Талантливый хирург, учёный-медик, автор популярной монографии «Очерки гнойной хирургии», незаурядный художник, глубокий богослов, написавший оригинальный трактат «Дух, душа и тело», проникновенный проповедник, которого жаждали слушать простые люди и высокообразованные интеллектуалы.

«Делай, что должно, и пусть будет, что будет» — таков был любимый девиз Войно-Ясенецкого. Делать, что должно, поступать так, как велит христианская совесть, не дозволялось в эпоху поправления веры. Одиннадцатилетняя эпопея тюрем и ссылок — вот крестный путь христианина-правдолюбца, не изменившего своему высшему призванию.

Владимир Александрович Попов родился в 1949 году в селе Горелое под Тамбовом. Окончил Тамбовский приборостроительный техникум, Московскую духовную семинарию и магистратуру Санкт-Петербургского христианского университета.

Публиковался в местных и центральных газетах, журнале «Кredo», «Тамбовском альманахе».

Живёт в Тамбове.

Несомненно, дух святой ревности сближает архиепископа Луку с великими христианскими подвижниками: Яном Гусом, Джироламо Савонаролой, Максимом Греком, протопопом Аввакумом. По примеру «ревнителей древлего благочестия», Войно-Ясенецкий даже готов был, однажды, подвергнуть себя самосожжению ради защиты святой Церкви. Весной 1930 года, узнав о том, что власти намерены разрушить Ташкентский Храм Преподобного Сергия Радонежского, его осенила отчаянная мысль. Он принимает решение: отслужить накануне дня закрытия последнюю литургию и, когда явятся богоненавистники, запереть церковные двери, снять и сложить грудой большие иконы, облить их бензином, самому в архиерейской мантии взойти на них и сгореть на костре. «Я не мог стерпеть разрушения Храма, — вспоминает Войно-Ясенецкий в мемуарах. — Оставаться жить, и переносить ужасы осквернения и разрушения Храмов Божьих было для меня совершенно нестерпимо. Я думал, что моё самосожжение устрасит и вразумит врагов Божьих, и остановит разрушение Храмов, колоссальной дьявольской волной разлившееся по всему лицу земли русской. Однако, Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения, и по Его воле закрытие Сергиевской церкви было отложено на короткое время. Меня же в тот же день арестовали, и церковь разрушили, когда я был в тюрьме».

В местах заточения, где, по словам Анны Ахматовой, «невинная корчилась Русь», Валентина Феликсовича изнуряли многосуточными конвейерными допросами, пытаясь заставить признаться в фантастических преступлениях. После жестоких пыток осуждённый архиепископ Лука мерил холодные дороги Енисейского тракта, исполняя в меру сил и возможностей священный долг христианского пастыря и врача-хирурга. Суровую долю делили с архиепископом и верующие других христианских исповеданий. Общность страдальческой судьбы сближала людей. Не раз за годы сибирской ссылки Войно-Ясенецкий встречался с пресвитером церкви христиан-баптистов из Ленинграда Иваном Никитовичем Шиловым. В беседах о Едином Боге и Спасителе забывали о второстепенных различиях. Опыт подобных общений наполнял впоследствии проповеди архиепископа Луки. Он учил своих прихожан остерегаться греха фанатизма, избегать ненависти к инакомыслящим. «Относитесь бережно ко всякой “чужой вере”, никого не унижайте, не оскорбляйте», — часто напоминал он в своих проповедях.

В тяжкие годы военного лихолетья, после личных писем в адрес правительства, Валентину Феликсовичу было разрешено прервать ссылку и отправиться для работы в прифронтовом городе Тамбове. Хирург и главный консультант всех тамбовских эвакогоспиталей, управляющий приходами Тамбовской области он, не щадя сил, не думая о личном благополучии, всего себя отдавал на служение Богу и людям.

«Валентин Феликсович, кого вы считаете одним из самых лучших ваших ассистентов?» — часто спрашивали коллеги. Войно-Ясенецкий с благоговением поднимал указательный палец вверх, и коротко говорил: «Бог!». Конечно, это не означало, что хирург свысока смотрел на своих медицинских сотрудников. Ему можно было задать любой вопрос, и он терпеливо, обстоятельно отвечал, показывая на конкретных примерах необходимость тех или иных хирургических приёмов. Христианское добросердечие Войно-Ясенецкого особенно остро чувствовали пациенты. «Не только клинический случай, но, прежде всего, сам человек должен интересоваться вас», — эта мысль, как врачебная заповедь, постоянно звучит в его «Очерках гнойной хирургии». Как правило, беседуя с больным перед операцией, Валентин Феликсович интересовался: «Веруете ли вы в Бога? Если веруете, давайте вместе с вами помолимся Господу, пусть Он споспешествует в деле рук моих». Смертность в тамбовских больницах и военных госпиталях, по данным статистики, резко сократилась в те годы, когда на Тамбовщине пребывал архиепископ Лука.

Помимо труда в медицинских учреждениях архиепископ ежедневно совершал богослужения в единственном тогда местном храме. Ходил на службу, даже и в непролазную грязь, по обыкновению, пешком. Пастырские заботы его были направлены на то, чтобы привить прихожанам высокое качество христианской жизни. Для этой цели архиепископ Лука устраивал внебогослужебные собеседования, поручал священникам разъяснять народу Символ веры, чаще проповедовать, внушать всем, что Храм Божий не бюро ритуальных услуг, а место встречи с Богом. И сам архиепископ неустанно произносил духовно-воспитательные проповеди. «Не думайте, если вы крестились во имя Святой Троицы, если исполняете все обряды Церкви, если часто молитесь, то вы уже не во тьме, не будьте самонадеянны, — проповедует он. — Смотрите, пристально смотрите каждый день в сердце своё, нет ли там какой тьмы. И если

увидите там хоть малейшую тьму, тотчас же слезами, горькими слезами разгоните эту тьму».

Во главе угла всех бесед и поучений архипастыря стояла тема Креста, тема сораспятия Христу. «Я как-то спросила у него на беседе, какой подвиг нужен для спасения души? — вспоминает тамбовчанка Вера Владимировна Белохвостова. — “С терпением, без ропота нести крест, возложенный Богом. Каждый наш шаг, каждое движение души, каждый поступок может быть крестом. Не обязательно идти в монастырь или в пустыню”», — ответил архиепископ Лука. Крест, как бремя служения, как жизненный многотрудный путь был частью судьбы Войно-Ясенецкого. Потому и проповеди его имели такое потрясающее влияние на слушателей. Собственный опыт, живое слово умудрённого пастыря делали Голгофу очень близкой и зримой очам веры. «Господь первый взял Крест, и вслед за Ним взяли на плечи свои кресты бесчисленные мученики Христовы. В дальний и тернистый путь, указанный Христом, идут и идут почти две тысячи лет. Неужели мы не возьмём на себя кресты и не пойдём за Христом?» — размышлял вслух проповедник.

Как проповедник архиепископ Лука обладал редкостным качеством. Обращаясь с живым словом от сердца к сердцу, он всегда проповедовал без оглядки на начальство. Сразу же, после прибытия в Тамбов, прямо на первом Богослужении в Храме Лука начал говорить то, что думал, то, о чём болела душа:

— Мир вам, моя новая возлюбленная паства! Мир вам, мои бедные люди! Мир вам, голодные люди! Пятнадцать лет были закрыты и связаны мои уста, но теперь они вновь раскрылись, чтобы благовествовать вам Слово Божье. Я знаю, вы изголодались по духовной пище, по спасительному Слову Господнему. Вы видите, что Храмы наши разрушены, они в пепле, угле и развалинах. Вы счастливы, что имеете хоть небольшой, бедный, но всё же Храм. Он грязен, загажен, тёмнен, но зато в сердцах ваших горит свет Христов. Восстанавливайте разрушенные Храмы, подымайте их из пепла и мусора, очищайте от грязи. Нам нужен ваш труд для восстановления уничтоженного, ибо Храмы должны вновь восстановиться, и вера должна засиять новым пламенем...

В полутемном обшарпанном Храме стояла тогда абсолютная и напряжённая тишина. Прихожане, привыкшие постоянно жить под дамокловым мечом гонений за веру, никогда столь откровенных

речей не слышали. Необыкновенно смелая проповедь нового архиерея звучала, как пророческий голос с неба.

Естественно, проповедь эта тронула не только сердца прихожан. Она не на шутку возмутила и встревожила бдительных охранителей господствующей идеологии из соответствующих органов. Во все инстанции мигом полетели рапорты. «Доношу, что архиепископ Лука по прибытии в Тамбов, во время богослужения проповедует реакционные взгляды, и произносит нездоровые высказывания», — спешил доложить местный уполномоченный по делам русской православной церкви работникам всевозможных контролирующих органов. В его донесении устная проповедь Луки была приведена почти дословно. Вскоре архиепископ получил нагоняй от Московской патриархии. Органы, ведь, как известно, прилагали усилия к тому, чтобы активных церковных служителей держать в жёстких рамках руками вышестоящего духовенства. Строгие внушения, однако, никак не ослабили духовного рвения Луки. А скорее, даже наоборот, ещё более воспламенили. Он неотступно начинает обивать пороги советских и партийных учреждений, требуя открыть кафедральный собор в Тамбове и храмы в области. Узнав о том, что в райцентре Ламки храм переоборудован под клуб, он выступил в поддержку жалобы верующих той местности. Оказавшись в облизполкоме вместе с сельским ходяком, Лука без всяких оговорок заявили председателю: «Клуб нужно закрыть, а здание отдать под церковь, так как церковь важнее клуба. Всё равно ведь в ваш клуб никто не ходит. А в церкви, вы только посмотрите, сколько молодёжи бывает»...

Позже, в присутствии областного начальства, Лука вдруг огласил своё решение отказаться от зарплаты священнослужителя. Свой отказ он мотивировал тем, что 75% от зарплаты отходит в карман государства.

Когда власти отклонили ходатайство архиепископа о разрешении областного съезда духовенства, Лука разослал циркулярное воззвание к священникам и всем верующим православных приходов области. В пастырском послании вновь звучит та же возвышенная беспокойная нота о судьбе духовного дела в России: «Примемся все, и сильные, и слабые, и бедные, и богатые, учёные, и неучёные за великое и трудное дело восстановления Церкви Тамбовской и жизни её...»

Неугомонный архиепископ берется за разработку проекта ду-

ховного просвещения интеллигенции. Столь неожиданная и оригинальная затея, конечно, не могла укрыться от «всевидающих глаз и всеслышающих ушей» шустрых надзирателей. Уполномоченный тут же по свежим следам спешит известить всех видимых и невидимых слуг народа о том, что «у архиепископа Луки есть план о проведении религиозного просвещения среди интеллигенции». Какой же криминал усмотрел в данном плане ретивый государственный чиновник? По словам уполномоченного, Лука «выставляет критику материализма и ознакомление интеллигенции с миром духовным, то есть сверхъестественным через изучение новой науки метапсихологии, которая применяется за границей».

Проект свой Лука отправил в Синод, предлагая незамедлительно организовать во всех Храмах воскресные школы для взрослых с преподаванием в них Закона Божьего, Истории Церкви и Катехизиса. В эпоху разгула воинствующего атеизма такие предложения носили явно утопический характер. Перепуганные члены Синода, не вдаваясь даже в обсуждения, несвоевременный проект сразу же отклонили.

Несмотря на отсутствие какой-либо поддержки, архиепископ командирует священников в приходы Тамбовской епархии для оглашения его Посланий. В обращениях он призывает поставить богослужение на должную высоту, и не забывать об ответственности перед Богом за воспитание детей в христианском духе. Копии этих писем неизменно попадали на стол к уполномоченному, и тот, докладывая вышестоящему начальству, квалифицировал их, как «идущие вразрез со Сталинской Конституцией».

Вразрез с тогдашними порядками шла жизнь и почти все инициативы Луки. Немало нареканий, толков и горячих пересудов в высоких кабинетах вызывало строптивное поведение управляющего Тамбовской епархии. То он в пасхальные дни разрешает проведение праздничных Богослужений в незарегистрированных приходах, то совершает священнодействия прямо в домах и на квартирах верующих. По месту своей врачебной деятельности тоже не придерживается строго установленных идеологических рамок. Прямо в операционной устраивает молитвенные бдения с коленопреклонением, часто ведёт с коллегами и пациентами беседы о спасении души и о жизни в загробном мире. На научные медицинские конференции является в полном архиерейском облачении.

Будь архиепископ Лука человеком не столь влиятельным, влас-

ти не преминули бы воздействовать на него крутыми мерами. Но архиепископ Лука — учёный с мировым именем, искусный хирург, спасший тысячи жизней. Да, к тому же медицинские заслуги Войно-Ясенецкого вдруг, неожиданно получили признание и в собственной стране. В январе 1946 года он стал лауреатом Сталинской премии первой степени.

Как известно, под давлением глав антигитлеровской коалиции и мировой общественности «отец народов» вынужден был на недолгое время изменить курс государственно-церковной политики в сторону некоторого смягчения. Все эти обстоятельства, так или иначе, мешали властям одним махом, по-большевистски, поставить активного пастыря на строго отведённое законом место. Однако, так называемая «оперативная разработка» никогда не прекращалась. Каждый шаг этой свободолобивой и духовно озабоченной личности был на контроле. Даже тех, кто вёл переписку или общался с Лукой, бдительные органы не оставляли в покое.

С помощью ловких закулисных действий и давления на патриарха Алексия (Симанского) власти смогли сделать пребывание Луки на Тамбовщине непродолжительным. Войно-Ясенецкого ожидала, по сути, новая, искусно завуалированная ссылка. Нет не в суровую Сибирь, а на юг, и не по решению суда, а по уговору патриарха, и в соответствии с желанием тех, кто стоял за патриаршими плечами.

— Настал день печальный, день скорби для вас и большой скорби для меня. Вы знаете, как тяжело вам расставаться с детьми вашими. Каково же мне расставаться со всеми вами, ведь, вы же дети мои. Господь послал меня среди вас Слово Христово. Я сеял, усердно сеял, неленостно сеял. И какая радость, безмерная радость была видеть, как мало-помалу возрастают ростки веры Христовой в сердца ваших. Это высшая награда, которую Господь дает нам, Своим служителям, провозвестникам Евангелия, — говорил с амвона архиепископ, произнося прощальную проповедь в переполненном тамбовском храме 19 мая 1946 года.

Последние годы своей жизни Войно-Ясенецкий провёл в Симферополе, управляя Крымской епархией. Понятно, что перевод пастыря из Тамбова на юг был устроен властями, дабы слишком активный проповедник и правдоискатель не маячил близ Москвы, не беспокоил высокое церковное и светское начальство.

Крымская земля не стала для Войно-Ясенецкого местом курортного покоя. Здешний уполномоченный был ничуть не мягче там-

бовских. «Он отнял у меня несколько лет жизни» — жаловался сотрудникам епархиальной канцелярии на беспардонного чиновника Лука.

Кроме вседневных стычек с властями, Лука оказывался в центре конфликтов с духовенством. Местные приходы находились в крайне запущенном состоянии, в среде духовенства было немало корыстолюбцев, приспособленцев и карьеристов. «Какой ответ дам перед Богом за всех вас? — увещевал Лука нерадивых батюшек. — Если меня не страшитесь, то побойтесь хотя бы Бога, ведь строго глаголет Господь через Иеремию пророка: проклят всяк, творящий дело Господне с небрежением».

Везде, где бы ни оказывался этот подвижник, он являлся прямым укором для ленивых, беспечных, своекорыстных. А для жаждущих духовного совершенства и правды Божьей служил живым примером подлинного самоотречения ради Христа и Его дела.





Николай НАСЕДКИН

ГЛЯНЦЕВЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ

Газетные киоски в Тамбове, как и по всей России, ныне переполнены глянцем. Понятно, что в блестящую упаковку обложек в большинстве своём макулатурных журнальчиков напичкана эротика, сплетни, скандалчики и тонны рекламы. Однако ж и в этом море блестящего мусора есть издания, которые пытаются позиционировать себя как вполне серьёзные и уважаемые. Один из таких — «Gala Биография».

С интересом и, главное, доверчивостью время от времени читал этот журнал — всегда любопытно узнать подробности судеб знаменитых людей. Верил всему! Биографические сведения как о ныне здравствующих, а тем более уже ставших историческими личностями героях казались мне убедительными и достоверными на все сто.

Но вот не так давно в 11-м, ноябрьском, номере «Gala Биографии» за 2009 год дошёл до статьи «Человек есть тайна» о Ф. М. Достоевском и — чересчур доверчивое моё читательское сердце уязвлено стало.

Николай Наседкин родился в 1953 году в Сибири. Окончил Московский университет им. М. В. Ломоносова и Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького. С 1982 года живёт в Тамбове.

Публиковался в журналах «Наш современник», «Нева», «Урал», «Подъём», «Южная звезда», «Российский колокол» и др.

Автор книг «Осада», «Криминал-шоу», «Алкаш», «Меня любит Джулия Робертс», «Люпофь», «Самоубийство Достоевского», «Достоевский: Энциклопедия» и других, вышедших в издательствах Москвы, а также Польши и Черногории.

Председатель правления Тамбовской писательской организации. Секретарь Правления Союза писателей России.

Дело в том, что я неплохо знаю биографию писателя, поэтому с первых же абзацев начал спотыкаться на фактических нелепостях и неточностях, не говоря уж о странностях слога автора опуса Владимира Тихомирова. Как советовал старец Тихон Ставрогину в «Бесах» по поводу его исповеди, мол, поправить «немного бы в слог»...

Но сначала о фактах.

«Когда Фёдору исполнилось 16 лет, отец отправил их с Михаилом учиться в частный пансион Костомарова в Петербурге. После окончания обучения мальчики перешли в Петербургское военно-инженерное училище...»

Увы, «перешёл» один Фёдор, да и то с трудом — не на казённый кошт, а с оплатой в 950 рублей (поэтому слово «перешёл» здесь вряд ли точно), а вот Михаила забрала медкомиссия, и он вынужден был пойти служить в инженерную команду в Ревеле (ныне — Таллинн).

Далее автор, простодушно уверенный, что братья учатся-таки вместе в Петербурге, выдаёт: *«Днём братья ходили в училище, а по вечерам часто посещали литературные салоны...»*

Главное инженерное училище, хотя и не имело в своём названии слова «военное», как уверен В. Тихомиров, было на самом деле учебным заведением военно-казарменного типа, готовило военных инженеров, поэтому кондуктора́ (так именовались воспитанники) содержались в его стенах в строгой муштре 24 часа в сутки и могли покидать стены Михайловского замка, где располагалось училище, в редчайших случаях.

Затем автор удивительной статьи сообщает нечто и вовсе странное: *«Именно под влиянием идей Петрашевского Фёдор Михайлович написал свой первый роман “Бедные люди”...»*

Здесь словечко-утверждение «именно» особенно умиляет: мол, не встретя вовремя Петрашевский на пути Достоевского — не стал бы тот писателем... А между тем, с Михаилом Васильевичем Буташевичем-Петрашевским Достоевский познакомился (случайно, на улице) весной 1846 года, а посещать его «пятницы» и знакомиться с его «идеями» начал только с февраля 1847 года. Роман же «Бедные люди» был начат в январе 1844-го, окончен в мае 1845-го и опубликован в «Петербургском сборнике», который вышел в свет в январе 1846-го — за три месяца (!) до первой встречи уже ставшего известным писателя с Петрашевским.

А вот после прочтения следующего пассажа остаётся только развести руками: «Фёдор Михайлович предлагал Аполлинарии Сусловой выйти за него замуж — это решило бы и вопросы с его долгами, ведь Полина была из довольно состоятельной семьи».

Во-первых, Сулова родилась в семье крестьянина, который выкупил себя и свою семью у помещика, перебрался в Петербург и, что называется, из сил выбивался, чтобы дать двум своим дочерям образование, так что о какой-либо особой «состоятельности» и речи нет. А во-вторых, заподозрить-обвинить Фёдора Михайловича, который всю жизнь в ущерб себе отдавал последнюю копейку близким и неблизким родственникам, в каких-то меркантильных матримониальных планах — это надо совсем не представлять человека, о котором пишешь. К слову, он и в первый раз, ещё в Сибири, женился на совершенно нищей Марии Дмитриевне Исаевой, спас её и её сына Пашу буквально от гибели, и вторая жена Достоевского, Анна Григорьевна Сниткина, была из совсем небогатой семьи мелкого чиновника, бесприданницей...

Кстати, встреча с Анной Григорьевной, знакомство с ней — в полном смысле слова судьбоносное событие в жизни Фёдора Михайловича. Этот биографический эпизод описан десятки если не сотни раз в литературе о нём, так что придумать-присочинить здесь что-либо сложно, практически невозможно. Но для нашего новопечённого биографа и сия задача оказалась по плечу!

«...Достоевский был чем-то раздражён и много курил. Он пробовал было диктовать новую статью для “Русского вестника”, но потом, извинившись, предложил Анне зайти вечером...»

Какая статья, да ещё и новая? Откуда она выскочила?! В этом журнале были опубликованы четыре романа Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»), но никогда и ни единой статьи писатель для журнала «Русский вестник» не писал. А молодую «стенографку» Анну Сниткину Фёдор Михайлович пригласил для работы над новым романом «Игрок», который вовсе не предназначался для журнала Каткова.

Далее Тихомиров сообщает, что Достоевский уже вечером «вдруг», ни с того ни с сего рассказал девушке *«историю своей жизни»*. Можно подумать, писатель подробно поведал Анне Григорьевне все перипетии своей 45-летней на тот момент биографии, мучая гостью исповедью несколько часов. На самом же деле он рассказал ей только о сцене казни на Семёновском плацу, пережи-

той в юности, и в литературе о Достоевском уже разъяснено, что это случилось вовсе даже не «вдруг»: именно утром 4 октября 1866 года, в день первой встречи Достоевского и Сниткиной, в Петербурге состоялась публичная инсценировка казни одного из «каракозовцев» Н. А. Ишутина — он простоял на эшафоте десять минут с петлёй на шее, прежде чем ему было объявлено, как и в своё время «петрашевцам», помилование. Так что вполне понятно, почему Достоевский утром был не в себе, а вечером «вдруг» начал вспоминать собственную казнь...

Ну и, конечно, можно поспорить с весьма безапелляционным заявлением Тихомирова, будто «...этот вечерний разговор стал для Фёдора Михайловича первым за столь тяжёлый последний год его жизни приятным событием».

Бесспорно, первая встреча с будущей женой было событием приятным, но отнюдь не первым за тот год. Достаточно сказать, что именно в этом году он создавал-писал роман «Преступление и наказание», который с январского номера 1866 года печатался в «Русском вестнике» и уже имел грандиозный успех. Этот счастливейший год стал переломным и основополагающим в биографии Достоевского-писателя.

Посчитав, вероятно, что ещё мало открыл белых пятен в биографии Достоевского, Тихомиров делает ещё одно открытие: «...Анна Григорьевна настояла на том, чтобы семья навсегда покинула шумный Петербург... Достоевские выбрали для жительства городок Старая Русса в Новгородской губернии, где они купили двухэтажный деревянный особняк... Осенью 1880 года семья Достоевских вернулась в Санкт-Петербург...»

На самом деле семья писателя с 1872 года каждое лето нанимала дачу в Старой Руссе, а когда в 1877 году хозяин «особняка» (в действительности — весьма скромного дома) умер, он и был куплен, только не самими Достоевскими (денег не нашлось), его приобрёл брат Анны Григорьевны — И. Г. Сниткин, который разрешал родственникам и далее использовать дом под дачу в летние месяцы. Не верит Тихомиров биографам, поверил бы хоть самой Анне Григорьевне: «...у нас, по словам мужа, “образовалось своё гнездо”, куда мы с радостью ехали раннею весною, и откуда так не хотелось нам уезжать позднею осенью...» (Достоевская А. Г. «Воспоминания»). Однако ж уезжали каждый год, а не только в 1880-м.

И ведь дело даже не в том, где конкретно жили Достоевские,

сколько опять же в том, что новый Нестор понятия не имеет о ком пишет: Достоевский особенно в эти годы — годы создания, печатания, продажи «Дневника писателя» и «Братьев Карамазовых» — был привязан, прикован к Петербургу и даже в летние месяцы, отправив семью в Старую Руссу, наезжал к ней буквально на несколько дней...

Да чего уж там говорить, если господин Тихомиров в биографическом очерке о Достоевском умудрился ни разу не упомянуть журнал «Гражданин», тот же «Дневник писателя», романы «Подросток», «Братья Карамазовы», не говоря уж о повести «Записки из подполья»... Человек просто не понимает, что это и есть значительная часть биографии великого русского писателя.

И в конце, как обещали, немного о странностях слога «биографа». Он, к примеру, пишет *«штабс-лекарь»* (вместо штаб-лекарь), *«вчерашний студент»* (вместо вчерашний кондуктор), *«в рядовых солдатах»* (вместо в простых солдатах), «Записки из Мёртвого дома» называет *«романом»*, журнал «Время» — *«альманахом»*...

А уж когда вздумает писать «покрасивше», то хоть всех святых выноси!

Вот образчик: *«...когда все осуждённые уже стояли на эшафоте в одежде смертников, император смягчился и объявил о помиловании...»*

Так и видится эта картина: «смягчённый» император Николай I рано утром 22 декабря 1849 года, не доспав, на взмыленном коне мчится вместо фельдгегера к эшафоту, чтобы лично объявить петрашевцам о помиловании (которое на самом деле он подписал ещё за месяц до того, и исполнители мрачной инсценировки об этом прекрасно знали)...

И вот, вполне естественно, возникают три вопроса:

1) Почему бы редакции журнала «Gala Биография», решившей рассказать читателям о жизни Достоевского, не обратиться к специалисту, хотя бы, например, — к автору энциклопедии «Достоевский» Николаю Наседкину (это я так о себе — в третьем лице).

2) Почему бы редакции, если уж решили обойтись самодеятельностью, не сверить материал доморощенного «биографа», как это и положено в уважающем себя журнале, со справочными изданиями — той же энциклопедией «Достоевский» (в России вышло уже два издания; первое — М.: Алгоритм, 2003; второе — М.: Алгоритм, Эксмо, 2008).

3) Ну и наконец, чисто риторический вопросец: всему ли можно верить, что понаписано в «Gala Биографии», хотя бы в том же 11-м номере, про других героев — Софи Лорен, Линдси Лохан, Мика Джаггера, не говоря уж о графе Дракуле?!

Большущие сомнения.

И последнее. Тираж этого журнальчика почему-то не указан, но наверняка он не мал, так что глянцева халтура, надо полагать, замусоривает мозги вральской информацией десяткам тысяч доверчивых читателей — вот что обидно.





Елена БОРОДА

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ СВОЁМ?

Не так давно меня стали интересовать литературные псевдонимы. Причём не столько конкретные авторы, сколько принятие вымышленного имени как явление в целом. Если верить распространенной фантазии о существовании мира созданных нами образов и мыслеформ, то где-то там обитают и они, загадочные двойники тех, кто в силу разных обстоятельств предпочёл зваться по-другому.

Есть же причины, по которым писатель добровольно скрывается под другим именем? Безусловно, есть. Одна из них — сознательное дифференцирование разноплановых явлений и предметов, допустим, себя — художника и себя — простого смертного. Вполне объяснимое стремление разделить божественное происхождение одного и земную натуру другого. Художник действительно получает божественную искру в душу и «жало мудрых змеи», но распоряжается этим даром вместе с тем, другим.

Первый в ночи пишет бессмертные строки, а тот, другой, пьяница и игрок, у него три жены и десяток любовниц, трудное детство и драматические отношения с собственным отпрыском (образ, разумеется, собирательный). Не сомневайтесь, стихи действительно рождаются из сора. А обыватель существует, чтобы судить и быть судимым, и ему нет дела до бессмертных строк, зато есть дело до того, кто их создал. И беда в том, что все поминается как раз имя, выбранное, дабы не осквернить...

Елена Борода (Владимирова) — кандидат филологических наук, работает преподавателем в колледже.

Автор многих публикаций в газетах, коллективных сборниках, а также двух поэтических книг «Двойные двери», «Улыбка клоуна» и книги прозы «Цветок на асфальте».

Постоянный автор «Тамбовского альманаха».

Ещё разделяют, простите, творчество и халтуру. За последнюю автору, как правило, платят. А псевдоним, как правило, расплачивается. А что? Поэт, он тоже — жив не манной небесной. Казалось бы, чего тогда стыдиться? Да знали бы вы, сколько образцов мировой литературы творилось за деньги или на заказ! Но существует большая разница между содержимым заветной Синей папки и газетным фельетоном, созданным за полчаса, вместе с курением, пошвыстыванием, и хихиканьем с машинисткой.

Впрочем, написанное не всегда дифференцируют именно по уровню мастерства и чистоте помыслов. Иногда речь идёт о принципиально разных сферах литературного пространства. Или о жестоким творческом кризисе, породившем нового автора. То есть когда в одном художнике уживается несколько и каждый претендует на собственное имя. Недаром же появились С. Витицкий и С. Ярославцев, в соавторстве известные как братья Стругацкие. Так мирно соседствовали (-ют) в одном человеке поэтесса Зинаида Гиппиус и литературный критик Антон Крайний, японист-переводчик Григорий Чхартишвили и писатель Борис Акунин. Такая гетеронимность нужна скорее писателю, чем читателю, — хотя вроде бы существует в интересах последнего — как систематизация собственного творчества.

Ещё одна причина наличия псевдонима — неблагозвучность настоящего имени. Здесь критерий один: эстетическое чутьё его обладателя. Разумеется, каждый согласен с тем, что не имя красит человека, а как раз наоборот, что при имени Пушкина мало кому слышатся залпы башенных орудий, а фамилия Георгия или Вячеслава Ив́ановых (правда, с благородным ударением на второй слог) не кажется такой уж заурядной. И все же звучный псевдоним продолжают считать определенной составляющей творческого успеха. Разумеется, Северянин звучит куда благороднее Лотарева, а Багрицкий интереснее Дзюбина.

Порой за псевдонимом угадывается скрытая игра, мистификация. Таинственный Ник. Т. О., придуманный И. Анненским, лукаво заигрывает с читателем, провоцируя того на поиски настоящего автора. Не прочь быть разоблаченным, дабы доказать артистическую способность перевоплощаться, В. Брюсов, опубликовавший цикл стихов от имени женщины.

Наверное, есть и более экзотические причины использования псевдонима. Раздвоение личности, к примеру. Или эзотерические

попытки гармонизировать трансцендентную и имманентную сущность имени... За каждым псевдонимом — своя история. И есть во всём этом какая-то карнавальность, когда маски становятся реальнее людей.

В этой связи интересно коснуться такого явления, как «сетература», то есть интернет-литература. Там не псевдонимы, а ники, и авторы заняты не столько творчеством, сколько игрой. Казалось бы, демократичность и простота виртуальной коммуникации должны сблизить читателя и писателя. В действительности происходит наоборот. Если в сложившейся литературной традиции между автором и читателем стоит лирический герой, то в сетературе ещё и псевдоавтор, скрывающийся за ником. Не то же ли самое использование псевдонима? Нет, не то. Разница приблизительно та же, что между написанным портретом и отражением в зеркале одного и того же лица. Псевдоним начинает жить собственной жизнью, зачастую более полной, чем его обладатель. Ник изначально эфемерен. Само существование его почти всегда утилитарно — для Сети как глобальной системы это всего лишь регистрация активного пользователя, не более.

Всё сказанное выше, в сущности, достойно применения бритвы Оккама. Потому что в основе всех причин использования псевдонима лежит привязанность к имени. Меж тем феномен литературы в том, что живут не имена, а книги. Сравнение художественного творчества с процессом деторождения метафорично только в силу разности, так сказать, сфер деятельности. Законченное произведение хотя и связано с автором узами кровного родства, но живёт самостоятельной жизнью. И если оно почему-либо не может существовать без родителя, то цена ему может и не грош, но на золотой фонд оно точно не тянет.

Названный феномен не вполне осознаваем благодаря клишированности нашего восприятия. Зачастую мы именами определяем произведение, забывая о том, что само имя создано произведением. Книга, носящая признаки творческой неудачи или отмеченная переоценкой собственного потенциала, вряд ли заслуживает внимания сама по себе. Но если её автор молодой Некрасов или Булгаков — тогда да, тогда конечно, это вам не творческая неудача, это один из этапов оформления авторского почерка. И не надо слышать в сказанном иронию. Всё верно: литературоведам, биографам и поклонникам Некрасова и Булгакова интересно всё ими созданное.

Тем более что шедевры не вырастают в подобии цветочного горшка. Шедеврам нужна почва, перегной, брожение, так сказать. Нужно ли удивляться, что под блистательной вершиной райского дерева расположились ветви более скромные?

Тогда нужен ли он вообще, псевдоним? Играет ли он какую-либо роль или, простите за каламбур, кроме роли в придуманной автором игре, — никакой? В сокрытии подлинного имени значение его ничтожно. От потомков не скроешься. Люди, которым интересен Гоголь и Чехов, вытащат на свет Божий и В. Алова, и Антошу Чехонте. Нелепо думать, что исследователи творчества Андрея Белого (который на самом деле Борис Бугаев) и Александра Гликберга (который известен как Саша Чёрный) не будут знать полного списка имен любимых поэтов. Зато это один из важных показателей в творческой самооценке.

Пожалуй, всё. Пожалуй, на этом можно остановиться. Потому что есть хорошие книги. И не так уж важно, кого больше — авторов или писателей.



БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

22 октября 2009 года в Тамбовской областной картинной галерее состоялся необычный поэтический праздник — Вечер одного стихотворения. Поэты на фоне пейзажей тамбовских художников читали свои стихи об осени — каждый по одному.

Вечере приняли участие члены Тамбовского отделения Союза писателей России, которых представлял председатель правления Николай Наседкин. Это — Валентина Дорожкина, Валерий Марков, Валерий Хворов, Татьяна Маликова и Татьяна Курбатова.

Выступали также воспитанники литературных объединений, действующих при писательской организации, — «Радуга», «Тропинка» и «Открытие», другие самодельные и профессиональные поэты.

В ходе своеобразного поэтического состязания выяснилась парадоксальная вещь: несмотря на одну заявленную тему — «Осень» — стихи звучали разные и в большинстве своём нешаблонные.

* * *

В конце 2009 года в центральных изданиях появились новые публикации тамбовских писателей. Так, в «Литературной газете» (№ 43) опубликована статья Ларисы Поляковой о «Замятинских чтениях-2009», а в свежем выпуске (№ 2/22) столичного журнала «Страстной бульвар, 10» напечатана рецензия Валерия Аршанского на спектакль Мичуринского драмтеатра «До третьих петухов» по В. Шукшину.

* * *

13 ноября 2009 года в Тамбовской центральной городской библиотеке им. Крупской состоялась презентация «Тамбовского альманаха» №7. Перед гостями вечера, заполнившими большой читальный зал библиотеки за своеобразным «круглым столом», выступили авторы альманаха Валентина Дорожкина, Александр Зотов, Людмила Котова, Валерий Хворов, Нина Измайлова, Ольга Тодосейчук.

Вёл презентацию председатель правления Тамбовского отделения Союза писателей России, главный редактор «Тамбовского альманаха» и автор повести «Иск», опубликованной в 7-м номере, Николай Наседкин.

* * *

В «Литературной газете» (№ 47-48, 2009) в рубрике «Губернские страницы» напечатана информация-обзор о «Тамбовском альманахе» № 7.

* * *

Сразу в двух альманахах за тысячи километров от Тамбова появились публикации Николая Наседкина. В 4-м выпуске альманаха «Бийский Вестник» опубликованы фрагмент повести «Муггер» (естественно, связанный с Бийском) и статья «Барнаул Достоевского», специально написанная для данного издания. В альманахе «Крылья» № 4, издаваемом в городе Луганске (Украина), опубликовано интервью «Человек Достоевского». А в столичном еженедельнике «Литературная Россия» (№ 48) опубликована полемическая статья Николая Наседкина под названием «Глянцевый Достоевский».

* * *

30 ноября 2009 года в Тамбове проходил ряд общественно-политических мероприятий с участием высокопоставленных гостей из соседних регионов и Москвы, среди которых был и первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов. Он выбрал время, чтобы побывать в местном отделении СПР. В заинтересованном разговоре приняли участие председатель правления Тамбовского регионального отделения СПР Николай Наседкин, поэты Валентина Дорожкина, Валерий Марков, Людмила Котова, а также заместители начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области Александр Кузнецов и Валентина Ивлиева.

* * *

Юбилей известной поэтессы Валентины Дорожкиной получился в двух частях. Первая – торжественная – состоялась 15 декабря и, в свою очередь, состояла из трёх серий-отделений: сначала в администрации области губернатор Олег Бетин поздравил юбиляра и вручил ей почётный знак «За заслуги перед Тамбовской областью»; затем в ТГУ им. Г. Р. Державина Валентине Тихоновне была вручена мантия почётного профессора университета; а уже после этого основное торжество прошло в стенах областной детской библиотеки, где В. Дорожкина работает и руководит прославленным детским литературно-творческим объединением «Тропинка».

Вечер вёл первый заместитель начальника управления культуры и архивного дела области Александр Кузнецов. Зал был переполнен. Море цветов, подарки и поздравительные речи от представителей властей всех уровней, правления Тамбовского отделения Союза писателей России, дру-

гих общественных структур и просто гостей юбилейного торжества.

А 23 декабря в областной библиотеке им. А. С. Пушкина прошёл юбилейный творческий вечер Валентины Дорожкиной. Здесь в роли ведущего выступал председатель правления Тамбовского отделения СПР Николай Наседкин. На этот раз звучали стихи юбиляра и песни на её тексты, поздравления друзей-писателей, воспитанников «Тропинки», читателей-почитателей творчества Валентины Тихоновны. В рамках вечера состоялась презентация новой книги «Дорога жизни», в которую вошли проза и краеведческие очерки В. Дорожкиной и которую писательская организация издала к юбилею при поддержке управления культуры и архивного дела области.

* * *

Две подряд публикации Валерия Аршанского появились в региональном журнале «Подъём» (г. Воронеж) — в 11-м номере за 2009 год опубликовано документальное повествование «На той войне незначимой» о событиях советско-финской войны 1939-1940 гг.; а в 12-м выпуске напечатана рецензия на спектакль Мичуринского драмтеатра «Коварство и любовь» (режиссёр Госвин Мониак, работавший главным режиссёром тетра в г. Оснабрюке, Германия).

* * *

24 января 2010 года в Тамбовской областной картинной галерее состоялся традиционный вечер поэзии В. Дорожкиной. Валентина Тихоновна прочитала как опубликованные ранее стихи, в основном посвящённые военному детству и Великой Отечественной войне, так и совершенно новые.

В конце встречи поэтический вечер незаметно перетёк в своеобразную пресс-конференцию: почитатели таланта В. Дорожкиной задали ей немало вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.

* * *

28 января 2010 года в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась презентация «Тамбовского альманаха» № 8.

* * *

3 февраля 2010 года в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина прошёл вечер памяти поэта и сатирика, члена Союза писателей России Геннадия Александровича Попова, посвящённый 70-летию со дня его рождения.

* * *

9 февраля 2010 года в Центральной городской библиотеке им. Крупс-

кой состоялась презентация 3-го и 4-го выпусков серии «Поэтический Тамбов» — сборников Марины Гусевой и Людмилы Котовой.

* * *

15 марта 2010 года в областной детской библиотеке состоялась презентация коллективного сборника молодых поэтов Тамбовской области «Увидеть мир по-новому...» (Тамбов: Изд-во Тамбовского отделения Литфонда России, 2009. 328 с. 500 экз.).

Вела презентацию редактор-составитель сборника Валентина Дорожкина. Из 30 авторов большинство являются воспитанниками литературно-творческого объединения «Тропинка», которым Валентина Тихоновна руководит. Открыл презентацию председатель правления Тамбовского отделения Союза писателей России Николай Наседкин, издатель сборника. Он поздравил юных поэтов с выходом книги и сообщил, что в планах писательского издательства выпустить теперь сборник молодых прозаиков области.

Свои стихи прочитали Маргарита Шитикова, Анна Клещ, Ирина Борисова, Анастасия Серова и другие юные поэты-авторы сборника «Увидеть мир по-новому...», присутствующие на презентации.

* * *

В «Литературной газете» (№ 10, 2010) опубликована статья Ларисы Поляковой «Новая русская кукуруза» о проблемах ЕГЭ.

* * *

Самая молодая писательница Тамбовского отделения СПР Мария Знобищева продолжает активно осваивать литературно-географическое пространство России. В № 7 за 2009 год журнала «Наш современник» появилась очередная (уже 4-я!) поэтическая публикация Маши. Там же, в Москве, недавно вышел сборник «Новые писатели-2009» по итогам VIII Форума молодых писателей в Липках, где представлена и поэзия тамбовской поэтессы. В соседнем Саратове, в 9-м номере журнала «Волга XXI век» не только опубликованы стихи Марии Знобищевой, но и внушительная статья М. Муллиной об её творчестве. А в 3-м номере за 2010 год нового всероссийского журнала «Наша молодёжь» опубликована поэтическая подборка Маши.

* * *

23 марта 2010 года в библиотеке Тамбовской городской Думы состоялась встреча читателей с председателем Тамбовской писательской организации прозаиком и литературоведом Николаем Наседкиным.

Гость рассказал о деятельности местного отделения СП России, о своём творчестве, прочитал один из своих рассказов, ответил на вопросы. Особенно заинтересовали слушателей информация о новой повести «Сто двадцать лет спустя», которую тамбовский писатель только что закончил и предложил для публикации в один из столичных журналов.

* * *

15-16 апреля 2010 года в городе Мичуринске прошли Дни литературы с участием писателей из Тамбова и Воронежа. Перед студентами и преподавателями Мичуринского государственного аграрного университета выступили гости из Воронежа — главный редактор регионального журнала «Подъём» поэт Иван Щёлоков, его заместитель по журналу поэт Александр Голубев, главный редактор воронежской областной газеты «Коммуна», писатель-публицист Виталий Жихарев.

Тамбовское отделение Союза писателей России представляли председатель правления прозаик Николай Наседкин, поэты Валентина Дорожкина, Людмила Котова, Татьяна Маликова, а также организатор и ведущий этой встречи прозаик Валерий Аршанский, живущий в Мичуринске. Их выступления также были встречены бурными аплодисментами.

В программе праздника был мастер-классы, концерт вузовской художественной самодеятельности, экскурсии-прогулки писателей по старинному Мичуринску, его музеям и выставочным залам.

* * *

21 апреля 2010 года в рамках фестиваля «Пасхальный свет» в детской библиотеке посёлка Дмитриевка Никифоровского района состоялась встреча Валентины Дорожкиной и Татьяны Маликовой с учащимися, учителями и библиотекарями района.

24 апреля фестиваль «Пасхальный свет» переместился на сатурскую землю. В детской библиотеке райцентра Сатинка литературный праздник прошёл с участием председателя Тамбовского отделения Союза писателей России Николая Наседкина, поэтов Валентины Дорожкиной и Лидии Перцевой.

В рамках вечера состоялась презентация сборника стихов для детей «Ребячий голоса» местной поэтессы Натальи Меркушовой, только что вышедший в издательстве Тамбовского отделения Литфонда.

НОВЫЕ КНИГИ

Афанасьев В. Во имя счастья и мечты; **Котов Б.** За победу!; **Шульчев В.** Мужество // Серия «Лит. родники Тамб. края». Вып. 6 / Ред.-сост. В. Дорожкина. Тамбов: Изд-во типографии «Пролетарский светоч», 2010. 360 с. 1000 экз.

Герасин В. Своя сторона. Проза. Тамбов: Изд-во типографии «Пролетарский светоч», 2009. 372 с. 500 экз.

Дорожкина В. Дорога жизни. Повести, рассказы, очерки. Тамбов: Изд-во Литфонда, 2009. 532 с. 1000 экз.

Знобищева М. День радости. Поэзия и проза. Тамбов: Изд-во Литфонда, 2009. 216 с. 600 экз.

Косневич А. Под колпаком весны. Рассказы из цикла «Расследует Дюков». Тамбов: Изд-во Литфонда, 2010. 164 с. 100 экз.

Котова Л. Избранное / Серия «Поэтический Тамбов». Вып. 4. Тамбов: Изд-во Литфонда, 2009. 248 с. 500 экз.

Меркушова Н. Ребячьи голоса. Стихи для детей. Тамбов: Изд-во Литфонда, 2010. 88 с. 200 экз.

Николаева А. Осенний дневник. Стихи. Тамбов: Изд-во Литфонда, 2009. 124 с. 300 экз.

Овсянников И. Судьба и память. Статьи и очерки разных лет / Сост. В. Дорожкина. 2009. 148 с. + 16 с илл. 500 экз.

Панов Б. На окраине. Повести и рассказы. Тамбов: Изд-во Литфонда, 2009. 232 с. 500 экз.

Расстегаев Ю. Избранное. Повести и рассказы. Тамбов: Изд-во типографии «Пролетарский светоч», 2009. 624 с. 500 экз.

Селивёрстов В. Тамбовский губернатор Кошелев. Тамбов: Изд-во типографии «Пролетарский светоч», 2010. 138 с. 1000 экз.

Сергеев-Ценский С. Зелёные крылья. Стихи // Серия «Лит. родники Тамб. края». Вып. 5 / Ред.-сост. В. Дорожкина. Тамбов: Изд-во типографии «Пролетарский светоч», 2009. 307 с. 1000 экз.

Тамбовский писатель-2009. Т. 2. Проза. Тамбов: Изд-во Литфонда, 2009. 504 с. 700 экз.

Увидеть мир по-новому... Коллективный сборник молодых поэтов Тамбовской области / Ред.-сост. В. Дорожкина. Тамбов: Изд-во Литфонда, 2009. 328 с. 500 экз.

Хворов В. Легенды Лысых Гор. Стихи. Тамбов: Изд-во типографии «Пролетарский светоч», 2010. 92 с. 200 экз.

Литературно-художественное издание

ТАМБОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

№ 9 (май 2010)

Компьютерная вёрстка и дизайн – **Н. Наседкин**
Корректор **А. Кириллов**

Подписано в печать 10.04.2010 г.
Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Печ. л. 16,0.

Тираж 600 экз. Заказ №

Издательство Тамбовского отделения ОООП «Литфонд России»
392602, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14.
Тел. 53-50-77; 72-70-32
<http://www.niknas.by.ru/1tambovsp>
E-mail: tambocsp@mail.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета
в открытом акционерном обществе
«Тамбовская типография “Пролетарский светоч”»
392600, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14а.